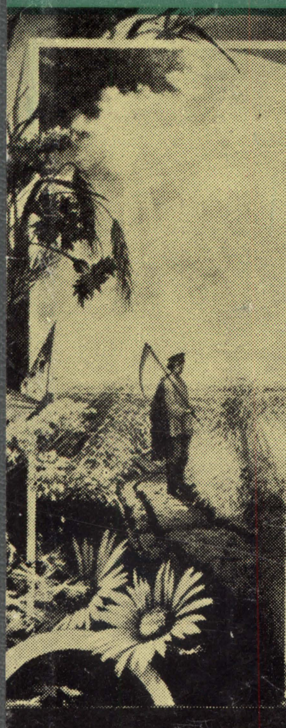
КОЛЬЦОВ



Николай Скатов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Николай Скатов КОЛЬЦОВ ЖЗЛ



А. Кольцовъ.

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ

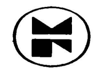


ВЫПУСК 17

(642)

Николай Скатов

КОЛЬЦОВ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1983

84Р1
С42



Рецензенты:
доктор филологических наук, профессор Б. Ф. Егоров,
член Союза писателей СССР О. Г. Ласунский

С $\frac{4702010200-308}{078(02)-83}$ 195—83

ВВЕДЕНИЕ

...Весной 1942 года блокадники снова — но как бы впервые в жизни! — вырвались к земле, к земле кормящей... Хотелось лечь на землю и целовать ее за то, что только земля может спасти человека... Хотелось лечь, распластаться и целовать землю!.. Землю, которая дает нам все — и хлеб, и все абсолютно, чем может существовать человек.

Из дневника блокадника.
Главы из «Блокадной книги»

Поэзия земледельческого труда — не пустое слово. В русской литературе есть писатель, которого невозможно иначе назвать, как поэтом земледельческого труда — исключительно.

Это — Кольцов.

Глеб Успенский

Есть в Воронеже остатки старого кладбища. Самого-то кладбища, конечно, давно нет — это уже почти центр города. Но несколько могил мемориально выделено, обнесено стеной и обихожено. Могилы Никитиных. На памятнике стихи:

Вырыта заступом яма глубокая.
Жизнь невеселая, жизнь одинокая,
Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая,
Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая, —
Горько она, моя бедная, шла
И, как степной огонек, замерла...

Сильные, выстраданные стихи.

Могилы Кольцовых. И здесь на одной стороне памятника стихи:

В душе страсти огонь
Разгорался не раз,
Но в бесплодной тоске
Он горел и погас...

Стихи поэта судьбы трагической.

* * *

Кто же такой Алексей Кольцов? Что такое поэзия его?

«С ним родилась его поэзия, — написал вскоре после смерти Кольцова Белинский, — с ним и умерла ее тайна». Для критика, близко поэта знавшего, личность его и стихи слились в одно неразрывное целое. Тайной здесь явно названа тайна самого творчества, невозможность повторения на этом пути для поэтов. Читатель же и критик Белинский сразу и, пожалуй, первый взялся за разгадывание поэтических тайн Кольцова — да так, что утвердил свои приговоры на долгие годы. И статью свою он назвал «О жизни и сочинениях Кольцова» недаром: «Издавая в свет полное собрание стихотворений покойного Кольцова, мы прежде всего думаем выполнить долг справедливости в отношении к поэту, до сих пор еще не понятому и не оцененному надлежащим образом». Но мемориальный, так сказать, характер статьи всего не объясняет. «Сила гениального таланта, — писал критик, — основана на живом, неразрывном единстве человека с поэтом. Тут замечательность таланта происходит от замечательности человека, как личности...» Таким образом, сама замечательность поэзии Кольцова не вполне будет понята без уяснения замечательности его личности.

«Гениальный талант»! Не забудем, что Белинский, страстный и вроде бы не всегда сдержанный в оценках, на определения такого рода был скуп. По сути, до Кольцова он говорил о гениальности только трех русских художников, а именно Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Не забудем также, что Кольцова он знал очень близко и что, наконец, великий критик говорил о гениальности Кольцова несколько лет спустя после смерти поэта и ни о какой эмоциональной скороспелости приговора речи не было. Наоборот, к этому воззвало все расставляющее по местам время. Более того. Наверное, можно указать на ряд неточностей в написанной Белинским биографии Кольцова. Но при эмпирических неточностях жизнеописание Кольцова у Белинского точно в главном. Его очерк — это и художественный образ, воссоздание особого типа поэтической гениальности — «гениального таланта».

Конечно, дело не в титуле. Но, подходя к жизнеописанию именно Кольцова, важно установить первоначальный взгляд на него, исходную позицию. Только такой взгляд, только такой угол зрения поможет нам понять многое в этой личности, в ее высоком трагическом существовании. С другой стороны, только так можно проверить, выдерживают ли жизнь и поэзия этого замечатель-

ного человека в совокупности доступных нам сейчас для обозрения фактов оценку «гениальный». А на такую оценку не поскупился не один Белинский. Жизнь поставила князя В. Ф. Одоевского по отношению к Кольцову действительно в положение «его сиятельства», покровительствовавшего и помогавшего Кольцову в его делах. Тем не менее князь гордился тем, что был «почтен полной доверенностью» провинциального купца средней руки. И наверное, только будучи замечательным энциклопедистом, рюрикович Одоевский смог увидеть в воронежском торговце Кольцове «гения в высшей степени».

Белинский, и именно в очерке о Кольцове, пояснил, что он разумел под «гением»: «Одно из главнейших и существеннейших качеств гения есть оригинальность и самобытность, потом всеобщность и глубина его идей и идеалов и, наконец, историческое влияние их на эпоху. <...> Имя гения — миллион... Гениальный талант отличается от обыкновенного таланта тем, что, подобно гению, живет самобытною жизнию, творит свободно, а не подражательно... От гения же он отличается объемом своего содержания...»

Рождение такого самобытного творчества, как кольцовское, при всей его уникальности определялось четкими — национальными и социальными — посылками и теснейшим образом связано со становлением всей русской литературы, шире — русской духовной жизни.

Ссылаясь на слово Гоголя о том, что Пушкин есть единственное и чрезвычайное явление русского духа, Достоевский прибавлял — и пророческое: «Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы...»

Именно 1812 год воззвал к новой человеческой личности, появившейся и сложившейся в русской истории на рубеже 10—20-х годов XIX века, возникшей на волне национального подъема и наиболее полно этот подъем выразившей.

Но подошла-то нация к пику своего становления драматически разделенной — единая, она предстала в двух ипостасях. Об этом тогда же много говорили, писали, думали. И, может быть, сильнее и острее многих это ощутил и выразил Белинский. Несколько позднее Достоевский писал как о задаче времени о необходимости огромно-

го переворота, который бы дал «слитие образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни, — народа, отшатнувшегося от петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной особенной и самостоятельной жизнью».

Думается, не случайно именно после 1812 года с громадной силой народ и в духовной сфере заявил о своей «собственной особенной и самостоятельной жизни». Заявил именно в поэзии. Заявил и в Кольцове. Подобно тому как Пушкин универсально представил мировой художественный опыт и опирался на всю предшествующую русскую литературную традицию, подобно тому как декабризм стремился охватить от античности идущий опыт гражданской жизни и политической борьбы и уходил глубокими и разветвленными корнями в традиции русского республиканизма и передовой русской публицистики и литературы, Кольцов обобщал результаты многовекового духовного художественного творчества народа и уже предпринимавшиеся ранее попытки выхода к такому творчеству из «ученой» литературы. Не остался он чужд и мировой традиции. Недаром большой знаток мировой литературы, академик Алексей Николаевич Веселовский отметил, что Кольцов и «в оправе мирового творчества сохранит, при всей кажущейся скромности своих стихотворных средств, независимое, выдающееся положение, завоеванное истинным вдохновением, великой народной связью, примечательным в самородке развитием художественности, благородным идейным содержанием».

А сам опыт народной жизни у Кольцова, казалось бы, весь почерпнутый из прошлого, устремился — и нам еще придется говорить почему — в будущее.

В свое время молодой критик Валериан Майков, почти современник Кольцова, попытался определить масштаб кольцовской поэзии в перспективе и провозгласил Кольцова поэтом будущего: «Он был более поэтом возможного и будущего, чем поэтом действительного и настоящего». Еще через несколько лет в одной из своих поэм Некрасов назовет песни Кольцова «вещими». Правда, отметим все же, что своего массового и благодарного читателя Кольцов нашел довольно быстро, и уже к началу двадцатого века общий тираж изданий поэта перевалил за миллион.

ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ

«Октября 3 рожден у купца Василия Петрова сына Кольцова и жены его Параскевы Ивановой сын Алексий. Воспринимали при крещении купец Николай Иванов Галкин и купецкая жена Евдокия Васильева Чеботарева». Такая запись появилась в октябре 1809 года в метрической книге города Воронежа Входо-Иерусалимской (она же Ильинская) церкви.

Чеботаревы, Галкины... Василий, Николай, Евдокия. Купеческие фамилии... Простые имена. И вот на этом обычном вроде бы фоне вспыхивает, для нас сейчас уже постоянно горящее, — Алексей Кольцов. И все с ним связанное теперь приобретает значительность, во всем невольно хочется видеть знаки судьбы и избранности: в родителях ли, в друзьях ли, в учителях ли, в первых ли чтениях. Нужно понять эту связь, эти «знаки» судьбы. Тем более что внешняя судьба — судьба обычная — купеческого сына. Отец «достаточен», иногда даже и довольно богат. «Трижды, — вспомнит потом сын, — наживалось до семидесяти тысяч, спускалось и снова наживалось».

Имущественное восхождение Василия Петровича обернулось и восхождением буквальным — из нижней части Воронежа в нагорную. Мещане Кольцовы издавна жили в Гусиновке — глухом углу Стрелецкого лоска — одной из спускавшихся к реке лощин. Отца поэта женили в 17 лет, а уже в 20 он был выделен из обедневшей семьи. Быстро и ловко поведя собственные торговые дела, уже в начале века Василий Кольцов перебирается в самую лучшую часть верхнего Воронежа — на Большую Дворянскую улицу. Она и по облику своему была дворянской — в том смысле, что располагались на ней дворянские дома усадебного типа. Для того чтобы приобрести там такую усадьбу, какую приобрел Василий Петрович — большой дом с флигелем, — нужно было стать очень зажиточным человеком.

Василий Петрович стоял во главе семьи патриархальной и крепкой. Жена его, мать поэта, Прасковья Ивановна в молодости была красива и хотя неграмотна, но

умна и добра. Жили родители в большом ладу. Держались многочисленные приказчики. Весь распорядок подчинялся, по воспоминаниям многих, строгим и суровым правилам в старорусском купеческом стиле, и, конечно, «поперечения» хозяин не терпел. Когда в 1861 году мать поэта умерла, то, по одному из рассказов (В. Д. Кашкина), после нее осталось много дорогих вещей, золотых кокошников, шитых жемчугом, и т. п. «Эти кокошники дают достаточное понятие о внешности родителей Кольцова». Уже в середине прошлого века старорежимная патриархальность всего уклада в кольцовском доме явно выглядела как не совсем обычная. А когда сестру поэта Александру Васильевну в 70-х годах ознакомят со статьей Белинского о Кольцове, то некоторые его характеристики она отведет. «Всем известно, — писал критик, — какова вообще наша семейственная жизнь и какова она в особенности в среднем классе, где мужицкая грубость лишена добродушной простоты и соединена с мещанской спесью, ломаньем и кривляньем». Семья, скажет Александра Васильевна, была простая, без спеси и напыщенности, и главное — отец никогда не хотел лезть в баре. Недаром тот же В. Д. Кашкин писал позднее, что Кольцовы были просто «богатые мужики, суровые, строгие в своих обычаях».

Может быть, поэтому, и разбогатев, семья оказалась в достаточно сложном положении в купеческом мире Воронежа. Связи с гусиновскими Кольцовыми почти не поддерживались. Но и для старинных купеческих фамилий Капканщиковых, Придорогиных, Нечаевых, которые еще от петровских времен соперничали с лучшими дворянскими и даже поставляли воронежскому дворянству «кадры» (Тулиновы), Кольцовы все-таки были неровней, даже когда с такими фамилиями роднились: так, сестра Василия Петровича была замужем за известным воронежским богачом Д. П. Кривошеиным. Правда, по свидетельству абсолютно всех, Василий Петрович имел большой кредит и у дворян и у купцов как человек безукоризненной честности.

Купечество Кольцовых было особое — не сиденье в лавке со счетами, впрочем, и лавки не было. Это было купечество лихое, быстрое, с авантюрой и с риском. Сами торговые операции здесь велись разнообразные и с размахом. Почти все они связаны со скотом.

Воронежская губерния вообще до поры до времени была скотопромышленная. До двухсот тысяч пудов сала

в год поставлялось и внутрь страны, и за границу. И приобретаются, пасутся, перегоняются стада, гурты и ватаги. Сотни и тысячи голов. Купец-прасол арендует земли, откармливает на них скупленный скот, бьет его на чужих и своих бойнях, продает и перепродает, вовлекается в попутные сделки, связывается с винным заводом (барда для скотины), входит в арендные операции — тонкие и запутанные при пестроте воронежского сельского народонаселения: помещичьи крестьяне, душевые, государственные, однодворцы. Здесь вся жизнь купца-прасола часто проходит на колесах, еще чаще в седле. Он почти в постоянной «командировке»: на Украине, на Дону, в поволжских степях и далее — вплоть до Северного Кавказа. Своя-то губерния, конечно, уже объезжена не по разу вдоль и поперек.

А положение с каждым годом ухудшается.

Все меньше остается свободных пастбищ, все больше запахивается земли, теснится скоторазведение, вступает в полосу все более тяжких кризисов. И эти общегубернского масштаба кризисы ударят, а к тридцатым годам и очень больно, по многим воронежским прасольским фамилиям и по Кольцовым тоже.

Купец-прасол в степи. Но дома, как это и положено по традиции и по необходимости, многочисленные дети. И умирают, умирают: три, пять, десять, двенадцать. Последний маленьким умирает Владимир. Остаются дочери: Мария, Анна, Александра, Анисья. И сын, один-единственный сын Алексей. Надежда и наследник отца. Многие мемуаристы отметят его отцовский умный, проницательный, исподлобья взгляд. «Выдающийся ум — родовая черта Кольцовых», — засвидетельствует позднее их современник и земляк, биограф поэта Михаил Федорович де Пуле.

В семье Кольцовых дочери в общем неплохо «устраиваются». Все получают «нормальное», даже хорошее по купеческо-мещанским меркам той поры образование, в частной начальной школе, в которой было несколько учителей и обучались дети воронежского купечества и богатого мещанства. Как правило, большего тогда женщины этой среды и не получали, но, во всяком случае, все сестры Кольцова в отличие от матери уже были грамотны. Все вышли замуж в купеческие семьи. За Василия Ивановича Золотарева — Анна. За Ивана Федоровича Андронова отдали Александру. Мария выходит за души в ней не чаявшего Ивана Сергееви-

ча Башкирцева, наследника известного воронежского богача.

Башкирцев был человек во многом незаурядный. Отец его торговал хлебом, имел собственные многочисленные баржи, на которых сплавляли хлеб по Дону, нажил большое состояние, в свою очередь, хорошо отдал замуж дочерей. Но единственный сын Иван долго считался страшным неудачником. Женитьба на Марии Кольцовой его преобразила в большого, с размахом, хозяина дела, фабриканта, заводившего технические новшества на купленной им суконной фабрике, подрядчика, строившего громадное здание Воронежского кадетского корпуса, купца, многократно увеличившего отцовскую хлебную торговлю. Молодая «непутевость» его перешла в зрелости в необычность. Практическая сметка совмещалась в нем с живым артистическим чувством. Собирал Башкирцев в собственный оркестр разный бродячий музыкальный люд, имел и свой хор, любил цветы, был горд и независим, до конца выламывался из обычной жизни и, наконец, правда уже много позднее, совершенно разорился. Но в 30-е годы он еще давал шикарные обеды и устраивал пышные празднества, особенно часто на своей даче над Доном.

И вся семья кольцовская этим боком поворачивается к самым верхам Воронежа: у Башкирцевых за одним столом можно было оказаться и с родовитым помещиком, и с духовным главой губернии, и с ее административным начальником. Впрочем, Кольцов-старший, неизменно и до конца жизни ходивший в «мужицком» костюме (летом подпоясанный так называемый демикотоновый, то есть бумажной материи халат, зимой крытый сукном тулуп), не был совершенной вороной среди собиравшегося у зятя воронежского бомонда. Отец самого Башкирцева, уже отошедший от дел, в таком же подпоясанном халате, так же по-мужицки стриженный, на своем во время торжественных обедов почетном месте, рядом с губернатором, стучал деревянной ложкой по оловянной плошке. Сватья всем обликом как бы олицетворяли мужицкий корень.

Когда в 1831 году на Россию обрушилась холера, а в июле — августе страшно прошлась по воронежским местам, семья Кольцовых — Башкирцевых расплатилась Марией. Муж несколько месяцев сходил с ума — буквально: по его требованию и в присутствии тещи в склепе вскрывали гроб — он почему-то уверял, что Марию похоронили живой. Башкирцев никогда больше не женился. Де-

ти, Петр и Вера, как и отец, всегда были очень близки с Кольцовыми, прежде всего с Алексеем. Вообще необычность Башкирцева, может быть, проявилась и в том, что он в отличие от многих очень любил брата жены и неизменно ему помогал, особенно позднее, когда тот начал болеть.

Алексей был наследником кольцовского дела. Именно к делу готовил Василий Петрович единственного сына. А здесь требовалось хотя бы первоначальное образование. К мальчику был приглашен домашний учитель из местных семинаристов. Очевидно, он довольно хорошо приготовил своего питомца к занятиям в учебном заведении. Таковым стало воронежское уездное училище, открытое еще в год рождения Кольцова, в 1809 году.

До 1809 года в Воронеже существовало так называемое главное народное училище. Конечно, не нужно слишком обольщаться насчет слова «народное». Хотя там пребывало до двухсот мальчишек, были даже и девочки, но все же в основном дети дворян, служилого, то есть чиновного, люда, купцов. Главное народное училище мы бы теперь назвали средним учебным заведением. Оно действительно было главным, а в качестве среднего и единственным училищем Воронежа. Правда, года два по указу Павла, велевшего называть училища школами, оно называлось школой. Знаменитая фраза гоголевского Ивана Александровича Хлестакова: «Пусть называется» — определяла отнюдь не только комическую бытовую ситуацию. Фраза: «Пусть называется» — определяла в данном случае и целую как бы реформу в деле всероссийского просвещения на рубеже веков. «Как бы» — потому что в России часто реформа слов подменяла реформу дел: и категорично, и быстро, и дешево.

Впрочем, в 1809 году менялось уже не только название. Главное народное училище разделялось на гимназию (собственно, среднюю школу — перевели бы мы на язык современных понятий) и уездное училище (неполную среднюю школу). К первой соответственно отошли старшие классы. Младшие образовали второе.

В иных жизнеописаниях Кольцова можно прочитать сокрушенные слова о том, что он не окончил и двух классов уездного училища. Как будто таких классов было десять. Конечно, плохо, что он не окончил двух. Но нужно заметить, что таких классов и было всего два. Плюс приготовительный. Уже приготовленный семинаристом, Кольцов миновал этот приготовительный класс и сразу поступил в первый. Опять-таки иной раз можно прочи-

тать, что Кольцов учился в приходском училище. Как будто это все едино: приходское, уездное... Между тем, если в первом обучали только началам грамоты да псалтыри, то совсем иным было второе. Конечно, вероучение и здесь было поставлено на одно из первых мест, но уже основательно читали евангелистов. Конечно, и здесь изучали арифметику и российскую грамматику, но и начала латыни, немецкий, особо выделялось рисование. Учителя, в частности и учитель Кольцова В. Е. Емельянов, в основном выпускники Воронежского главного народного училища, были люди сведущие. А смотритель уездного училища П. В. Соколовский был просто очень образованным человеком, знатоком европейских языков (экзаменовал претендующих на должность учителя гимназии иностранцев), математиком, переводчиком ряда трудов по философии. И это уездное училище, конечно, более демократичное, чем гимназия, продолжало быть достаточно привилегированным. И в нем большинство обучающихся были дворяне, например, в классе Кольцова — шестнадцать, купеческих же детей только шесть, а крестьянский сын — и всего один.

Кстати сказать, почти в это же время в уездном училище города Острогожска начинает свое образование другой уроженец воронежской земли, Николай Станкевич, сын богатого помещика. Правда, Станкевич лишь начал образование там, где Кольцов его уже и закончил. Поэтому, когда через несколько лет Станкевич с Кольцовым встретятся, они будут стоять на разных ступенях образованности. А сведет их поэзия. И здесь они тоже будут стоять на разных ступенях: бледно начинающий стихописец и тоже начинающий, но великий поэт.

Кольцов поступил в училище летом 1820 года: занятия тогда начинались с первого августа. Первоначальное его обучение отмечено успехами. По принятой шкале оценок он удостоен высшей — «остр». Кроме того, аккуратен в посещениях и прилежен. Все меняется на втором году обучения. За четыре месяца девяносто три (сохранилась учебная ведомость) пропуска занятий. Удивительно еще, что при этом он по учительской оценке хотя уже не «остр», но все-таки «понятен».

* * *

Василий Петрович решил, что полученных сыном знаний достаточно для того, чтобы начать приобщаться к делам, что прежде всего именно здесь сын должен быть

«остр» и «понятен». Во второй половине года мальчика забирают из училища, и он вовлекается в отцовские дела. С одиннадцати лет постоянно ездит по деревням, в лес, в степь. А Воронежская губерния была краем особым, своеобразным географическим перекрестком: лесной север переходил в южную степь. Воронежцы тогда недаром чаще всего звали весь этот простор своих мест Полем.

Сами дела, которые вел отец и к которым очень рано подключился сын, были очень разнообразны. Это явно связано и с характером Василия Петровича, склонного к некоторому авантюризму, часто ловившего то, что попадало «под случай», то, что можно было сорвать в быстрой и ловкой операции. Но что, попадая «под случай», под действие разных сил и отношений, было чревато и «авосем», в общем — «пан или пропал». Обычно Кольцовыми велось прямо или через приказчиков сразу много дел. Занимаясь землепашеством и засевая подчас довольно большие площади, выращивали и продавали хлеб. К тому же Кольцов-старший был большим любителем-садоводом и при доме своем в Воронеже развел обширный сад. Кольцовы хорошо понимали, что такое сельское хозяйство и как оно ведется. То, как выращивается хлеб, младший Кольцов узнал не со стороны, не наблюдателем, хотя, естественно, с сохой от зари до зари не ходил.

Вот как через много лет, уже в 1840 году, Кольцов выговаривает в письме Белинскому за ведение сельскохозяйственного отдела в «Отечественных записках»: «А хуже всего «Сельское хозяйство»: оно вовсе не по журналу, и особенно какого-то дурака напечатана статья о покраже хлеба и мере — гадость гадостью. Да и все статьи не шибкие. Эти господа агрономы напичканы иностранными теориями и принятыми методами тридцатого года, которые во мнении начинали упадать, кроме метод: сахарной, машинной и мануфактурной. На сельское русское хозяйство надо смотреть по-русски, а не по-немецки. Немецкие методы нам не годятся, и их орудия — не наши орудия».

Еще далеко впереди будет докучаевское почвоведение и еще дальше заботы Мальцева и опыты Бараева и споры об однолемешном плуге, а поэт Кольцов пишет тогда критику Белинскому: «Наш чернозем любит соху, а чтобы улучшить соху, надо улучшить руки людей, которые ею работают. Дело и в орудии, но дело и в умении управ-

лять им. Можно и на одной струне играть хорошо, а глупец и на четырех уши дерет».

Хорошо знали Кольцовы и лесное дело, будучи, говоря современным языком, лесозаготовителями. Отец содержал в Воронеже большой дровяной склад, двор, как тогда говорили. Постоянно занимался заготовкой леса и сын.

Кроме того, ведутся так называемые шибайные дела по продаже овчин, кожи, шерсти. Кольцов с десяти лет был в круговороте всей этой сельскохозяйственно-промышленно-торговой работы. «Батенька, — сообщает он Краевскому уже в 1836 году, — два месяца в Москве продает быков. Дома я один, дел много: покупаю свиней, становлю на винный завод на барду; в роще рублю дрова, осенью пахал землю; на скорую руку езжу в селы, дома по делам хлопочу с зари до полночи».

В «селы» ездили постоянно, на скорую руку и не на скорую, подчас на много месяцев, и села эти были разными и на обширном пространстве: ближние и дальние уезды Воронежской губернии, лесные и степные, русские и украинские, Донская область и дальше на юг к предгорьям Кавказа, и в стороне, где степь «к морю Черному понадвинулась», и там, где «пораскинулись» степи приволжские. И туда забирались воронежские прасолы. В очень-то дальние места даже с зимы, отгоняя затем весной к дому гурты — сотни голов рогатого скота и тысячные овечьи ватаги.

И основное занятие Кольцовых все-таки прасольство, ското-промышленные дела. В ряду двух десятков воронежских прасолов тридцатых годов Василий Петрович был из главных. «Прасол — поясом опоясан, сердце пламенное, а грудь каменная», — с явным сочувствием говорит о прасолах местная поговорка. «В самом деле, — рассказывает старый воронежский краевед и биограф Кольцова М. Ф. де Пуле, — в занятиях и в образе жизни прасола было много увлекательного, выдающегося, много было трудов и опасностей, одно преодоление которых уже закаляло характер человека. В прасольстве было много казацкого, удалого, что так нравится русскому человеку. Прасол прежде всего лихой наездник. Он вечно на лошади, на лихом донском коне, который смело перепрыгивает через овраги, плетни, через всякую деревенскую огорожу и несется вихрем в степях. Прасол такой же джигит, как казак, он на скаку хватает руками землю и бросает ею в деревенских красавиц, любующихся его

удалью, он не остановится ни перед каким барьером. Он и одет по-казацки — в черкеске и в широких шароварах, опоясан ременным поясом с серебряными украшениями, на голове у него барашковая шапка. У него и походка и фигура чисто казацкие: сутуловатый, он ходит увальнем, с перевалкой и как бы с вывернутыми ногами».

Белинский вспоминал, явно по рассказу Кольцова, как тот однажды еще юношей перелетел на всем скаку через голову коня. И здесь его спасло на редкость крепкое здоровье. Сутуловатая фигура Кольцова была фигурой именно казака, кавалериста. И всякую животину он любил и, так сказать, чувствовал, ощущал, вплоть до веры в «сглаз». Хороший человек и на скотину хорошо действует, плохой и ее может «сглазить». «Эфто бывает», — передавал брат Николая Станкевича Александр совершенно по этому поводу убежденное мнение Кольцова.

Да вряд ли и могло быть иначе у человека, большую часть времени живущего со своими стадами. «Летом, во время нагула скота по полям и степям, истый, любящий свое дело прасол был почти постоянно если не в восторженном, то в возбужденном, приятном состоянии духа. Такой прасол жил жизнью своего стада, своего гурта или ватаги. <...> По рассказам прасолов, ни с чем нельзя сравнить той чудной картины, какую представляет степь перед утреннею зарею, когда покоящееся стадо вдруг, как бы по мановению какого волшебника, издает отрывистый, глубокий вздох, предвестник пробуждения, когда начинает синеть темное небо и туманиться бесконечная даль» (М. Ф. де Пуле).

Кольцов действительно жил, как скажет он в одном раннем наивном стихотворении, «среди природ». Он действительно жил в природе. Для поэтической натуры трудно было бы придумать более полное, разнообразное, насыщенное воспитание самой природой, особенно степью. Эту-то степную стихию Кольцова ощутил Белинский, может быть, с тем большей остротой, что сам он во всей жизни своей был ее лишен: «...Его юной душе полюбилось широкое раздолье степи. Не будучи еще в состоянии понять и оценить торговой деятельности, кипевшей на этой степи, он тем лучше понял и оценил степь, и полюбил ее страстно и восторженно, полюбил ее как друга, как любовницу. <...> Многие пьесы Кольцова отзываются впечатлениями, которыми подарила его степь. <...> Почти во всех его стихотворениях, в которых степь даже и не играет никакой роли, есть что-то степное, широкое,

размашистое и в колорите и в тоне. Читая их, невольно вспоминаешь, что их автор — сын степи, что степь воспитала его и взлелеяла. И потому ремесло прасола не только не было ему неприятно, но еще и нравилось ему: оно познакомило его с степью и давало ему возможность целое лето не расставаться с нею, он любил вечерний огонь, на котором варилась степная каша; любил ночлеги под чистым небом, на зеленой траве, любил иногда целые дни не слезать с коня, перегоняя стада с одного места на другое. Правда, эта поэтическая жизнь была не без неудобств и не без неудовольствий, очень прозаических. Случалось целые дни и недели проводить в грязи, слякоти, на холодном осеннем ветру, засыпать на голой земле, под шум дождя, под защитою войлока или овчинного тулупа. Но привольное раздолье степи, в ясные и жаркие дни весны и лета, вознаграждало его за все лишения и тягости осени и дурной погоды».

Белинский же недаром называл степь и первой «школой жизни» для Кольцова, ибо изучение действительности во многом началось здесь же. Наверное, не случайно именно в степи Кольцов по какому-то наитию разом — как током ударило — ощутил себя поэтом. Авдотья Яковлевна Панаева, тогда жена писателя Ивана Ивановича Панаева, вспоминала: «Раз Кольцов пил у нас чай; кроме него, были только Белинский и Катков. Кольцов был очень разговорчив и, между прочим, рассказывал, как первый раз сочинил стихи. «Я ночевал с гуртом отца в степи, ночь была темная-претемная и такая тишина, что слышался шелест травы, небо надо мною было тоже темное, высокое, с яркими мигающими звездами. Мне не спалось, я лежал и смотрел на небо. Вдруг у меня стали в голове слагаться стихи; до этого у меня постоянно вертелись отрывочные без связи рифмы, а тут приняли определенную форму. Я вскочил на ноги в каком-то лихорадочном состоянии; чтобы удостовериться, что это не сон, я прочел свои стихи вслух. Странное я испытывал ощущение, прислушиваясь сам к своим стихам».

Конечно, все это вспоминалось через много лет, все это не простая запись рассказа Кольцова, передан сам рассказ обычным литературным языком (Кольцов писал и говорил иначе). Но, без сомнения, точно — не подделаешь — передано ощущение того, что называют словом «сошло», то состояние, которое существует в большом органичном поэте как бы уже вне его и само по себе, а самого поэта делает человеком не от мира сего. Людьми

простого здравого смысла так это и воспринималось, казалось чем-то вроде сумасшествия. Кольцовские приказчики вспоминают: «Малый-то он ничего был... да, знаете, чудаковат был: в сочинители записался. Где бы делом заняться, а он песни сочинять» (А. В. Попов). «Бывало, летом, в степи, особенно по вечерам, при солнечном закате, уже смеркаться начнет, а он, сердечный, и ну писать и ну писать. Я его — Лексей Васильевич! Лексей Васильевич! Куды тебе, не слышит, глядит как истукан. В ту пору совсем чудаком глядел» (Зенфиров).

Если так смотрели люди со стороны, приказчики, то хозяин, отец должен был уже прямо с горечью воспринимать этот дар божий как божье наказанье. «За грехи мои тяжкие, — выразился он однажды в сердцах, — господь дал мне такого сына. Видно, уж нам судьба по миру пойти. Вот уж божье попущение».

Естественно, что и по географии переездов, и по характеру деятельности приходилось видеть много людей, вступать с ними в разные отношения, попадать в разные обстоятельства. При этом сам народ часто представал по условиям прасольской жизни, так сказать, коллективом. «В деревне, — рассказывает тот же Пуле, — где останавливается прасол, особенно после долгих и тяжких переходов со своим «товаром», наступает совершенный праздник, — наступают гульба и песни, пляски и хороводы, и всяческого рода угощения деревенской молодежи, особенно «красных девушек»... Сам прасол не остается дилетантом, зрителем этих забав; он принимает участие в песнях и в пляске, он деятельно распоряжается угощением. Эти деревенские забавы иногда оканчивались шумным и не всегда скромным разгулом». «Кольцов, — подтверждает другой современник, М. В. Колобыхин, — часто приезжал на хутор, куда в праздничные дни приглашал из соседних деревень крестьянскую молодежь, устраивал хороводы и принимал в них участие. Кольцов сам пел песни и даже плясал». А позднее, с середины 30-х годов, Кольцов уже не только участник таких встреч, праздников, хороводов, но и наблюдатель, и собиратель, и этнограф. В 1837 году, побужденный А. А. Краевским, он, по собственным словам, «начинает собирать русские народные песни пристально». Конечно, собирать их «копотко и трудно», тем более что дело повелось без чьих-либо советов, довольно кустарно, а «самому потрафить трудно». Однако Кольцов тщательно будет записывать песню, и не только песню, но самый обряд исполнения ее, осмыс-

лять и комментировать. «Эту песню поют в Серпуховском уезде, в волости Хатунской, весною, в хороводе, с следующим порядком, — сообщает он Краевскому. — Хоровод становится в круг, берут друг друга за руки девушки и молодцы; в середине хоровода один парень становится в венке, расхаживает, поет и пляшет:

Сронил я веночек, —

здесь он снимает с себя венок и бросает наземь. Он над ним стоит; хоровод ходит, поет до «Ты стой, моя роща». Здесь он поднимает венок, надевает на голову, вновь ходит, пляшет и поет; и во второй раз повторение делают так же. В третий раз сначала тоже:

Девушка идет,
Красная идет,
Веночек несет.

Хоровод становится, поет: одна девушка из него выходит, поднимает венок, надевает на молодца, или, как она говорит, на «хороводчика», целует его. И конец игре! Надобно заметить: так, как я ее записал, она имеет слова точные, из слова в слово; но поют в хороводе ее иначе. Все стихи у них повторяются несколько раз и большею частию перемешиваются; и есть при других стихах прибавление из гласных букв, частицы к стихам, например: о, ай, о-ой, а-ой, ай-ой. У меня есть она и этак списана, и очень верно. Буде угодно, я вам пришлю. Эта песня удивительно как хороша на голос...»

Наконец, в общении Кольцова с народной песней появится с течением времени еще одна сторона. Поэту придется наблюдать, как воспринимает народ его собственную песню и как на нее отзывается. М. В. Колобыхин рассказывал, что песни Кольцова уже были известны тогда некоторой части крестьянской молодежи: «Между девушками, бывшими в хороводах, дочь сельского старосты, Ариша, особенно хорошо пела «Отчего, скажи, мой любимый серп». Находил там Кольцов и критиков, в той же Арише, в которой он видел, по воспоминаниям очевидца, личность высокого дарования: «Когда поэт читал ей стихи, то всегда прислушивался к ее советам».

Приходилось прасолам, как тем песенным ямщикам, и замерзать в степи, и нарываться на разбой, подвергаясь опасностям смертельным. Известен случай и с самим Кольцовым, не поладившим в степи с одним из своих работников, который собрался хозяина зарезать. Прознав-

ший стороной про это Кольцов достал вина, братался и пил с этим удальцом, если воспользоваться кольцовским же словом, «зачеред». Рассказ передан разными биографами, у Белинского он еще и резюмирован. «Вот мир, в котором жил Кольцов, вот борьба, которую он вел с действительностью... Не с одними волками, которые стаями следили за стадами баранов, приходилось ему вести ожесточенную войну...»

Кольцов действительно знал русского мужика в упор и, как говорил Белинский, сам был сыном народа в полном значении этого слова: «Быт, среди которого он воспитался и вырос, был тот же крестьянский быт, хотя и несколько выше его. Кольцов вырос среди степей и мужиков. Он не для фразы, не для красного словца любил русскую природу и все хорошее и прекрасное, что как возможность живет в натуре русского селянина. Не на словах, а на деле сочувствовал он простому народу в его горестях, радостях и наслаждениях. Он знал его быт, его нужды, горе и радости, прозу и поэзию его жизни, — знал их не понаслышке, не из книг, не через изучение, а потому, что сам и по своей натуре, и по своему положению был вполне русский человек». «Я русский человек», — неоднократно заявит в письмах Кольцов. «Русский» в данном случае означает не только национальную принадлежность, но и особую близость к миру народному, «русскому» в отличие от европеизировавшегося «общества». В этом смысле Островский, например, сопровождает в своей «Грозе» список действующих лиц примечанием: «Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски».

«Алексей Васильевич, — рассказывает М. Некрасов, — ходил в русском, длинный сюртук, волосы в кружок, фраков не имел...» Другое свидетельство В. Кашкина: «Одевался он в длинный купеческий сюртук, сверху чуйка, подпоясанная кушаком, шаровары, конечно, в сапогах и т. п.».

Кольцов подрастал человеком характера в основном довольно замкнутого и казался даже, по словам сестер, скрытным и угрюмым. В степи, в лесу, в поле раскрывалась его душа. По словам де Пуле, «...в степи, в поле, погоняя или пася стада, наконец, в деревне, на отдыхе, Кольцов становился совсем другим человеком, делался неузнаваемым: куда девались нелюдимость и суровость! Он бывал тогда весел и радостен и возбуждал вокруг себя не скуку, а веселость. Среди народа между крестьянами Кольцов был «свой человек» — «веселый парень»,

«купчик-душа», но вовсе не литератор, не поэт, брезгливо обходящий грязную действительность, не дилетант-этнограф, платонически издали ее наблюдающий. Он был «охоч и играть (петь) песни», и плясать и водить хороводы, а при случае — «мастер и погулять». <...> Куда ни приезжал Кольцов и где он ни останавливался — везде приезд его был в пору, а сам он всегда был желанным гостем. В качестве очевидца и отчасти современника, мы можем засвидетельствовать, что, долго спустя после смерти Кольцова, уже в 50-х годах, когда его сверстники начали сходить в могилу, имя «ласкового» и «славного Алексея Васильевича» было еще в свежей памяти у крестьян на далекое пространство от губернского города, они любовно о нем вспоминали и сердечно жалели о его ранней смерти».

Будущий поэт тесно приобщался к жизни народа, представавшего перед ним во всей своей пестроте. «Кольцов, — подтверждает воронежский краевед прошлого века Г. Веселовский, — был хорошо знаком с рыболовами, лесниками и многими крестьянами Селявного, Сторожева, Митяевки, Трясорукова и других сел Воронежской губернии. Для крестьян Кольцов сделался своим человеком. Он был близок им по самому своему быту, обычаям и привычкам».

Вряд ли кто-нибудь еще из наших литераторов был столь тесно связан с жизнью народа, так вовлекался в нее изнутри ее самой, оказывался для мужиков не человеком со стороны, не барином — своим ли, заезжим ли. Здесь-то прасольство явно сослужило нашей поэзии великую службу. Без него ни русской природы, ни русского народа наш поэт никогда и нигде так бы не узнал.

* * *

А что до учения, то началась вечная для русских самородков и самоучек стезя: самообразование. Собственно, первоначально по детскому возрасту даже не самообразование, а просто чтение книг. Еще в уездном училище сдружились два купеческих сына, Кольцов и Варгин. Свела их страсть к чтению. Варгин вскоре умер, а Кольцов получил первое, да и последнее в своей жизни наследство: умирающий мальчишка оставил другу несколько десятков книг. Эти семьдесят книг положили начало кольцовской библиотеке. Книги, читавшиеся Кольцовым, — обычные той поры книги для чтения низов: Бо-

ва, Еруслан... Но уже попадалась и «большая» литература: роман М. Хераскова «Кадм и Гармония», сказки «Тысячи и одной ночи». Все это была проза.

В пятнадцатилетнем возрасте Кольцов узнает, что есть и стихи. Конечно, он знал уже народную песню, слушал в городе и в селе, пели сестры, а они умели петь, и Кольцов любил их слушать, пел сам. Но ведь это же была, так сказать, не литература, а как бы сама жизнь, ее часть, ее продолжение. И вдруг выяснилось, что есть еще и книги, написанные совершенно необычно — легко, гладко, красиво. Таким словом, наверное, нельзя говорить, можно только петь. И потрясенный мальчик запел. И уже всегда потом, всю жизнь Кольцов будет читать стихи нараспев, а чаще всегда просто петь. Такова оказалась сила начального потрясения. Такая искра высеклась от этого первого удара поэтическим кремнем, и таким ярким пламенем она вспыхнула. Собственно, здесь-то, очевидно, по сути, и совершилась столь значимая для всей современной и последующей русской поэзии встреча народного характера и мироощущения с «ученой» литературой образованных сословий.

Конечно, первые стихи, прочитанные Кольцовым, а это были стихи Ивана Ивановича Дмитриева, не поражали глубиной содержания и мысли. Сам Дмитриев простодушно признавал за собой «скудность в глубоких идеях, чувствах и воображении» и заботился только о том, чтобы стихи были «менее шероховаты, чем у многих». Мальчик Кольцов, конечно, был прежде всего потрясен самим фактом существования стихотворной речи, отличной от прозы, с одной стороны, и от народной поэзии — с другой. А здесь-то гладкие легкие стихи карамзиниста Дмитриева, действительно гораздо менее шероховатые, чем у многих, пришлись весьма кстати. Тем более что такие стихи часто выступали как песни: «Стонет сизый голубочек...», «Ах, когда б я прежде знала...» или «Всех цветочков боле...» Правда, прежде всего юношу Кольцова привлекли, видимо, не песни или стихи вроде «Счета поцелуям...», а стихотворения с «содержанием» — «Ермак», например, — драматическая поэма и чуть ли не первый у нас опыт мрачного романтического произведения. Во всяком случае, начало приобщения к поэзии было положено.

В шестнадцать лет пишется первое стихотворение «Три видения». Обстоятельства написания самые «поэтические»: приятель рассказал Кольцову о снившемся ему

три ночи подряд одном и том же сне. Все это соответствовало и возрасту с буйно работающим воображением, и литературной традиции, которая была к тому времени освоена, скажем, роману М. Хераскова «Кадм и Гармония», полному таинственной символики. Наконец, сама поэзия явно воспринималась как нечто особенное, безусловно связанное с каким-то совершенно иным, «тем» миром. «Три видения» не были даже подражанием Дмитриеву. Просто Кольцов взял одно из стихотворений Дмитриева и по образу его и подобию сделал свое, к тому же о знании каких-то правил стихосложения, конечно, еще и речи не было.

Интерес к стихам теперь приобрел уже совершенно особый характер. Чтение прозы было отставлено, а на даваемые отцом деньги покупаются стихи: за Дмитриевым последовали Ломоносов, Державин, Богданович.

Получить книгу для жаждущего простолюдина было нелегко. Книгу нужно было достать, добыть. Общественной библиотеки в Воронеже тогда не было. Из стараний учредить такую библиотеку уже в 30-е годы ничего не получилось. А эти старания прилагал не кто иной, как сам губернатор. Дело в том, что в 1830 году начальником губерний стал Дмитрий Никитич Бегичев, один из друзей Александра Сергеевича Грибоедова. Бегичев и сам был литератором, автором большого романа «Семейство Холмских», посвященного жизни провинциального дворянства.

В бытность воронежским губернатором он неизменно помогал Кольцову в его делах и вообще относился к нему в высшей степени дружески. Был вручен «любезному Кольцову», как гласила надпись, и экземпляр «Семейства Холмских». В 1840 году Кольцов даже написал в честь к тому времени уже бывшего губернатора стихи «Благодетелю моей родины» (Д. Н. Бегичеву), где в духе довольно традиционной одописи противопоставлял неправедным вельможам истинных сынов отечества.

Другие люди есть: они от бога
Поставлены на тех же ступенях,
И также блеск, величье, слава
Кругом их свет бросают свой.
Но люди те — всю жизнь свою
Делам народа посвятили,
И искренно, для пользы государства
И день, и ночь работают свой век...

Однако в деле создания провинциальной общественной библиотеки писатель-губернатор, увы, не преуспел. Даже будучи открытой (в двух комнатах Дворянского собрания), она все же вскоре зачахла, а сам ключ, как повествуется в одной из краеведческих летописей, был утерян. По сути, первая публичная библиотека учредится в Воронеже лишь через два десятка лет после смерти Кольцова, а некоторые из личных библиотек богатых дворян — основные тогда хранилища книг — откроются для него, когда Кольцов станет уже известным поэтом. Можно представить, какой же манной небесной оказалось для молодого Кольцова знакомство с книгопродавцем Дмитрием Антоновичем Кашкиным.

Торговцев книгами тогда обычно называли просто книжниками, и это, конечно, было гораздо точнее. Дело торговли у таких людей чаще всего отступало перед любовью к самой книге, собиранием ее и пропагандой. Состояний здесь не наживалось. Кашкин, во всяком случае, не нажил и даже бросил дело — наследственную хлебную торговлю, — в котором, может быть, и мог нажить. Донской казак Д. А. Кашкин истинно перекатиполем мотался по стране, но не бесследно, он организовывал постоянную книготорговлю в Таганроге, в Одессе и, наконец, в Воронеже. Его лавка, по сути, была первым воронежским книжным магазином, ибо до этого книжная торговля осуществлялась на небольшом развале, с лотка, и почиталась делом не слишком серьезным.

Лавка Кашкина стала и чем-то вроде клуба — слово, может быть, не слишком удачно обозначающее небольшие сборы гимназистов, семинаристов, мещан и иного читающего люда, заходившего в невзрачную провинциальную лавочку посмотреть книги и потолковать о литературных новостях.

Кашкин самоучкой изучал французский и читал в подлиннике Мольера и Расина, рисовал, играл на гуслях и фортепиано. Когда думаешь о таких людях, как Кашкин, они невольно связываются с типом Кулигина у Островского, с типом народного интеллигента, просветителя, чудака. И сколько было на Руси таких безвестных «книжников», тихо и бескорыстно делавших своими малыми трудами большое дело.

Кашкин-то и известен стал, конечно, потому, что в его лавочку забегал сын живущего неподалеку купца Василия Петровича Кольцова. Впрочем, позднее вошел в историю русской культуры и сын самого Кашкина, Ни-

колай Дмитриевич. И если литературной стороной своего артистизма Дмитрий Антонович повлиял на Кольцова, то музыкальной обернулся к сыну. Самоучкой и при помощи отца тот стал играть на фортепиано. Затем учился в Москве у известного композитора и пианиста Дюбюка, возвращался в Воронеж, снова уезжал в Москву, служил там в книжной лавчонке, бедствовал, выбивался в люди и выбился, жил с Николаем Рубинштейном, был близок к Петру Ильичу Чайковскому и высоко им ценился за редкую способность понимания: недаром многие выдающиеся музыканты искали критических суждений замечательного русского музыкального просветителя, профессора Николая Дмитриевича Кашкина. Но все это много-много позднее. Кольцов уже умрет, когда младший Кашкин будет еще маленьким мальчиком. А в лавку старшего Кашкина тогда забегал Кольцов, сам мальчик. Забегал и припадал к книгам.

«В первых годах открытия книжной лавки Д. А. Кашкина, — вспоминал уже в 1842 году один из современников, Ф. Д. Трясоруков, — бывшей на углу Сенной (ныне Щепной) площади... помнится, в 1825 г. я видал в этой лавке мальчика лет 15-ти, небольшого роста, незавидной наружности, в нагольном засаленном полушубке, рассматривающего книги или читающего что-нибудь новое. Будучи сам страстным любителем чтения, я с особенным вниманием смотрел на него и, признаюсь, более потому, что наружность и костюм его не соответствовали такому занятию, особенно в то время. Видавши его часто в лавке, я скоро с ним сошелся и узнал, что он сын нашего прихожанина, Василия Петровича Кольцова, прасола, человека самого простого образования, и что он как один сын у отца должен помогать ему по всем его торговым занятиям».

Кашкин не мог не увидеть и не поощрить такую любовь к книге и предложил мальчику безденежно пользоваться своим книжным собранием. А само собрание это было не совсем заурядным. Во всяком случае, есть одно свидетельство, что были там и книги, ходившие по рукам в списках, и очень редкие древние книги. Наиболее нравившихся авторов юный Кольцов покупал, и они становились «своими». Из самых любимых оказались Дельвиг, Жуковский и Пушкин. На протяжении пяти лет кашкинская книжная лавка была для Кольцова и училищем, и гимназией, и университетом, а сам Кашкин — литературными пестуном, наставником и критиком. Не-

даром Кольцов обращал к нему свои первые благодарственные послания в стихах, еще наивных и ученических:

...ты,
В замену хладной пустоты,
С улыбкой, дружеству пристойной,
Глас лиры тихой и нестройной
Прочтешь и скажешь про себя:
«Его трудов — виновник-я!»
Так точно, друг, мечты младые
И незавидливый фиал,
И чувств волненье ты впервые
Во мне, как ангел, разгадал.
Ты, помнишь, рассказал: «Рассей
С души туман непросвещенья
И на крылах воображенья
Лети к Парнасу поскорей!»
Совету милого послушный
Я дух изящностью питал;
Потом с подругою воздушной
Нашедши лиру, петь начал...

Действительно, то, как «петь начал» Кольцов, во многом определялось влиянием Кашкина. Прежде всего Кашкин, всячески поощрявший стихотворство Кольцова, чисто учительски попытался рассеять «туман непросвещенья» и с самого начала поставить дело, так сказать, на научную основу. Он подарил юноше теоретический труд по стихосложению, вышедший еще в начале века: «Русская просодия, или Правила, как писать русские стихи, с краткими замечаниями о разных родах стихотворений». Кольцову исполнилось шестнадцать лет, и до того времени, когда он начнет писать действительно русские стихи, было еще довольно далеко.

Первое из известных нам стихотворений Кольцова «Песнь утру», конечно, довольно слабое и подражательное, в духе И. И. Дмитриева.

С зарею красною восходит
Солнце яркое в восток,
Из-за леса, гор выходит;
И шумит живой поток.
Осветило дол росистой,
Озлатило зыби вод,
Потряся и бор ветвистой.
Вдруг поднялся хоровод
Нежных пташек, пенье
И свирели пастухов.
Всюду радость и веселье
Средь долины и лугов,
Все пленило, веселило.
Милой взор среди природ!

О, как нежно, о, как мило,
Утро встретить и восход!

10 октября 1826 года

Но если сделать скидку на понятную для его уровня той поры произвольность некоторых грамматических образований (вроде «восходит Солнце яркое в восток» или «среди природ»), то приходится сказать, что не слишком грамотный воронежский юноша пишет стихи немногим хуже литературного метра, Ивана Ивановича Дмитриева.

* * *

В 1827 году Кольцовым подводились итоги довольно плодовитой работы: тридцать шесть стихотворений составили большую тетрадь: «Упражнения Алексея Кольцова в стихах с 1826 года с октября 1 дня. Выбранные лучшие и исправленные. Переписано 1827 года, марта 20 дня». И если Дмитриев обращал свою медитацию к другу-поэту — «Послание к Н. М. Карамзину», то «Послание Якову Яковлевичу Переславцеву» обращал и Кольцов. И тоже «медитацию» — размышление о превратностях судьбы, о бренности бытия. И тоже другу, да еще и родственнику: Яков Переславцев — его двоюродный брат по материнской линии. И тоже поэт. Один из довольно многочисленных воронежских поэтов. Не нужно думать, что стихотворствующий купеческий сын Кольцов был здесь редкостью. Вокруг него такие стихи писали многие и много. Он жил уже тогда в довольно плотной литературной среде.

Через несколько лет Кольцов напишет Белинскому о литературной жизни Воронежа: «Особенное наводнение ощутительно в стихописателях». Сказано уже сверху вниз, точно и зло. Но пока он еще и сам не исключение в этом ряду и тоже пополняет общий поток таких стихов стансами и эпиграммами, мадригалами и посланиями, подобными, например, «Посланию к Е. Г. О.» (акростих). Таким образом, юный Кольцов покушается уже на довольно изощренные стихотворные формы, даже на своеобразные стиховые фокусы. Начальные буквы, указывающие в акростихе, кому или кем написаны стихи, легко расшифровываются. Игривые строки этого послания обращены к Елизавете Григорьевне Огарковой — купеческой дочке, замечательно красивой. Таким образом, «Лизанька милая», «Лиза дорогая», прямо названная уже и в

самом стихотворении, отнюдь не условная Лизетта, столь характерная для карамзинско-дмитриевской поэтической традиции. Через много лет Кольцов обратит драматические строки к ее сестре Варваре — последней своей любви.

Последняя любовь поэта стала драмой. Драмой была и первая. Юношеские стишки к Огарковой — не единственные. «Послание к «Л. Г. А.» — это, конечно, ей же, Лизавете Григорьевне Агарковой. Фамилия Елизаветы Григорьевны, кстати сказать, произносилась как Огаркова и как Агаркова. Нужно учесть и бо́льшую приблизительность кольцовской орфографии, которая и много позднее будет приводить в смятение Белинского и других корреспондентов поэта. И у Кольцова то же «Послание Е. Г. О.» адресовано Огарковой — О, но уже в самом акростихе читается — Агаркова. Все эти стихи очевидные знаки юношеского увлечения в купеческом бомонде.

Любовь созрела дома. К человеку своему, близкому, почти родному.

В семье Кольцовых давно жила в прислугах крепостная женщина (юридически у недворян Кольцовых оформленная, естественно, на чужое имя). У нее росла дочь Дуняша. Росла вместе с дочерьми Василия Петровича, почти в их семье. Молодой Кольцов и Дуняша полюбили друг друга. Хозяйский сын и прислуга — коллизия довольно обычная с, увы, довольно обычным, хотя и драматическим, исходом. Конечно, хозяин никак и мысли не мог допустить, чтобы единственный наследник и продолжатель дела связал себя браком с неровней. Тут-то выяснилось, что патриархальная близость отношений «господ» и слуг еще ничего не значит.

Во время одной из отлучек сына — молодой Кольцов уже самостоятельно вел дела — отец продал Дуняшу и ее мать в донские степи. Потрясенный юноша свалился в горячке и долго болел. Кое-как оправившись, сын доказал и страстность души, и решительность характера, и способность к самостоятельным действиям, тут же ускакав на поиски любимой. Долго скитался по Дону, посылал на розыски нанятых людей, но никого не нашел. Про расставанье, про горькую любовь добра молодца, про несчастную долю красной девицы он потом будет петь не с чужих слов. А сама героиня и вся ее грустная история как бы перейдут в легенду, даже с разными вариантами. Есть легенда с «благополучным» концом. Дуняша хорошо вышла замуж, долго жила, после смерти

поэта приезжала в семью Кольцовых и вместе с родственниками умершего поминала его и поплакала.

Есть и другая, с концом уже совсем грустным. Ее особенность та, что она обставлена ссылками на свидетельства со многими достоверными подробностями. Вплоть до того, что сирота (!) Дуняша была куплена Василием Петровичем за пятьдесят рублей и что для того, чтобы разлучить влюбленных, отец отправил Кольцова в Петербург (Кольцов туда ездил, но — позднее), что Кольцов хотел, чтобы она училась на фортепиано (было дело, но только с сестрой Анисьей и тоже много позднее), что, наконец, Кольцов после поисков нашел свою любимую, но уже измученную непосильной работой и душевными страданиями. И она умерла у него на руках. Конечно, в тот же самый день. Интересно то, как вся эта история в сознании людей запечатлелась, то, что она стала легендой, как бы перешла в поэзию, в сказку. Перешла она и в поэзию самого Кольцова.

Нам эта история известна прежде всего в передаче Белинского: «Несмотря на то, что он вспоминал горе, постигшее его назад тому более десяти лет (этот разговор критика с поэтом происходил в 1838 году. — *Н. С.*), лицо его было бледно, слова с трудом и медленно выходили из его уст, и, говоря, он смотрел в сторону и вниз... Только один раз говорил он с нами об этом, и мы никогда не решались более расспрашивать его об этой истории, чтоб узнать ее во всей подробности — это значило бы раскрывать рану сердца, которая и без того никогда вполне не закрывалась. Эта любовь, и в ее счастливую пору и в годину ее несчастия, сильно подействовала на развитие поэтического таланта Кольцова. Он как будто вдруг почувствовал себя уже не стихотворцем, одолеваемым охотою слагать размеренные строки с рифмами, без всякого содержания, но поэтом, стих которого сделался отзывом на призывы жизни...»

Чуть ли не всю любовную лирику поэта Белинский склонен был относить к Дуняше. Он писал: «Пьесы «Если встречусь с тобой», «Первая любовь», «К ней (Опять тоску, опять любовь)», «Ты не пой, соловей», «Не шуми ты, рожь», «К милой», «Примирение», «Мир музыки» и некоторые другие явно относятся к этой любви, которая всю жизнь не переставала вдохновлять Кольцова».

И в любом пояснении почти ко всем названным стихотворениям неизменно говорится: «посвящено Дуняше»,

«навеяно любовью к Дуняше», «вызвано воспоминаниями о Дуняше» и т. п. Между тем дело обстоит сложнее, и кажется, здесь сама жизнь хорошо раскрывает творческую историю стихов, а стихи, в свою очередь, поясняют, что происходило в жизни.

Прежде всего надо отметить, что Кольцов был наделен замечательным чувством такта, редким ве́дением человека. С этим связано и неизменно острое ощущение адресата, к которому он обращал свое послание, будь то письмо или стихи. Потому-то и трудно представить, чтобы к девушке из народа, к Дуняше, было обращено такое, например, стихотворение:

Опять тоску, опять любовь
В моей душе ты заронила,
И прежнее, былое вновь
Приветным взором оживила.
Ах! для чего мне пламенеть
Любовью сердца безнадежной?
Мой кроткий ангел, друг мой нежный,
Не мой удел тобой владеть!
Но я любим, любим тобою!
О, для чего же нам судьбою
Здесь не даны в удел благой,
Назло надменности людской,
Иль счастье, иль могила!
Ты жизнь моя, моя ты сила!..
Горю огнем любви святым,
Доверься ж, хоть на миг, моим
Объятиям! Я не нарушу
Священных клятв — их грудь хранит,
И верь, страдальческую душу
Преступное не тяготит...

19 июля 1830 г.

Эти стихи были опубликованы в газетке «Листок» за 1831 год под заголовком «Послание А-вой», ясно, что той же Елизавете Григорьевне Огарковой (Агарковой). Лишь в издании 1835 года они получили нейтральное название «К», еще позднее — «К ней». Под «ней» Белинский предположил Дуняшу. Легко же, думается, предположить иное. А именно, что все «литературные» стихи, более ранние, подобные «Посланию к Е. Г. О.» (акростих) и более поздние типа «К ней» (первоначальное на́звание «Послание А-вой»), то есть такие стихи, как, например, «Первая любовь» или «К милой», вызваны любовью, вернее, увлечением Огарковой.

Подлинно же глубокое, поэтическое начало, то начало, с которым Кольцов являлся, по слову Белинского,

уже не стихотворцем, а поэтом, рождала именно любовь к Дуняше. К Огарковой обращался Кольцов-стихотворец, к Дуняше — Кольцов-поэт.

Превратиться из стихотворца в поэта для Кольцова значило запеть в своем оригинальном неповторимом роде, с которым он и вошел в историю русской культуры, — в роде русской песни. В 1827 году, в короткую пору счастливой любви к Дуняше, и вылилась у Кольцова единственная тогда песня в народном духе, как бы прорыв к самому себе:

Если встречусь с тобой
Иль увижу тебя, —
Что за трепет, за огнь
Разольется в груди.

Если взглянешь, душа, —
Я горю и дрожу,
И бесчувствен и нем
Пред тобою стою!

Если молвишь мне что,
Я на речи твои,
На приветы твои,
Что сказать, не сыщу.

А лобзаньям твоим,
А восторгам твоим, —
На земле, у людей,
Выражения нет!

Дева — радость души!
Это жизнь, — мы живем!
Не хочу я другой
Жизни в жизни моей!

Это единственная в 1827 году уже настоящая кольцовская песня, то есть песня в народном духе, но на литературной ритмической основе — песня написана анапестом. Ничто в остальном его творчестве этой поры (кроме, может быть, «Размолвки») к ней даже не приближается. И только через два года последуют еще один-два опыта в таком роде. Недаром эта песня так привлекла самых выдающихся наших композиторов: М. Глинку, А. Даргомыжского, А. Рубинштейна — они ощутили ее подлинность. Да и в народ она ушла почти сразу же.

Очевидно, можно говорить о двойном, так сказать, романе молодого Кольцова.

Один — увлечение купеческой дочерью Елизаветой Огарковой — может быть, не случайно он позднее влю-

бился в ее сестру Варвару — располагается на «высоком», «светском» уровне и рождает «высокую», «светскую» поэзию вплоть до галантных, мадригальных стихов: «Послание Е. Г. О.», «К ней» («Послание А-вой») и т. п.

Другой — любовь к крепостной прислуге, девушке из народа, Дуняше — располагается на «низком», «простонародном» уровне и рождает поэзию внешне, так сказать, «низкую», «народную», то есть песню, а именно, «Если встречусь с тобой...».

Один роман, во всяком случае в поэзии, тянется довольно вяло на протяжении ряда лет: если первое послание Огарковой относится к 1827 году, то второе («К ней») — к 1830-му.

Другой, вызвавший песню «Если встречусь с тобой...», прерывается в 1828 году драматичнейшим образом. Очевидно, степень первоначального потрясения была такова, что скорее взывала к молчанию, чем к стихам, — потому-то Кольцов и не пишет довольно долго стихов в простонародном духе. Но зато по прошествии некоторого времени, и чем дальше, тем больше, эта любовная драма, а по существу, как выражающая некое всеобщее положение драма социальная, громадная и катастрофическая, будет питать его песни. И более прямо, и более опосредованно. Прямо, например, в случае с песней «Не шуми ты, рожь». Сохранилось свидетельство, что песня родилась как отклик на известие о смерти Дуняши:

И те ясныя
Очи стухнули,
Спит могильным сном
Красна девица!

Тяжелей горы,
Темней полночи,
Легла на сердце
Дума черная!

Это стихи 1834 года. Они — ей, Дуняше. Так мог ли Кольцов через четыре года обратить к ней такие строки стихотворения «К милой» (в литературе о поэте оно обычно тоже относится к Дуняше):

Давно расстались мы с тобою.
Быть может, ты теперь не та;
Быть может, уж другой
Тебя от сладкого забвенья

Для новой жизни пробудил,
И в тех же снах другие сновиденья,
Роскошнее моих, твою лелеют душу.
Хорош ли он? Вполне ли заменил
Огонь любви моей могучей
И силу страстного лобзанья,
И наслажденье без конца?

Ясно, что «милая» в этом стихотворном обращении 1838 года (как мы видели, любовная лирика поэта могла оказываться и достаточно разнообразной, и, видимо, разноадресной и в пору любви к Дуняше, и в пору разлуки с ней, и в пору после известия о ее гибели) не Дуняша, оплаканная и отпетая в стихах 1834 года «Не шуми ты, рожь, спелым колосом».

Но опосредованно любовная драма поэта отзовется во всех стихах-песнях Кольцова о любви, о разлуке и особенно в песнях о красной девице. Кстати сказать, в песнях у Кольцова почти нет женской судьбы, бабьей доли. Навсегда героиня его песен останется девушкой, всегда он будет петь про первую любовь, которая и последняя, про несовершившееся, про оборвавшееся.

Именно любовь к Дуняше, а точнее, вся драма этой любви стала непосредственным толчком, который помог Кольцову обрести «свой» поэтический голос, но в целом обстоятельства и причины обретения такого голоса, конечно, разнообразны, и запел он совсем не только о любви.

* * *

Никакого систематического образования Кольцов не получил, он был взят на втором году обучения из уездного училища. Но из этого еще совсем не следует, что он не был причастен к образованию, и именно к такому, какое получали молодые люди губернского города в учебных заведениях достаточно привилегированных.

В частности, таким заведением стала гимназия. Воронежская гимназия была очень неплохой школой, дававшей своим питомцам среднее образование. Сильным был и преподавательский состав. Но какое все это имеет отношение к Кольцову? А такое, что Кольцов оказался связан с гимназией и, так сказать, приобщен к гимназическому образованию и уровню, во всяком случае, в области литературы.

Кажется, еще ни одно учебное заведение и никогда не обходилось без литературы. Даже в том случае, когда

литература не включалась ни в какие учебные планы: бурса ли, Парижский ли корпус, Инженерное ли училище или юнкерская школа гвардейских подпрапорщиков — именно оттуда выходили Помяловский и Боратынский, Достоевский и Лермонтов. Если литература не преподавалась, то она все равно существовала: в литературном обществе, в дружеском кружке, в рукописном альманахе, наконец, и, может быть, главное, в тихой и часто тайной работе «для себя».

Конечно, Воронежская гимназия проходила через все те испытания, которые были уготованы российскому просвещению чиновниками, мудрившими в рамках общего произвола каждый на свой манер. Один из инспекторов приказывал гимназистам даже зимой снимать шапки перед... губернаторским домом. А когда директором оказался отставной майор фон Галлер, то он начал с программы подготовки гимназических питомцев, им самим сформулированной так: «Священное уважение и повиновение к начальникам вообще, ибо и при самых лучших успехах в науках главное обращу внимание на сии качества».

Но даже после фон Галлера все ахнули, когда сменивший немца русский директор, переведенный из семинарии З. И. Трояновский, обнародовал свои правила, потрясавшие подлинно иезуитской регламентацией жизни гимназистов. Расписав все возможные варианты пресечений, Трояновский, наконец, разработал и такую систему мер, «...дабы сами же ученики на будущее время способствовали своему начальству в приобретении удобности надзора за ними в их квартирах...». Высокое начальство, очевидно, было покорено грандиозностью и в то же время тщательностью разработок Трояновского, и в дальнейшем он был направлен наводить порядок в пребывавшую в расстройстве Тамбовскую гимназию. Самое замечательное, однако, то, что, кажется, эта столь впечатляющая система у умного и довольно добродушного Трояновского в жизнь почти совершенно не проводилась. Жизнь во многом шла своим чередом. В том числе и литературная.

В Воронежской гимназии литература преподавалась. Существовал и гимназический литературный кружок. Кольцов, как вспоминает современник Вышневский, «не только бывал на собраниях этого кружка, но и относился к нему с полным сочувствием». К 1831 году гимназисты затевают альманах «Цветник нашей юности»: «Не стяжание славы, которую многие ищут, и не подражание, которому следуют, заставило нас собирать *цветник юности*.

Нет. Его цель — одно воспоминание о днях счастливых, о днях, проведенных в кругу родных, знакомых, милых и друзей, мы часто собирались вместе, чтоб читать полезные книги, а разойдясь — писать *кто что умеет»*.

Впрочем, в 1831 году Кольцов уже умел многое, что и не снилось «насадителям цветника юности», предававшимся воспоминаниям о днях счастливых. Но именно с таким кружком он поначалу был связан, посещал его, слушал, обсуждал, жил, так сказать, «нормальной» жизнью начинающего губернского литератора. В сентименталистские стихи гимназистов, в свой черед, врывались мрачные романтические мотивы, а в качестве «высокого» все еще была представлена одопись. Вместе с тем появлялся интерес и к «своему», народному. Гимназист П. Попов уже писал:

Ворота ль мои, воротушки,
Ворота ль мои дубовые,
Вы давно ль, ворота красные,
Отворялися для молодца?..

Впрочем, гимназические связи Кольцова не были ни слишком тесными, ни слишком глубокими.

Наряду с гимназией в Воронеже существовало учебное заведение, если формально не более высокого типа, то, без сомнения, с бо́льшими культурными традициями, с более сильным и уже не только преподавательским, но профессорским составом. Это была духовная семинария. «Почти все замечательные люди нашей местности, — писал де Пуле, — имеют самое близкое отношение к Воронежской семинарии: они или учились, или учили в ней, или же развивались под посредственным или непосредственным ее влиянием, в этом отношении довольно указать на Евфимия Болховитинова, Серебрянского, Никитина и Кольцова». Да, и Кольцова. Хотя, как известно, Кольцов там не учился и уж тем более не учил.

В Воронеже семинария издавна была культурным центром, и подчас очень высокого уровня. Во многом это связано и с тем, что ряд лет в культурной жизни Воронежа важное место занимал в будущем видный общественный и культурный деятель митрополит Евгений (в миру Болховитинов). Это ему в свое время посвятил Державин одну из самых знаменитых своих од — «Евгению. Жизнь Званская». Друг знаменитого просветителя Н. И. Новикова, Болховитинов действительно был главой духовной жизни края и совсем не только в узком, соб-

ственно церковном смысле. Кстати, и он занимался в молодости «стихосогрешениями». Просветительская и административная деятельность Болховитинова имела громадное влияние прежде всего на семинарию.

Основанная еще в середине XVIII века, не слишком сравнительно с другими старая, она была примечательна во многих отношениях. Учился тут самый разный люд, хотя, конечно, не простонародье: более всего, естественно, дети священников, но дети и дворян-помещиков, и чиновников, и купцов. И пути отсюда открывались разные. Так, именно из семинарий широко привлекались студенты и в Медицинскую академию, и в Главный педагогический институт. В этот институт позднее придет семинарист Николай Добролюбов.

В семинарии тоже были свои литературные кружки, более серьезные и просто более профессиональные сравнительно с гимназическими. Кстати, и традиции их были давними и тоже шли от Болховитинова. Он еще при начале своей воронежской деятельности образовал кружок, в который, правда, входили больше учителя народного училища.

И позднее семинарские литературные кружки были значительным явлением в культурной жизни Воронежа. Туда входили люди, которые если и не стали выдающимися литераторами, то, может быть, могли ими стать. Одним из самых замечательных был Андрей Порфирьевич Серебрянский.

Серебрянский вошел в большую историю и в большую историю литературы опять-таки вместе с Кольцовым и благодаря Кольцову, но, по сути, Серебрянского, может быть, не всегда это подозревая, знает всякий русский человек, если не по целому стихотворению, то по одной строке, даже как бы выступившей из стихотворения, ставшей пословицей, поговоркой, крылатой фразой: «Быстры, как волны, дни нашей жизни».

Серебрянский — автор этой буквально всеми поколениями обучающейся русской молодежи певшейся и поющейся песни, своеобразного студенческого гимна.

Серебрянский быстро стал в центр семинарского литературного кружка. Поступивший в семинарию еще в 1825 году сын сельского священника ко времени знакомства с Кольцовым был студентом (так тогда называли семинаристов) четвертого класса, то есть человеком достаточно образованным. В кружке Серебрянский верховодил как юноша способный, чуткий, эмоциональный, явно

выделявшийся и по степени поэтического дарования. Первая же встреча его с Кольцовым определила их отношения как ученика и учителя.

Однажды компания семинаристов проводила время в загородной роще, игравшей тогда роль воронежского парка. Был там и Кольцов. Завязалось знакомство и разговор. Кольцов похвалил «Письмовник» Курганова. Книга эта, представлявшая смесь учебника, энциклопедического словаря, сборника стихов и собрания анекдотов, была широко распространена в демократической среде и в качестве универсальной книги для чтения. С семинарских высот похвалы в устах молодого прасола такому «низкому» чтению, вероятно, показались наивными и были встречены хохотом. Неожиданно Серебрянский принял сторону Кольцова и тоже стал хвалить «Письмовник» во все более и более восторженных тонах. Наконец стало ясно, что нарастание таких восторгов у Серебрянского не более чем комическая фигура.

Тем не менее, вероятно, Кольцов не был так уж обескуражен шуткой, а Серебрянский не был так уж в ней зол, ибо знакомство их закрепилось, а чуть позднее перешло в дружбу. Одинаковость возраста — Кольцов и Серебрянский ровесники — тоже, видимо, способствовала сближению.

Впрочем, и в этом первом эпизоде, и в этих показавшихся его новым знакомцам смешными похвалах кургановскому «Письмовнику» Кольцов был чуть ли не более своих насмешников прав. Во всяком случае, такие критики, как Пушкин и Белинский, были к Курганову снисходительнее семинарских воронежских интеллектуалов и с похвалой говорили о культурном и просветительном значении его «Письмовника».

Серебрянский стал вторым после Кашкина, более высокого ранга критиком, руководителем и наставником. И не только в собственно литературном, но и в более широком мировоззренческом плане. Надо сказать, что за фигурой Серебрянского в картине духовной жизни Воронежа вырисовывается еще ряд очень колоритных фигур, к которым прямо или опосредованно, главным образом через того же Серебрянского, стал причастен Кольцов.

Прежде всего это профессор Воронежской семинарии Платон Ставров, который читал в семинарии философию. Высокообразованный Ставров был широко осведомлен в современных философских системах и направлениях, хо-

тя сам отдавал предпочтение просветительству XVIII века.

Вообще философские интересы учащихся семинарии были всегда достаточно разносторонними: Декарт и Кант, Н. Новиков и Я. Козельский, Монтень и Руссо. Горячим поклонником и восторженным учеником Ставрова стал Серебрянский. Один из учеников Ставрова, Е. Светозаров, вспоминает, что тот был особенно близок к Серебрянскому. Серебрянский даже посвятил Ставрову свою поэму «Бессмертие». Поэма была сугубо философской не только в том смысле, что решала философские проблемы бытия, но и решала их совершенно умозрительно, хотя и в зарифмованном виде. Идея бессмертия логически доказывалась в трех частях, составлявших поэму: «Предчувствие вечности, или Восторг души при наступлении весны»; «Певец при гробе Карамзина с привычной думой о смерти»; «Певец с возмущенной душой под угрюмым небосклоном вечера».

Друг церкви — истины святой,
И дара песнопений,
Склони слух к лире золотой
И оцени мой гений...

Первыми «гений» поэмы в полной мере «оценили» семинаристы. В литературном-то семинарском кружке перед Серебрянским и вообще преклонялись, а уж после чтения «Бессмертия» один из участников и буквально, земно поклонился в ноги поэту. Сохранилось немало, хотя и противоречивых, рассказов и о публичных официальных семинарских чтениях поэмы в присутствии «особ» и самого архиерея.

«Оценил» «гений» молодого поэта и Ставров. Однажды он прочитал своим коллегам «Бессмертие», выдав за пушкинское сочинение. Все дружно похвалили. Тогда Ставров объявил подлинного автора. Все дружно покритиковали. Трудно сказать, подшутил ли Ставров только над своими слушателями или над поэтом тоже. Скептический, в духе вольнодумствующего XVIII века философ Ставров мог посмеяться и над создателем поэмы. Старомодный в духе поэтического XVIII века литератор Ставров мог и не позволить себе такой шутки. Потому же и воспитанные на старой поэзии слушатели, критикуя Серебрянского, по сути, ругали Пушкина, а восхищаясь «Пушкиным», в сущности, от души воздавали Серебрянскому, чья поэма была близка к традиции милого им литературного XVIII века

и вполне догматично доказывала риторическими стихами в пику «безумцам-атеистам»: «Жив Бог — жива душа моя вовеки!»

А ты ли, Царь царей.
Не поведешь нас в даль от гроба жизни сей?
Где чистая душа, покинув сновиденье
Сей жизни, не вздохнет о суетном земном,
Там, в пристани волнуемого моря,
Ее покой и жизнь без времени и горя... и т. д.

То, что называлось в семинарском курсе философией, было довольно сложным образованием, в которое входил целый ряд дисциплин. Во-первых, логика. Во-вторых, всеобщая философия, или онтология, то есть учение о бытии вообще. В-третьих, именовавшаяся мирославием космогония, как представление и о строении вещества, и о строении вселенной — что-то вроде астрономии. В-четвертых, называвшаяся душесловием психология и, наконец, естественное богословие, которое в известной мере было всепокрывающим курсом и уж, во всяком случае, основным и диктовавшим принципом.

Собственно, и саму философию преподавали с 1817 года с тем, чтобы, объединив с богословием и подчинив богословию, в рамках ее самое противостоять антирелигиозным убеждениям, в общем, как было записано в уставе семинарии: «Да образует вертоград сей смиренномудрых проповедников слова Божия». Соответственно семинаристами писались и сочинения на темы религиозно-нравственные, вроде того, что «Философ должен быть набожен», или разные отвлеченные «Вечерние чувствования». Сочинения эти обычно отличались выспренностью и какой-то удивительной нерусскостью речи, впрочем, как и многие лекции профессоров. И весь курс философии читался на латыни и воспринимался семинаристами с большим трудом, а чаще просто не понимался. Платон Ставров оказался чуть ли не единственным за всю историю семинарии профессором, умевшим его приспособить и сделать доступным для восприятия. Кроме того, он вел алгебру и физику.

Свой курс философии Ставров читал в семинарии как раз в пору, когда Серебрянский сблизился с Кольцовым, в 1828—1832 годах. Конечно, эмоциональный, впечатлительный Серебрянский не мог не знакомить Кольцова с теми идеями и сведениями, которые получал от своего семинарского профессора, да еще и пытался перелагать в стихи.

Таким образом, можно довольно уверенно говорить о том, что начатки философского образования и приобщение к раздумьям над коренными вопросами бытия Кольцов получал от интересных, осведомленных и увлеченных людей. Не нужно думать, что через несколько лет, когда он попадет в Москве в кружок Николая Станкевича, то окажется в мировоззренческих проблемах совершенным профаном. Над такими проблемами Кольцов задумался очень рано, и свои первые думы, еще их так не называя, он пишет уже в 1829 году. «Ответ на вопрос моей жизни» 1829 года именно такая дума. А в «Плаче» того же 1829 года Кольцов уже прямо приступает к богу с вопросами о смысле и цели бытия, которые потом многократно повторит в своих думах:

На что мне, боже сильный,
Дал смысл и бытие,
Когда в стране изгнанья
Любви и братства нет.
<...>О, просвети мне мысли,
Нерадостны они,
И мудрости светильник
Зажги в моей душе.

Но Кольцов отнюдь не возлагал только на отца небесного надежду на просвещение «мыслей» и всячески сам пытался их «просветить».

Серебрянский сыграл большую роль и в собственно литературной ориентации Кольцова. Версификация объяснялась уже не на уровне «Русской просодии», великодушно подаренной в свое время Кашкиным. Совместные занятия поэзией приобретали тем больший задор и увлекательность, что Серебрянский сам был поэтом, то есть не только наставником, но и как бы соперником.

Силы были неравны, так что образованный Серебрянский редактировал, правил, черкал и просто уничтожал то, что ему казалось слабым в стихах его еще не искушенного подопечного. Кольцов мужественно и благодарно все принимал. Но силы были неравны и потому, что еще не очень искушенный Кольцов уже обнаруживал задатки великого поэта, а уже искушенный Серебрянский их еще не обнаруживал, да, кажется, становилось ясно и ему самому, не обнаружит. Впрочем, Кольцов совершенно простодушно был убежден в том, что стихи Серебрянского, конечно, хороши и уж, безусловно, выше его собственных. кольцовских. Серебрянский же, однако, до-

вольно быстро стал догадываться, в чем дело, и, проявив здесь большой такт и выдержку, почти не касался того, что уже становилось у Кольцова песней.

Вообще 1829 год оказался для Кольцова щедр на знакомства. В августе неподалеку от Воронежа на постоялом дворе села Можайского он знакомится с профессором Воронежской семинарии Александром Дмитриевичем Вельяминовым. Вельяминов преподавал философию и физико-математические науки. В качестве ученого он не мог соперничать со Ставровым, но он был не только преподавателем, а и литератором, занимался и сочинениями и переводами. Воспитываясь в Петербургской духовной академии, познакомился в свое время с некоторыми столичными писателями и поэтами, в частности с В. А. Жуковским. Неудивительно поэтому горячее желание Кольцова сойтись с Вельяминовым. Доброжелательный Вельяминов полюбил Кольцова, как вспоминала потом дочь Вельяминова, с первого же знакомства и пригласил его к себе. Кольцов и в Вельяминове увидел одного из вероятных критиков и литературных советчиков и часто приносил ему тетради со своими стихами.

Вельяминов был не только профессором семинарии, но и ее библиотекарем. Так открылась перед Кольцовым семинарская библиотека. Кроме того, Вельяминов снабжал Кольцова книгами из своей библиотеки и из библиотек своих знакомых. Появился еще один важный книжный источник, из которого можно было свободно черпать.

А семинарская библиотека Воронежа — заведение во многих отношениях замечательное — занимала третье место среди подобных библиотек, после Новгородской и Троице-Лаврской. По каталогу 1784 года в ней насчитывалось более четырех тысяч названий, из них около полутора тысяч русских. Особенно приросла библиотека при Евфимии Болховитинове, который одно время ею заведовал. Достаточно, например, сказать, что по его настоянию было приобретено семьдесят томов сочинений Вольтера (и это при том, что библиотека уже владела пятьюдесятью четырьмя томами сочинений великого француза), 123 тома знаменитой Французской энциклопедии.

Конечно, из этого еще совсем не следует, чтобы воронежское семинарское собрание книг было рассадником вольтерьянства. Наоборот, в 1793 году вышла в Москве книга, подготовка которой была организована Болховитиновым в Воронеже, а именно «Волтеровы заблуждения, обнаруженные Нонотом. Переведены с французского ори-

гинала последнего, шестого издания в Воронежской семинарии студентами богословия». Но сами «Волтеровы заблуждения», очевидно, таили немалый соблазн для некоторых переводчиков. Во всяком случае, в числе их оказался отец Платона Ставрова Иван Дмитриевич Ставров, отличавшийся большим вольнодумием в духе просветителей XVIII века, приятельствовавший с Рылеевым (дело в том, что с 1792 года он был священником в Белогорье Острогожского уезда, где позднее стал жить и Рылеев).

Вообще же влияние Рылеева в крае и тогда (1816—1819 годы), и после отъезда было огромным, особенно в семьях местных помещиков и духовенства, причастных к литературе. Его произведения в большом количестве переписывали. Многие знали наизусть «Войнаровского». Любовь к думе «Петр Великий в Острогожске» подкреплялась, конечно, и местным патриотизмом. А сам образ Рылеева потом перешел в легенды, ходившие во многих вариантах — он герой, разговаривающий, как в сказке, с царем, уже будучи обречен, многозначительными присловиями: ветки порублены, а корни останутся. И действительно, корни-то в памяти людей, во всяком случае в воронежском крае, жили долго. Да и некоторые корни творчества самого Рылеева уходят, конечно, в местный, русско-украинский край. Рылеев сам укажет на их народную почву: «Дума, старинное наследие от южных братьев наших, наше русское, родное изобретение. Поляки заняли его от нас». Рылеевская дума, пропагандистская, декабристская, конечно, в принципе от народной песни отличается, но попытка связать ее с народной почвой характерна. Недаром, очевидно, и Кольцов, человек почти этого времени и этого края, назовет часть своих произведений по-украински, но и по-рылеевски — думами. Это, в сущности, единственные наши поэты, писавшие в жанре думы. У Лермонтова «Дума» — название произведения, но не обозначение жанра.

В 1818 году последовало указание семинарской библиотеке осторожно выдавать книги, в которых «есть мысли не нравственные и не полезные духовному юношеству». Несмотря на это, в ходу у семинаристов оказывались и Декарт, и Руссо, и Лейбниц.

Русское собрание состояло в основном из старых авторов: Ломоносов, Сумароков, Херасков, Костров. Это кое в чем объясняет и литературные пристрастия, и литературные споры как самих студентов, так и их наставников. Ведь еще в начале 40-х годов один из выпускников Воро-

нежской семинарии, студент Киевской духовной академии, поставлявшей, кстати сказать, профессуру и для Воронежа, писал об академических литературных чтениях: «Боже мой! Что, если бы какой-нибудь литератор послушал лекции нашего Тредиаковского? Он обмер бы со страху, а мы — от стыда. Вот уж попал не в свою колею. Я каждый раз принужден сидеть как на иголках, когда бедные студенты по наряду своего профессора начинают корчить словесников. Ужас, да и только. Вообразите, для него и теперь «Россиада» Хераскова — chef d'oeuvre русской эпической поэзии; для него и теперь Ломоносовы речи — образец поэтического красноречия; для него и теперь Пушкин еще не поэт, Хомякова — как не было. Боратынский — миф; Лермонтов — сказка, Грибоедов — темна вода во облацех. Ах, батюшки мои, и это в академии? И это в высшем учебном заведении?.. Бедная словесность! Бедные слушатели! Бедный горемыка-профессор».

Кольцов, во всяком случае, общался с книгами семинарской библиотеки, минуя подобных горемык-профессоров. А те профессора, с которыми в 1829 году опосредованно (П. И. Ставров) или прямо (А. Д. Вельяминов) он имел дело, были действительно лучшими профессорами чуть ли не за всю историю Воронежской семинарии.

Наконец, в 1829 году состоялось еще одно знакомство, подлинная примечательность которого раскрылась для нас много позднее. Долгое же время ему в жизнеописаниях Кольцова большого значения не придавали, ограничиваясь краткими сообщениями о том, что проезжал-де через Воронеж некий Сухачев, взял у Кольцова несколько стихотворений да под своим именем и напечатал. Конечно, уж и факт первой, хотя и своеобразной, публикации знаменателен. Но не только. «Любопытно было бы, — спрашивал биограф Кольцова М. Ф. де Пуле, — узнать что-нибудь об этом Сухачеве?» Сейчас мы кое-что об этом Сухачеве знаем.

За три года до приезда Василия Ивановича Сухачева в Воронеж в Одессе было раскрыто тайное «Общество независимых». Начались аресты, производились многочисленные допросы, допрашивали по этому делу, в частности, и Александра Сергеевича Грибоедова. Сухачев-то и был главой организации, разгромленной при самом почти ее рождении.

Современный исследователь характеризует отличительные особенности этого общества как провинциализм,

неопределенную кружковщину, отсутствие политического опыта и традиций.

В 1826 году власти искали всего, что хоть как-то было связано с 1825 годом, с его декабрем. Таких связей у одесских «независимых» не оказалось. Летом 1826 года Сухачева освободили, но под полицейским надзором он остался и права проживания в больших городах был лишен.

С Кольцовым Сухачева свел его давний, еще по Одессе, знакомец, все тот же Дмитрий Антонович Кашкин. Многое роднит этих двух разночинцев, самозабвенно вступивших на путь приобщения к высокой культуре в те «дворянские» двадцатые годы. Сын мелкого торговца, «мальчик» и приказчик в одесских магазинах, лишенный первоначального образования, Сухачев самоучкой изучает французский и итальянский, занимается переводами, увлекается историей и штудирует философскую литературу. В его кружке читают радищевское «Путешествие» и «Вольность» Пушкина. Замечательно, однако, не только это стремление приобщаться, но и приобщать, не только просвещаться, а и просвещать. Трудно сказать, как складывалась бы судьба Кольцова без усилий таких народных просветителей, как Кашкин и Сухачев. Встреча-то с Сухачевым была довольно мимолетной, но след она в душе Кольцова, очевидно, оставила, и большим доверием к Сухачему он, кажется, проникся. Понятным становится, почему и стихи Сухачеву были отданы. Он и опубликовал в 1830 году свои «Листки из записной книжки В. Сухачева», где было помещено несколько стихотворений Кольцова: «Не мне внимать», «Приди ко мне», «Мщение». В «Листках» не говорилось, что это стихи Сухачева, а анонимность публикаций была тогда повсеместна: и прозы, и критики, и стихов, и целых сборников. Правда, Сухачев внес некоторые изменения в текст «Разуверения», впрочем минимальные.

Вообще Кольцов, особенно поначалу, никогда не творил в тишине и втайне — всегда стремился вынести стихи на внешний суд и был к нему очень внимателен. Поэтому стихи его и соответственно популярность, во всяком случае в Воронеже, распространились довольно быстро. И потому же первая анонимная публикация неудобств не составила, так как в Воронеже-то люди, причастные к литературе, знали, чьи это стихи.

В 1831 году стихи впервые печатаются уже под фамилией поэта. Помещены они в московской газете «Ли-

сток». Маленькое и совершенно кустарное изданьице «Листок» действительно было листком в том смысле, что сначала печаталось на одном листе, да и форматом было в лист писчей бумаги. Помещались там разные мелкие статейки и более или менее случайные стихи, например такие, «народные»:

На коне сижу,
На коня гляжу,
С конем речь веду:
«Ты, мой добрый конь,
Ты, мой конь ретивой,
Понесись, что стрела,
Стрела быстрая...»

(«Русская быль»)

Несколько лет спустя Белинский-критик, может быть, с тем большей силой ощутит подлинность и мощь народной, кольцовской песни, что с этих «народных», «кольцовских» стихов начал Белинский-поэт: «Русская быль» — единственное дошедшее до нас его стихотворение, ставшее и первым выступлением будущего великого критика в печати. Сам же Кольцов или тот, кто его представлял (всего скорее это был А. Д. Вельяминов), поместил стихи чисто литературные: «Вздох на могиле Веневитинова» и «К N».

Таким образом, ничем не замечательный «Листок» замечателен одним: здесь начали Кольцов и Белинский. В «Листке», кстати сказать, Белинский выступил и с первой критической статьей о пушкинском «Борисе Годунове».

Тогда же Кольцов познакомился, как позднее напишет критик, с «одним молодым литератором». Этот «молодой литератор» и есть сам Белинский. Правда, к сближению такое знакомство еще не привело.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

В том же 1831 году стихи Кольцова напечатала уже не маленькая литературная газетка «Листок», но «большая» настоящая «Литературная газета», во главе которой стояли Дельвиг, Вяземский, Пушкин. Наверное, потому, что и стихи Кольцова, в ней помещенные, были настоящими и в его настоящем жанре — впервые с печатной страницы глядела кольцовская «Русская песня» — под таким названием оно и было напечатано:

Я затеплю свечу
Воску ярова,
Распаяю кольцо
Друга милова.
(«Кольцо»)

Николай Станкевич, а именно он переслал стихотворение в «Литературную газету», видимо, понял, что такое подлинный Кольцов. Он же в письме редактору впервые и представил поэта: «Вот стихотворение самородного поэта г. Кольцова... Ему не более двадцати лет от роду, нигде не учился и, занятый торговыми делами по поручению отца, пишет часто дорогою...» Видимо, необычность появления «самородного поэта» заставляла искать необычность и экзотику. И нигде-то он не учился, и пишет-то «ночью, сидя верхом на лошади». Вскоре другой анонимный биограф и совсем пережмет по этой части, рассказывая, «где и как действовал его (Кольцова. — *Н. С.*) карандаш, в седле ли, на дороге, на опрокинутом котле кашевара или колесе кочевой кибитки, или на окровавленной колоде бойницы».

Исходили авторы, впрочем, из благого намерения, взывая к снисходительности публики. Что-де и требовать: «он воронежский мещанин...». «Рука зоила не поднимется на беззащитного мещанина». Сам Кольцов тогда же напишет по образцу рылеевских (которые, значит, хорошо знал) стихи:

Я не поэт, а мещанин.

Но если гордое рылеевское противопоставление «Я не Поэт, а Гражданин» ставит гражданина явно впереди

поэта и высоко над ним, то кольцовский «мещанин», естественно, располагается сзади поэта и под ним, как бы сразу же отменяя даже малейшую претензию на высокое звание поэта.

Но в «Русской песне» мещанин уже заявил себя поэтом самого высокого разбора. И судя по тому, что Станкевич представил в «Литературную газету» именно «Русскую песню», он это понял первым и, очевидно, при первом же знакомстве. Друг Станкевича и первый биограф Кольцова Я. М. Неверов рассказал: «Не помню точно, в 1835 или 1836 г., Станкевич сообщил мне о своем знакомстве с Кольцовым, которое произошло следующим образом. Отец Станкевича имел винокуренный завод, куда местные торговцы скотом пригоняли свои гурты для корма бардою. Разумеется, молодой Станкевич не имел никаких сношений с этими лицами. Однажды, ложась спать, он долго не мог найти своего камердинера и когда последний явился, то на замечание Станкевича привел такое оправдание, что вновь прибывший прасол Кольцов за ужином читал им такие песни, что они все заслушались и не могли от него отстать. При этом камердинер сказал несколько оставшихся у него в памяти куплетов, которые и на Станкевича произвели такое впечатление, что он пожелал узнать от Кольцова, откуда он достал такие прекрасные стихи. На другой день он пригласил его к себе и, к удивлению своему, узнал, что автор этих стихов сам Кольцов. Разумеется, Станкевич тотчас попросил Кольцова передать ему все свои стихотворения».

И по этому рассказу, и по тому, что Станкевич передал в «Литературную газету» именно стихотворение «Кольцо», следует, что речь должна идти именно о стихах-песнях.

Николай Станкевич был человеком редких качеств, которые сейчас, конечно, можно понять только, так сказать, отвлеченно и лишь опосредованно. Мы знаем о его философских занятиях, но и о том, что они носили в общем ученический характер освоения чужого. Во всяком случае, до поры до времени. Но ведь другой поры и другого времени не пришло — Станкевич умер молодым, почти юношей. Мы знаем небольшие и довольно бледные его литературные опыты, прежде всего немногие стихи. И вместе с тем нам известны ни с чем вроде бы не вяжущиеся восторженные оценки, данные Станкевичу его современниками, соратниками, друзьями. И какими!

«Нет, я лучше тебя понимаю этого человека, — писал

Белинский Бакунину, — он не наш и его нельзя мерить на нашу мерку... если ему суждено встать, то нам надо будет смотреть на него, высоко подняв голову; иначе мы не рассмотрим и не узнаем его».

«Станкевич, надежда науки, надежда отечества». А это сказал уже человек другого лагеря и другого склада — М. Погодин. Но профессор Погодин определяет Станкевича именно профессорски и, так сказать, гелертерски: «В два года приобрел такие познания, что знаменитые берлинские профессора поклонялись его светлой и ясной голове, его блистательным способностям».

Белинский же, как всегда, с поразительным чутьем определяет самую суть и значение Станкевича. Он имеет в виду, конечно, не его философские и литературные труды, когда говорит о гениальности Станкевича: «Гениальная личность», «Великая гениальная душа», «Все добровольно и невольно сознавали превосходство его натуры над своею». Вспоминается и определение пушкинской Татьяны у Белинского: «гениальная натура». Особенность такой «гениальной натуры», как Станкевич, заключалась в обращенности прежде всего не на себя, а на других. «Потребность сочувствия, — может быть, глубже и проницательнее всех определил эту сторону Станкевича Герцен, — так сильна у Станкевича, что он иногда выдумывал сочувствие и таланты, видел в людях такие качества, которых не было в них вовсе, и удивлялся им.

Но — и в этом его личная мощь — ему вообще не часто нужно было прибегать к таким фикциям, он на каждом шагу встречал удивительных людей, *умел их* встречать, и каждый, поделившийся его душою, оставался на всю жизнь страстным другом его, и каждому своим влиянием он сделал или огромную пользу или облегчил ношу». Вот в чем реализовалась гениальность Станкевича, ни в чем ином вроде бы не закрепившаяся для потомков и не переданная им — ни в стихах, ни в философских писаниях. Вот в чем проявился исторический смысл существования этого, по словам Герцена же, одного из «праздных людей, ничего не совершивших».

Потому же Станкевич и стал центром того кружка, который наряду с кружком Герцена заключил все лучшее, что было в умственной и нравственной жизни своего времени. И потому же, очевидно, он играл роль своеобразного катализатора, возбудителя интеллектуальной и нравственной энергии во всех людях, которых сталкивала с ним судьба. И потому тогда же, в 1831 году, в острогожской

деревне он так чутко восприняял талант Кольцова и так точно и раньше всех понял, в чем заключается суть этого таланта, а к 1831 году эта суть уже вполне определилась: достаточно сказать, что была написана «Песня пахаря».

Герцен нарисовал в «Былом и думах» такую картину»: «В Воронеже Станкевич захаживал иногда в единственную тамошнюю библиотеку за книгами. Там он встречал бедного молодого человека простого звания, скромного, печального. Оказалось, что это сын прасола, имевшего дела с отцом Станкевича по поставкам. Он приголубил молодого человека: сын прасола был большой начетчик и любил поговорить о книгах. Станкевич сблизился с ним. Застенчиво и боязливо признался юноша, что он и сам пробовал писать стишки, и, краснея, решился их показать. Станкевич обомлел перед громадным талантом, не сознающим себя, не уверенным в себе, с этой минуты он его не выпускал из рук до тех пор, пока вся Россия с восторгом перечитывала песни Кольцова. Весьма может быть, что бедный прасол, теснимый родными, не отогретый никаким участием, ничьим признанием, изошел бы своими песнями в пустых степях заволжских, через которые он гонял свои гурты, и Россия не услышала бы этих чудных кровно-родных песен, если б на его пути не стоял Станкевич».

Картина эта интересна как своеобразное, ставшее позднее почти стандартным изображение отношений Кольцова и Станкевича и как очень типичное восприятие Кольцова многими людьми определенного времени. Она характерна и обилием фактических неточностей, и приблизительностей: «встречал в библиотеке» (которой в Воронеже тогда не существовало); «гонял гурты в заволжских степях» (в которых Кольцов никогда не бывал) и т. п. Она характерна и, так сказать, двойным клише: общие сентиментально-романтические штампы («скромный, печальный...», «застенчиво и боязливо...», «краснея») помогли создать более частный штамп «благородного» (это правда) юноши, который «приголубил» бедного молодого человека, теснимого родными (а вот это уже неточно: и не бедного, и никем тогда не теснимого). Но Герцен точно назвал главное: то, что суть таланта Кольцова — «кровно-родные» песни России и то, что Станкевич «обомлел» перед этим громадным талантом. Потому же Николай Станкевич постоянно сохранял живой интерес к Кольцову и за границей тоже. «В письмах

своих в нашу семью из Берлина, — вспоминает Александр Станкевич, — брат просил вестей о Кольцове, поручал передать ему его поклоны. Он также письменно спрашивал о нем друзей, которые нередко пересылали ему стихи Кольцова. Дружественные отношения бывают разные. — Уважение, участие, сочувствие со стороны брата к Кольцову были полные. Кольцов платил ему тем же. К *покровительственным* отношениям с лицами, для него почему-либо привлекательными, брат не был способен. Кольцов, человек и поэт, были предметом его любви».

Таким образом, важнейшее значение Станкевича здесь сказалось прежде всего в том, что именно он определил истинный поэтический род Кольцова и представил поэта именно в этом роде.

Станкевич же способствовал и выходу первой книжки Кольцова. Вся эта история была представлена первым биографом поэта Я. М. Неверовым в 1836 году в журнале «Сын отечества» опять-таки в духе сентиментально-идиллическом: «Вскоре... случай свел г. Кольцова с другим молодым литератором, который заметил этот талант в тиши, в безвестности напевавший сладкие и приятные песни, вверявший мечты и жизнь бумаге, коей, казалось, суждено было быть безответною могилою этих поэтических отголосков. Кольцов был понят, оценен — и молодой литератор великодушно взял на себя труд и издержки печатания».

На самом деле, однако, ни о какой «тиши», «безвестности», «безответной могиле поэтических отголосков» и речи быть не может. В Воронеже известность Кольцова почти с самого начала писания стихов была очень широкой. Со стихотворением «Кольцо» она перешла на другой и высший уровень. Сам Кольцов всегда и энергично знакомил всех, кого считал нужным, со своими стихами, и они расходились в списках. Но очень уж соблазнительно выглядела история с бедным народным поэтом, извлеченным из фатального, как казалось, забвения.

В сущности, во многих жизнеописаниях Кольцова того времени, и даже в посвященных ему позднейших мемуарах-воспоминаниях, можно выявить и действие неких общих закономерностей, которым подчинялась массовая проза 20—30-х годов, обильная романтическими ходами и сентиментальными штампами. Не забудем, что только в начале 30-х годов появляется проза Пушкина и Гоголя и только в их конце — Лермонтова. Еще Пушкин, назы-

вая как лучшую у нас прозу Карамзина, прибавлял: «Это еще похвала небольшая».

И применительно к такому «сюжету», как жизнь Кольцова, эта мощная литературная инерция готова была ломать факты, не говоря уже об их освещении. Она оказала влияние даже на Герцена и Белинского, прошла через весь девятнадцатый век, докатилась до нашего времени опять-таки и в освещении фактов и в подаче их. Станкевич урезонивал Неверова: «Я не сердился, а смеялся за строки, напечатанные тобою в «Сыне отечества». Чудак! С чего тебе вздумалось величать меня литератором и великодушным. Ведь ты очень хорошо знал, что прославление моего великодушия вовсе мне не приятно; даже если б я в самом деле напечатал книжку в лист на свой счет, — а она напечатана по подписке, сделанной в один вечер».

И сам Кольцов, решись он, мог издать на свои собственные средства не одну такую книгу. Впрочем, он уже и думал о таком издании. Один из современников поэта, в ту пору еще гимназист Александр Митрофанович Юдин, вспоминал: «В первый раз я услышал о Кольцове от дяди моего, Семена Михайловича Языкова, служившего тогда асессором Воронежской казенной палаты. Увидев у него тетрадь тогда еще не изданных стихотворений Кольцова, я тотчас переписал ее для себя. У меня явилось желание видеть Алексея Васильевича и слышать его речь; но так как дядя мой не был с ним знаком, то и я не имел надежды скоро сойтись с ним. К этому же, будучи учеником гимназии, я полагал, что для Кольцова не было бы и интереса в знакомстве со мною, однако случай устроил иначе.

Однажды <...> был я по какому-то делу у директора гимназии, Захара Ивановича Трояновского, где увидел Кольцова. Трояновский отрекомендовал нас друг другу. Так как в то же время приехал к нему какой-то чиновник с бумагами, то он, извинившись перед Кольцовым, попросил меня остаться с ним, пока он поговорит в кабинете с приехавшим. Мало-помалу мы разговорились, и в конце нашей беседы Алексей Васильевич выразил желание познакомиться со мною поближе и пригласил меня посещать его. Я поспешил воспользоваться этим приглашением и в первый же праздничный день отправился к нему. Он жил в доме своего отца, на Большой Дворянской улице, и занимал небольшой каменный флигель, стоявший среди двора. Между нами начался разговор о

его стихотворениях. Он сказал, что хочет издать их (на свой счет, конечно. — *Н. С.*) в виде местного альманаха и что хорошо было бы для того достать еще несколько литературных произведений лиц, живущих в Воронеже. Между прочим, он спросил, нет ли у меня моих переводных статей, которые имели бы общий интерес. Я отвечал, что я занимаюсь переводами только как ученик гимназии, а потому статей, годных для помещения в альманахе, не имею. <...> Через несколько времени было получено в Воронеже изданное Станкевичем небольшое собрание стихотворений Алексея Васильевича...»

Собрание действительно было небольшим. Оно включало всего восемнадцать стихотворений. Правда, в него уже вошли такие, как «Не шуми ты, рожь», «Крестьянская пирушка», «Удалец». Тем не менее ни объем, ни характер издания Кольцова не удовлетворяли.

В 1837 году, когда Кольцов думал об издании нового сборника, то писал принимавшему участие в этом деле Краевскому: «Вы хлопочете, чтобы ее продать какому-нибудь книгопродавцу. За нее дорого дать никто не согласится, а если 300 или 500 рублей, то и хлопотать нечего: такие безделицы продавать дороже стыдно. <...> Еще мне бы хотелось напечатать на хорошей бумаге, пороскошней, и оттисните в добрый час. Мало слов, много хлопот и дела куча. Отдайте Смирдину на комиссию или кому Вам угодно — и дело с концом. <...> За свои стихи денег не брал и буду ли брать когда-нибудь? Цена им дешевая, а награда великая. <...> Не выручатся деньги, а платить в типографию будет нужно — напишите: я тотчас вам деньги вышлю. А чтоб вас совершенно успокоить в исправном платеже, посылаю расписку. Еще меня на это станет: жив бог — жива душа». Письмо и заканчивалось распиской: «1837 года, февраля 12 дня, я, нижеподписавшийся, дал сию расписку его высокоблагородию Андрею Александровичу Краевскому в том: сколько будет им истрачено своих денег на издание моей книги, обязуюсь я таковые деньги по первому его требованию немедленно заплатить, в чем и подписуюсь. Воронежский мещанин *Алексей Кольцов»*. 300—500 рублей — «и хлопотать нечего!».

Как видим, и говорить не приходится о меценатстве, о покровительстве, оказываемом богатыми людьми бедному человеку из народа и при подготовке к изданию первого его сборника, который стал при жизни Кольцова и последним. Но для Кольцова такое издание, очевидно,

важно было именно как факт литературного и общественного признания, как чья-то высшая, в данном случае Станкевича и его круга, санкция.

В то же время книга 1835 года была и итогом, укрепившим самого поэта в сознании своей силы и своего призвания.

Именно тогда появляется наконец интерес к Кольцову и у Белинского. Потому Белинский и принимает участие в издании сборника 1835 года. Во-первых, Кольцов раскрывается для него уже со своей настоящей стороны — песнями: ведь в «Листке» 1831 года их не было. Во-вторых, и Белинский 1835 года — это уже настоящий Белинский. Тем не менее при всем приятии поэзии Кольцова его отзывы еще достаточно сдержанны. Он, конечно, называет Кольцова талантом «истинным», но ведь все-таки «не большим», он определяет его дар творчества как «неподдельный» и не «натянутый», но ведь все-таки «не глубокий» и «не сильный». Нет, даже настоящий Кольцов-поэт не сразу открылся даже таким критикам, как Белинский. И уж тем более не сразу открылся Кольцов-человек, Кольцов-личность. Отношение к Кольцову, несколько снисходительно-покровительственное, проявилось у Белинского ведь и в характере предисловия к сборнику 1835 года, в котором Станкевич выглядел неким меценатом. Не случайно Станкевич протестовал и предисловие было снято. Возможно, первая статья Белинского о Кольцове и была как бы заменой такого предисловия: «Кольцов — воронежский мещанин, ремеслом прасол. Окончив свое образование приходским училищем, т. е. выучив букварь и четыре правила арифметики, он начал помогать честному и пожилому отцу своему в небольших торговых оборотах и трудиться на пользу семейства. Чтение Пушкина и Дельвига в первый раз открыло ему тот мир, о котором томилась душа его, оно вызвало звуки, в ней заключенные». Не очень еще Белинский всматривается и в судьбу Кольцова. Отсюда несколько условная идиллическая картинка: «честный пожилой отец», «...трудиться на пользу семейства». Отсюда неточности: «...окончив образование приходским училищем». Как мы знаем, не окончив, потому что — и не учившись. Даже в 1837 году Белинский пишет в одном из писем: «Я не стыдясь, в кругу знати, если угодно, назову моим другом какого-нибудь Кольцова». «Назову моим другом». Но сколько оговорок: «не стыдясь», «если угодно» и «какого-нибудь (!) Кольцова».

Кольцов при побуждении, сочувствии и поддержке со стороны Кашкина, Серебрянского, Станкевича, но совершенно самостоятельно нашел свой род, выработал в нем себя и сформировал к 1835 году. Во второй свой приезд в Москву, в 1836 году, уже не только он поднимался до новых московских друзей и знакомых, но и они постепенно, не сразу до него поднимались и доходили. Правда, только в одном деле, в одном отношении, в одной сфере. В какой же? В той, в какой Кольцов и стал к этому времени великим поэтом, как никто: ни до него, ни вокруг, ни после. В своем роде, в своем жанре Кольцов сам мог быть учителем кого бы то ни было, мог выступать в роли судящего «правых» и «виноватых», хотя бы таковыми были даже Пушкин и Лермонтов: «Скажите, бога ради, в третьем номере «Сына отечества» напечатана «Народная сказка» Пушкина. (Речь идет о «Сказке о попе и работнике его Балде», напечатанной в пятом номере «Сына отечества» за 1840 год с большими искажениями. — *Н. С.*) Не спекуляция это? Положимте, сказка русская, весь ее материал высказан прекрасно, коротко и полно, и по внутреннему достоинству она Пушкина, можно согласиться; но словесность, рифма — и уху больно, и читать тяжело. Впрочем, я прочел ее с удовольствием, потому что русскую чисто сказку с рифмою писать нейдет: она ее не жалует; не будь рифмы, тогда бы другая была словесность, — она, быть может, стала бы к «Рыбаку и рыбке».

Недаром Белинский говорил, что, «несмотря на всю объективность своего гения, Пушкин не мог бы написать ни одной песни вроде Кольцова, потому что Кольцов один и безраздельно владел тайною этой песни».

Можно было бы сказать подобно тому, как мы говорим, например, о Крылове — основоположнике русской басни, что Кольцов был основоположником русской литературной песни на народной основе.

Правда, Кольцов начал совсем не с русских песен. Белинский, разделив стихотворения Кольцова на три разряда, относил к первому «пьесы, писанные правильным размером, преимущественно ямбом и хореем. Большая часть их принадлежит к первым опытам, и в них он был подражателем поэтов, наиболее ему нравившихся. Таковы пьесы «Сирота», «Ровеснику», «Маленькому брату», «Ночлег чумаков», «Путник», «Красавице». <...> В этих стихотворениях проглядывает что-то похожее на талант... из них видно, что Кольцов и в этом роде поэзии мог бы

усовершенствоваться до известной степени... оставаясь подражателем, с некоторым только оттенком оригинальности».

Нужно думать, что и в этом роде поэзии Кольцов мог бы усовершенствоваться не только до известной, но до очень большой степени, до высшей даже, — до пушкинской. В 1827 году Пушкин написал стихотворение «Соловей и роза»:

В безмолвии садов, весной во мгле ночей,
Поет над розою восточной соловей.
Но роза милая не чувствует, не внемлет.
И под влюбленный гимн колеблется и дремлет.
Не так ли ты поешь для хладной красоты?
Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?
Она не слушает, не чувствует поэта;
Глядишь, она цветет; взываешь — нет ответа.

В 1831 году Кольцов написал своего «Соловья».

Пленившись розой, соловей
И день и ночь поет над ней,
Но роза молча песням внемлет,
Невинный сон ее объемлет...
На лире так певец иной
Поет для девы молодой;
Он страстью пламенной сгорает.
А дева милая не знает —
Кому поет он? Отчего
Печальны песни так его?..

За эти кольцовские стихи позднее ухватились лучшие русские композиторы: А. Гурилев, А. Рубинштейн, и Н. Римский-Корсаков, и А. Глазунов, а В. Стасов называл его романсом «поразительным по красоте и поэтичности». Дело только в том, что Кольцов написал эти «пушкинские» стихи после Пушкина, прямо и оговорив: «Подражание Пушкину».

«Но здесь, — продолжал Белинский, — и виден сильный, самостоятельный талант Кольцова: он не остановился на этом сомнительном успехе, но, движимый одним инстинктом своим, скоро нашел свою настоящую дорогу. С 1831 года он решительно обратился к русским песням».

* * *

Термин «российская песня» возник еще в 70-х годах XVIII века, но лишь в начале XIX века русская песня отчетливо осознается как особое жанровое образование.

рожденное из взаимодействия книжной и устной народной поэзии. «Русская песня» — жанр, к которому пробивалась и пробилась в Кольцове большая русская литература, как пробилась она к той же басне Крылова через Тредьяковского, через Сумарокова, через Хемницера. Правда, экзотичность материала, обособленность существования — вне европейской литературной традиции, в отличие, скажем, от басни, — новизна и особый характер социальной и эстетической почвы, на которой она возникла, определили ее особое место в литературе и даже как бы неожиданность самого появления — по сути, строго закономерного. Конечно, песня Кольцова взаимодействовала при своем становлении и с собственно литературной «русской песней», как она сложилась к тому времени у Дельвига, например.

Вот стихотворение Дельвига «Хата»:

Скрой меня, бурная ночь! Заметай следы мои, вьюга,
Ветер холодный, бушуй вкруг хаты Лизетты прекрасной.
Месяц свети — не свети, а дорогу, наверно, любовник
К робкой подруге найдет.

Сюжет и многие детали у Кольцова повторяются:

Месяц будь или не будь —
Конь дорогу найдет;
Сам лукавый впотьмах
С ней его не собьет.

И до ночи метель
Снегом путь весь закрой;
Без дороги — чутьем,
Сыщет домик он твой!

Но сказать, что Кольцов учился у Дельвига, все равно что сказать: в «Бахчисарайском фонтане» Пушкин учился по «Тавриде» С. С. Боброва (хотя и взял у Боброва ряд образов). Как справедливо заметил один старый критик (П. В. Владимиров), искусственные мотивы Дельвига перерождаются у Кольцова в народные. Интересно, что вроде бы сентиментальный «домик» воспринимается как стоящий на месте у «простонародного» Кольцова, а «хата», да еще в соединении с «Лизеттой прекрасной» режет ухо в гекзаметрах Дельвига. Дельвиг прозаизирует в целях достижения «народности» старую стиховую основу. Кольцов стремится на народной основе к достижению новой поэтичности.

Сейчас мы, говоря о кольцовском творчестве, обычно

называем самую характерную его литературную форму просто песней. Сам же Кольцов почти неизменно настаивает на другом: «Глаза» (Русская песня), «Измена суженой» (Русская песня) или, и чаще: «Русская песня» («Ах, зачем меня...»), «Русская песня» («В поле ветер...»), «Русская песня» («Так и рвется душа...»).

«Русская» — это подчеркнутость — свидетельство первоначального острого осознания ее национальной самобытности. Но она идет и от обобщающего, всерусского, общенационального характера, который позднейшая песня в известной мере утратит как более локальная и частная. В дальнейшем сформировавшаяся национальная определенность избавит наших песенников от такого специального указания. В то же время, пожалуй, уже никогда более песня и не сможет претендовать на столь обязывающее название. И если никогда басня уже не приобретет такого общенационального характера, как басня Крылова, если никогда стихотворная комедия не станет в уровень с «Горем от ума», да и не стихотворная тоже, за исключением, может быть, близкого здесь грибоедовской комедии «Ревизора», то и песня никогда более не достигнет уровня и, так сказать, всероссийского масштаба кольцовской песни. Эта «русская песня» действительно общерусская, всерусская. Одно из первых и одновременно из последних явлений в русской литературе, носящих столь универсальный характер, подобно басне Крылова, комедии Грибоедова, роману Пушкина, поэме Гоголя. Это было искусство синтезирующее. Потому-то Сенковский называл «Горе от ума» «светской библией», а Белинский «Евгения Онегина» — «энциклопедией русской жизни». Тот же Белинский отказывался видеть в басне Крылова только басню: все, что угодно, только не просто басня. Жуковский находит в такой басне приметы эпоса, о драматизме же ее писали буквально все.

Кольцов здесь вполне выразил те же особенности, что и вся русская литература этой поры. И, создав каких-нибудь два десятка песен, стал, по сути, одним из центральных явлений русского национального искусства. Почему?

Достоевский еще при начале своей деятельности однажды поделился с братом: «Взгляни на Пушкина, на Гоголя — написали немного, а оба ждут монументов». Действительно, стоит сравнить, что написали и сколько написали наши писатели и поэты начала века с тем, что и как написали наши классики, скажем, середины и второй половины века, чтобы эта вроде бы чисто количе-

ственная разница прямо бросилась в глаза. С одной стороны, небольшие, то есть малые по объему своему, произведения: «Горе от ума» — «светская библия» — едва ли в сотню страниц, «Евгений Онегин» — «энциклопедия русской жизни», вместившаяся в каких-нибудь шесть листов печатных. Наконец, может быть, единственная и высочайшая русская эпопея «Мертвые души» — один небольшой томик.

Знаменитое стихотворное определение, которое дал когда-то Фет сборнику стихов Тютчева, —

Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей —

приложимо почти к любому из произведений русской классики первых десятилетий прошлого века. Сам Достоевский же однажды и определил особенности такого искусства. «Я действую анализом, а не синтезом, Гоголь же берет прямо целое». Искусство начала века — искусство невероятных обобщений, искусство «синтеза». И потому-то оно искусство поэтическое, тяготеющее к стихам, если не прямо в стихах выраженное. Некрасов, бывший не только поэтом, но и прозаиком и всегда опытнейшим знатоком литературы, критиком и редактором, проницательно указал на такую разницу: «Дело прозы анализ, дело поэзии синтезис». Потому-то и пишутся в начале века как главные вещи «Горе от ума» — стихотворная комедия, хотя и роман «Евгений Онегин», но в стихах, хотя и в прозе — «Мертвые души», но — поэма.

Великий этот «синтезис» нашел полное выражение и высшее разрешение в Пушкине. Только в отношении к нему можно понять все или многое и предшествующее и последующее в нашей литературе: и Батюшкова, и Жуковского, и Крылова, и Грибоедова.

И Кольцова. И дело не только в том, что все они, так сказать, внесли свою лепту в пушкинское творчество. Каждый из них, в свою очередь, уже как бы порывается стать Пушкиным. И потому, даже работая в сфере совсем узкой и сравнительно периферийной, в басне, например, самую эту сферу невиданным ни до того, ни после того образом расширяет.

Внимало все тогда
Любимцу и певцу Авроры;
Затихли ветерки, замолкли птичьи хоры,
И прилегли стада.
Чуть-чуть дыша, пастух им любовался

И только иногда,
Внимая соловью, пастушке улыбался.

Может быть, только разностопный ямб вносит некоторую вольность в эту классическую идиллию. А ведь это не эклога, а басня, не Дмитриева, а Крылова!

Лютейший бич небес, природы ужас — мор
Свирепствует в лесах. Уныли звери;
В ад распахнулись настежь двери;
Смерть рыщет по полям, по рвам, по высям гор;
Везде разметаны ее свирепства жертвы...

Стихи, которые, еще по замечанию В. А. Жуковского, не испортили бы описания моровой язвы ни в какой эпической поэме. Но это тоже всего лишь басня. И тоже Крылова. До самой «Войны и мира» русская литература не имела положительного образа русской жизни и русской героики 1812 года — Кутузова, лучшего, чем тот, что создан опять-таки в басне. Опять-таки Крылова.

Традиционно считается, что Пушкин свел к себе многие и разные начала предшествовавшей поэзии; скажем, элегический, психологический романтизм Жуковского и очень пластичное жизнерадостное творчество Батюшкова и что тот же Батюшков предшествовал юному, молодому творчеству Пушкина. Батюшков действительно предшествовал, но не раннему Пушкину, а всему Пушкину.

А какие разнообразные пушкинские начала несет поэзия Жуковского! Он уже не только готовит Пушкина, но совершенно по-пушкински готовит и послепушкинскую поэзию.

Подобно этому, песня Кольцова очень универсальное, очень многое синтезирующее явление. Русская песня Кольцова отнюдь не только песня-лирика. Это и эпос, как сказал бы Гегель, «в собственном смысле слова», и часто — драма.

Кольцовская песня — народная песня по характеру своему. Всегда у Кольцова в стихах выступает не *этот* человек, не *этот* крестьянин, не *эта* девушка, как, например, у Некрасова или даже у Никитина, а вообще человек, вообще крестьянин, вообще девушка. Конечно, имеет место и индивидуализация (ленивый мужичок или разгульный молодец), и разнообразие положений и ситуаций. Но, даже индивидуализируясь, характеры у Кольцова до индивидуальности никогда не доходят. Чуть ли не единственный у Кольцова случай как будто бы пре-

дельной индивидуализации — имя собственное — лишь подтверждает это: Лихач Кудрявич.

Уже имя героя несет некую общую стихию народного характера. К песням Кольцова в полной мере могут быть отнесены данные Гегелем характеристики народной поэзии: «...Общие черты лирической народной поэзии можно сравнить с особенностями первобытного эпоса под *тем* углом зрения, что поэт как субъект не выделяется, а теряется в своем предмете. Хотя в связи с этим в народной песне может найти свое выражение сосредоточенная проникновенность души, все же здесь опознается не отдельный индивид со своим субъективным своеобразием художественного изображения, а общенародное чувство, полностью, целиком поглощающее индивида, поскольку индивид для самого себя не обладает внутренним представлением и чувством, отмежеванным от нации, его быта и интересов.

<...> Эта непосредственная самобытность придает песне чуждую всякого умозрения свежесть коренной сосредоточенности и радикальной правдивости, такая свежесть может вызывать сильнейшее впечатление, но вместе с тем подобная песнь нередко оказывается чем-то фрагментарным, отрывочным, недостаточно вразумительным».

Конечно, песня Кольцова отличается от собственно народной песни в своей, по словам Белинского, «художественности, под которою должно разуметь целость, единство, полноту и выдержанность мысли и формы». Это происходит потому, что, как говорил Белинский же, кольцовские стихотворения — это «произведения народной поэзии, которая уже перешла через себя и коснулась высших сфер жизни и мысли». Но по сути своей она остается именно «произведением народной поэзии» безотносительно к тому, сколько и каких образов, пришедших из собственно народной поэзии, мы в ней находим. В ином литературном произведении таких образов может быть больше, и все же от народной поэзии оно дальше, чем кольцовская песня.

Но отнюдь не абстрактные сами по себе начала национальной народной жизни владеют поэзией Кольцова.

«Для искусства, — писал Белинский, — нет более благородного и высокого предмета, как человек, — и чтобы иметь право на изображение искусства, человеку нужно быть человеком... И у мужика есть душа и сердце, есть желания и страсти, есть любовь и ненависть,

словом — есть жизнь. Но чтобы изобразить жизнь мужиков, надо уловить... идею этой жизни». Именно «идею» жизни «мужиков» и выразила поэзия Кольцова.

* * *

Когда-то Глеб Успенский писал как о главном всеохватывающем и всепроникающем начале такой жизни — о власти земли. Понятие «власть земли» Успенским раскрывается как особый характер отношений с природой, так что слово «земля», по сути, оказывается синонимом слова «природа». Такие отношения зиждутся на особом характере земледельческого труда. В качестве одного из главных аргументов Успенский привел поэзию Кольцова как поэта земледельческого труда: «Поэзия земледельческого труда — не пустое слово. В русской литературе есть писатель, которого невозможно иначе назвать, как поэтом земледельческого труда — исключительно.

Это — Кольцов».

Именно идея такого труда стала главной идеей поэзии Кольцова.

Что касается «земледельческого труда исключительно», то здесь Успенский впадает в односторонность — поэзия Кольцова много шире. И все же именно здесь открыла поэту крестьянская страна в пору нового национального становления своеобразный универсум: полноту жизни, цельность, гармонию и свободу. Вообще, подобно Пушкину, Кольцов мог бы произнести, что и он в «жестокий век» «восславил свободу», ибо человек Кольцова — это прежде всего свободный человек, в подлинном смысле слова «землепашец вольный». Есть у Кольцова стихотворение, которое, может быть, наиболее полно выражает такую «идею» земледельческого труда. Это многими поколениями заученная, прославленная, хрестоматийная «Песня пахаря». «В целой русской литературе едва ли найдется что-либо, даже издали подходящее к этой песне, производящее на душу столь могучее впечатление», — писал в 1856 году Салтыков-Щедрин.

Вообще Кольцов осуществил уникальный в своем роде эстетический акт, очень значимый в деле становления, а отчасти и восстановления национального мироощущения. Он перевел народно-поэтическое, эпичное, часто древнее сознание на язык современной жизни, на язык индивидуальности. Именно здесь и в этих рамках

реализовался с большой силой совершенно особый психологизм Кольцова. Хорошо знавший Кольцова М. Катков писал: «Я присутствовал при рождении многих его стихотворений. <...> Мало-помалу мысль становилась яснее, слово выразительнее, в потоке слов вдруг что-то проглянет, то там, то тут, проблеснут стихи, в которых уже затеплилось чувство, загорелась жизнь; после многих таких опытов он наконец добирался до своего. Особенно памятно мне в этом отношении одно прекрасное стихотворение Кольцова, которое перешло многие пробы, прежде чем достигло своего настоящего вида. <...> Это «Пора любви». <...> Помню, какое электрическое действие произвела на друзей Кольцова эта пьеска, когда в ней вдруг оказались следующие стихи:

Стоит она, задумалась,
Дыханьем чар овеяна;
Запала в грудь любовь-тоска,
Нейдет с души тяжелый вздох;
Грудь белая волнуется,
Что реченька глубокая —
Песку со дна не выкинет;
В лице огонь, в глазах туман...
Смеркает степь, горит заря...

Душа его отличалась удивительной чуткостью. <...> Самые утонченные чувствования, самые сложные сочетания душевных движений были доступны ему».

Эпический характер в поэзии Кольцова остается эпическим, то есть не индивидуальным, не *этим* характером. Мы не можем никогда дать ему более конкретных определений, чем пахарь, косарь, добрый молодец, красна девица. Но они и правда оказывают «электрическое действие», так как живут, оставаясь всеобщими характерами, жизнью конкретных состояний, «самых утонченных чувствований, самых сложных сочетаний душевных движений». Недаром Писарев писал, что мнение об однообразии и бесцветности народной жизни опровергается именно песнями Кольцова: «Народ ближе нас стоит к природе и смотрит на окружающий его мир яснее, чем мы. Но потому-то нам и трудно наблюдать и анализировать внутреннюю сторону народной жизни. Мы обыкновенно подступаем к ней с предвзятыми идеями и даем свой собственный, произвольный смысл действительным явлениям. Кто, например, понял и верно выразил отношение крестьянина к любимой им женщине?»

Кольцов наблюдает и анализирует «внутреннюю сторо-

ну народной жизни». Его «эпический» «добрый молодец», его «эпическая» «красна девица», оставаясь эпическими, чувствуют индивидуально. Кольцов установил связь отдаленных веков и отдельных состояний. И та же «Песня пахаря» не столько даже песня, сколько песнь: эпос, не потерявший эпического содержания, но ставший лирикой. Недаром именно в русском эпосе располагается предтеча кольцовского пахаря.

А орет в поле ратай, понукивает,
А у ратая-то сошка поскрипывает,
Да по камешкам омешики прочиркивают...

Это ратай, Микула Селянинович, у Кольцова заговоривший:

Ну, тащися, сивка,
Пашней, десятиной!
Выбелим железо
О сырую землю.

Без Микулы Селяниновича не было бы никакого кольцовского пахаря. Без кольцовского пахаря мы никогда бы не ощутили Микулу Селяниновича, да и всего нашего народного эпоса, столь кровно, задушевно и лично: рушится связь времен. И здесь, в самой обращенности в прошлое, Кольцов не закладывает ли основы и искусства будущего?

Всеобщность проникает у Кольцова в любое частное определение. Такую всеобщность народной формулы, например, не теряя частного значения, немедленно приобретает эпитет «сырая». Его, пахаря, «пашня, десятина» в то же время и вся «мать сыра земля», поящая и кормящая. Конечно, здесь есть и точное указание на «технологию» крестьянского труда: пахота идет, пока земля еще не пересохла, пока она «сырая». Но никакой другой, пусть в этом локальном значении более точный, эпитет здесь невозможен — ни «мокрая», ни «влажная»... — только «сырая». Потому что только он, приложенный народным сознанием к матери-земле, несет ощущение живого организма. Недаром чуть позднее здесь же, в «Песне пахаря», у Кольцова появится сама формула уже в этом своем всеобщем значении:

Его вспоит, вскормит
Мать-земля сырая;
Выйдет в поле травка —
Ну! Тащися, сивка!

И кольцовский герой враз представляет весь трудовой процесс в целом. Что такое сама эта картина труда в «Песне пахаря»? Вроде бы пахота? Но ведь и сев? И молотьба? Все сразу. Потому что пахарь есть и сеятель, и сборщик урожая.

Весело я лажу
Борону и соху,
Телегу готовлю,
Зерна насыпаю.
Весело гляжу я
На гумно, на скирды,
Молочу и вею...
Ну! Тащися, сивка!

Пахарь пашет, но знает, как будет сеять. И знает не отвлеченным умом, как будет собирать посеянное, жать и молотить. Он идет по пашне, но видит гумно и скирды. Он трудится на пахоте, а думает об отдыхе. И не в конце пройденной борозды, а в конце всех работ:

Заблестит наш серп здесь,
Зазвенят здесь косы;
Сладок будет отдых
На снопах тяжелых!

«Тяжелый сноп», — скажет человек, который знает тяжесть снопа, но это и сладкая тяжесть — от снопа налитого, им выращенного.

Все это решительно отделяет «Песню пахаря» Кольцова от такой, например, поэмы, как «Четыре времени года русского поселянина» самоучки из крестьян поэта Ф. Слепушкина, где как раз нет этого единого всеохватного ощущения природы, органичного, стихийного, крестьянского, а есть последовательное описание, литературное изложение на тему «времена года». И восходят они к разным источникам. Кольцовская песня к былине о Микуле Селяниновиче — источнику народно-поэтическому, поэма Слепушкина — к поэме Томсона «Четыре времени года», источнику и в свою-то очередь чисто литературному.

То, что у Слепушкина, по сути, было дворянской идилличностью, у Кольцова стало крестьянской идеальностью. Ибо в сути своей, в своей идее этот земледельческий, крестьянский труд есть труд особый по характеру его отношений с природой и по его целостности. В «Песне пахаря» не просто поэзия труда вообще, да и вряд ли такая возможна, ибо поэзия абстрактного труда

неизбежно должна приобрести абстрактный характер, то есть перестать быть поэзией. Это поэзия труда одухотворенного, органичного, носящего всеобщий, но не отвлеченный характер, включенного в природу, чуть ли не в космос, ощущающего себя в нем и его в себе.

В статье «Народные песни старой Франции», разбирая «Песни пахаря», Анатоль Франс писал: «Песни пахаря — песни труда... На берегах Луары Эмиль Сувестр часто слышал, как пахари «раззаривали» своих волов песней, которую те, казалось, понимали.

Вот какой у нее припев:

Эй,
Ты, рыжая,
Ты, мой черняк,
Живей, живей, а дома в стойле
Будет вам сено, будет пойло.

...Спору нет, жизнь землепашца сурова. Жалобы провансальского пахаря, погоняющего своих волов, неизбежно трогают нас, так же как жалобы его беррийского сотоварища. И все же для нас очевидно, что к этим жалобам примешиваются радость, удовлетворение и гордость...

Слишком уж мрачными красками рисовали нам быт наших сельских предков. Они много трудились и порою претерпевали большие бедствия — но они отнюдь не жили по-скотски. Не будем так уж усердно чернить прошлое нашей родины».

И провансальская песня, и сиракузская буколика, и русская песня — все эти песни пахаря близки друг другу, так как имеют один общий родовой корень — труд на земле. «Весело на пашне... Весело я лажу... Весело гляжу я...» Труд этот органично связан с природой; потому-то и природа одухотворенная, ощущается тоже как организм. Недаром образы Кольцова здесь поражают подлинно античной простотой, почти детской непосредственностью. Уже в начале двадцатого века Бунин рассказывал о том, как Чехов восторгался гимназическим определением: «Море было большое». Эпитет восхитил утонченных литераторов своей абсолютной безыскусностью и непосредственностью. У Кольцова такой «детский» эпитет совершенно естествен:

Красавица зорька
В небе загорелась,
Из большого леса
Солнышко выходит.

Картина природы у Кольцова именно в силу своей органичности и одухотворенности обычно остается в рамках, заданных народно-поэтической традицией образов. К тому же крайне немногочисленных, и роднит их то, что они всегда — про всю землю, про весь белый свет. Картина утра у него всегда ограничена привычным на первый взгляд оборотом: загорелась заря. Дополнительно, сейчас, оживает он лишь за счет конкретного применения. И в «Песне пахаря» и в «Урожае» образ, по сути, один. Но в «Песне пахаря» есть мягкий лиризм и интимность:

Красавица зорька
В небе загорелась.

В «Урожае» тот же образ обернулся грандиозной картиной, рождая ощущение ослепительной вспышки, пожара вселенского.

Красным полымем
Заря вспыхнула.

Через несколько лет другой воронежский поэт — Никитин в прекрасных стихах по-своему повторит эту картину:

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кустам лозняка
От зари алый свет разливается.

Но здесь уже нет простоты и мощи Кольцова. Сколь многими словами «замаскированы» главные образы, народные по сути, кольцовские: заря и туман. Дело в том, что у Никитина уже нет, как у Кольцова, праздничного слияния с природой, своеобразного пантеизма. Она не объект непосредственного стихийного восприятия. Она скорее предмет стороннего вглядывания. Общая картина мира у него уже в известной мере вытеснена тем, что можно назвать пейзажем. Стихотворение тоже про пахаря, но названо «Утро».

У Кольцова нет «пейзажей». У него сразу вся земля, весь мир. Потому же не уточненный, не конкретизированный «туман» не становится «белым паром» или чем-то в этом роде, не терпит замен, и «стелется» он не по полям, по лугам, а «по лицу земли», так как у Кольцова предстает не *этот* ландшафт, тем более не просто сельский вид, а глобальная жизнь всего колоссального земного организма:

Красным полымем
Заря вспыхнула;
По лицу земли
Туман стелется;

Разгорелся день
Огнем солнечным,
Подобрал туман
Выше темя гор;

Нагустил его
В тучу темную,
Туча черная
Понахмурилась,

Понахмурилась,
Что задумалась,
Словно вспомнила
Свою родину...

Понесут ее
Ветры буйные
Во все стороны
Света белого...

Здесь одним взглядом охвачено все сразу: поля и горы, солнце и тучи, гроза и радуга, «все стороны света белого» — зрелище космическое.

Все живет в этом целостном, не раздельно, не порознь ощущенном мире. Картина эта одухотворена, очеловечена. Но предвзятых сравнений с миром человека нет. Этот мир живет сам по себе, не только одушевленно, но и задушевно: «Туча черная Понахмурилась... Что задумалась, Словно вспомнила Свою родину». И мы верим такому восприятию, потому что оно не авторское только, но закреплено в формах, выработанных вековечным народным сознанием людей, ощущавших родство с этим миром, чувствовавших себя частью этого космоса. Их «думы заветные» пробуждаются «заодно с весной», вместе с природой. Потому же, хотя стихотворение названо «Урожай», речь в нем совсем не только об урожае, а обо всем земледельческом цикле, как в «Песне пахаря», включенном в природный цикл, ибо работа людей прямо совпадает с «работой» природы, включается в нее и является ее частью. Обращение к сивке «Я сам-друг с тобою, Слуга и хозяин» — это и очень точное выражение двуединых отношений с природой вообще: слуги и хозяина. В одной из песен Кольцова будет сказано — «коня-пахаря». Два пахаря, два соратника, два родных существа: человек-пахарь и конь-пахарь.

В «Урожае» мы опять видим сев, жатву и, наконец, увенчание — урожай. И опять труд этот — труд праздничный: «от возов всю ночь скрыпит музыка». И «скрып» этот не сравнивается с музыкой, что было бы здесь искусственностью. Он-то и есть сама музыка для человека этого мира и такого труда. Как и в «Песне пахаря», заканчивает стихотворение благодарственный молебен. Дело, однако, здесь даже не в чистой, собственно церковной и, так сказать, ортодоксальной религиозности, взывающей к обязательному поклону в конце. Сама религиозность в песнях Кольцова, конечно, бесспорна и, так сказать, безвопросна, то есть сомнений не рождает. Но культовость эта, пожалуй, все время стремится перейти в другой ряд. Она скорее природна, чем внедрена в сознание церковно и извне. Недаром в стихах Кольцова можно найти чуть ли не отождествление божества с солнцем, возвращающее к народной мифологии:

С величества трона,
С престола чудес
Божий образ — солнце
К нам с неба глядит.

Глеб Успенский в свое время отметил любопытные трансформации и перевоплощения такого рода в крестьянском сознании: «Святые и чудотворцы также переведены на крестьянское положение: св. апостол Онисим переименован в Онисима-овчарника, Иов многострадальный — в Иова-горошника... Герасим-грачевник, Ирина-рассадница, «на Кузьму — сей свеклу», Лукерья-комарница (13 мая), Леонтий-огуречник, Акулина-гречишница и т. д. и т. п.». Все это скорее крестьяне-труженики.

Знаменитое стихотворение Кольцова «Что ты спишь, мужичок...» вряд ли бы приобрело колоссальную популярность в крестьянской среде, если бы было лишь морализирующим указанием на пользу и значение труда. Речь об ином. В основе его то же начало, что и в других песнях-стихах Кольцова. Недаром и начато оно словами о природе, о весне:

Что ты спишь, мужичок?
Ведь весна на дворе.

В «Урожае» люди «заодно с весной». Здесь же — удивительное дело — весна! — а «мужичок»-крестьянин спит. Потому эта песня и производила такое впечатление, что она рассказывала о по-своему страшной вещи — о выпаде-

нии из естества, то есть из жизни. Недаром, разбирая крестьянскую речь, Анатоль Франс однажды заметил, что только в крестьянском языке возможно сравнение безрассудного, то есть сумасшедшего, человека с землепашцем, отклоняющимся от борозды.

И снова в стихотворении Кольцова восстановлено это естество: обозначен весь природный цикл: весна, лето, осень, зима. И весь цикл трудового в нем существования. В песне противопоставлены два состояния:

Что ты был и что стал?
И что есть у тебя?

Но это противопоставление отнюдь не означает противопоставления нужды и достатка. Как ни странно это может показаться, но Кольцов редко опускается в быт: крестьянский, повседневный, так сказать, бытовой быт у Кольцова обычно отсутствует. В этом же стихотворении появляется бытовая картина бедности и запустения:

И под лавкой сундук
Опрокинут лежит;
И, погнувшись, изба
Как старушка стоит.

А противостоит этому отнюдь не картина иного быта, пусть даже зажиточного, богатого:

Вспомни время свое:
Как катилось оно
По полям и лугам
Золотою рекой!

Со двора и гумна
По дорожке большой,
По садам, городам,
По торговым людям!

Работа обернулась здесь как духовность, разгул, погруженность в жизнь в ее широчайшем разливе, ибо это есть прежде всего погруженность в мир природы. А сам быт в конце стихотворения в унисон с природой и именно потому же приподнят и праздничен:

Вслед за нею зима
В теплой шубе идет,
Путь снежком порошит,
Под санями хрустит.

Все соседи на них
Хлеб везут, продают,
Собирают казну,
Бражку ковшиком пьют.

Великий народный поэт Кольцов не был лишь крестьянским поэтом в узком смысле слова. И все же в основе русского народного мира лежал мир крестьянский, сельский, и он давал основные поэтические импульсы. А для того, чтобы выяснить основные принципы этого мира, его «идею», Кольцову нужно было идти сквозь быт, для того, чтобы выяснить основные общественные социальные начала, приходилось как бы игнорировать их в их непосредственном современном выражении.

Вся суть кольцовского творчества определена тем, что он писал о свободном человеке. *«Никто,* — отметил Успенский, — не исключая и самого Пушкина, не трогал *таких* поэтических струн народной души, народного миросозерцания... Спрашиваем, что могло бы вдохновить хотя бы и Пушкина при виде пашущего пашню мужика, его клячи и сохи? Пушкин, как человек иного круга, мог бы только скорбеть, как это и было, об этом труженике, «влачащемся по браздам», об ярме, которое он несет, и т. д.».

Успенскому, однако, стоило бы чуть продолжить цитату из Пушкина: «Влачится по браздам неумолимого владельца», и тогда ему пришлось бы добавить, что, по сути, Пушкин и Кольцов пишут о разных мужиках. Пушкин — о крепостном, Кольцов — о свободном. И для того, чтобы тронуть такие струны, какие Кольцов тронул, именно о свободном он мог и должен был написать. И свободном даже не только от крепостного права, не в юридическом лишь смысле, а вообще свободном — от помещика, от чиновника, от города... Кольцов своеобразно выступил против крепостного права: он его *игнорировал.* Но ведь в известной мере так «игнорировал» его и народ, проданный, но не продавшийся, «клейменый, да не раб», по слову Некрасова.

Именно в качестве певца свободного человека Кольцов был скорее поэтом прошлого (как часто и воспринимали его даже в XIX веке) или будущего (как написал о нем тогда же Валерьян Майков), но не буквального настоящего. «Поэт и художник, — говорил Герцен, — в истинных своих произведениях всегда народен. Что бы он ни делал, какую бы он ни имел цель и мысль в своем творчестве, он выражает, волею или неволею, какие-нибудь стихии народного характера, и выражает их глубже и яснее, чем сама история народа... Поэты в самом деле, по римскому выражению, — «пророки»; только они высказывают не то, чего нет и что будет случайно, а то, *что из-*

вестно, что есть в тусклом сознании масс, что еще дремлет в нём».

Кольцов не идеализировал народный мир в смысле приукрашивания, то есть искажения реального положения, а вскрывал его идеальную суть. Как сказал Белинский, «поэзию этого быта нашел он в самом этом быте, а не в риторике, не в пиитике, не в мечте, даже не в фантазии своей, которая давала ему только образы для выражения уже данного ему действительностью содержания». Потому у Кольцова и само зло обычно рождено в этом же мире. В собственно человеческих отношениях его несет только один из песни в песню переходящий образ — староста. Он средоточие и как бы символ всех отрицательных начал. Это зло сразу и богатства, и административности, и даже почти всегда возраста (старости). Староста — отец соперника в «Деревенской беде», староста — «старый хрен» — не отдал дочку за героя («Косарь»).

А реальное положение дел в реальном селе, как можно судить по письмам, Кольцов видел и знал совершенно отчетливо, тем более отчетливо, что он часто ставил в прямую связь с этим положением и свое творчество.

Поэт так объясняет Белинскому, почему он мало пишет: «...почему мало? — трудно отвечать и ответ смешной: не потому, что некогда, что дела мои дурны, что я был все расстроен, но *вся причина* (курсив мой. — *Н. С.)* — это суша, это безвременье нашего края, настоящий и будущий голод. Все это как-то ужасно имело нынешнее лето на меня большое влияние. Или потому, что мой быт и выгоды тесно связаны с внешней природою нашего народа. Куда ни глянешь — везде унылые лица: поля, горелые степи наводят на душу уныние и печаль, и душа не в состоянии ничего ни мыслить, ни думать».

Речь идет о большем, чем просто «быт и выгода» прасола Кольцова, связанные с «внешнею природою нашего народа», а по сути, о том, что «быт и выгода» поэта Кольцова связаны с внутренней «природой народа» («не в состоянии ничего ни мыслить, ни думать»). Ибо современное положение дел разрушительно действует и на самую духовную почву народной жизни. «Например: и теперь поют русские песни те же люди, что пели прежде, те же песни, так же поют; напев один, а какая в них, не говоря уж грусть — они все грустны, — а какая-то болезнь, слабость духа, бездушье. А та разгульная энергия, сила, могучесть будто в них никогда не бывали. Я думаю, в той же душе, на том же инструменте, на котором народ выражался ши-

роко и сильно, при других обстоятельствах может выражаться слабо и бездушно. Особенно в песне это заметно; в ней, кроме ее собственной души, есть еще душа народа в его настоящем моменте жизни».

А Кольцов собирал народные песни — сейчас они, то есть Кольцовым собранные, уже более или менее учтены, систематизированы, оценены. Но таким собиранием занимался не фиксатор только, а поэт, ищущий и в песнях идеальных определений. «С этими людьми, ребятами, сначала надобно сидеть, балясничать, ...потом начать самому им пропеть песни две... А иначе ничего не сделать, хоть брось. Только и я за них принялся крепко, что хочешь делай, а песни пой: нам надобны!»

Посылая Краевскому одну из таких песен, Кольцов комментирует: «Посмотрите, если она хороша, поместите где-нибудь, а нет — в огонь! Перегорит да выгорит, так лет через сто будет славная песня». Песни самого Кольцова — «славные» песни, потому что они уже как бы «перегорели» и «выгорели», потому что они представили душу народа не столько в его «настоящем моменте жизни», сколько во времени, исчисляемом столетиями, в большой истории.

Есть у Кольцова — всего две — песни и собственно исторические. Одна из них даже и названа «Старая песня»: обе они про Ивана Грозного и близки тому двуединому восприятию грозного царя, которое жило в народном сознании. В одной это «царь-ханжа», летящий «как вихрь» из Александровской слободы «Москву-матушку пилатить». В другой это царь «как солнышко», стоящий на башне с русским знаменем во время взятия Казани. Написаны песни в одно время — в 1841 году.

Вообще же говоря, все песни Кольцова, по сути, песни исторические. Герои Кольцова ощущают себя не только в природе, но и в истории. Правда, не столько в современной, сколько в вековой, в глубинной, идущей от предков. «Песня пахаря» обретает подлинное значение, лишь будучи возведенной к праистории, к былине о Микуле Селяниновиче. Недаром и в «Крестьянской пирушке» говорят «про старинушку».

Песня эта традиционно и всеми квалифицируется как бытовая. Определенную поддержку, впрочем, песня находила и в быте того сословия, с которым Кольцов был тесно связан, — мещанского, купеческого. Именно в этой среде, свидетельствовал уже в 80-х годах воронежский

этнограф А. И. Селиванов, «нашли себе приют прадедовские обычаи и обряды и долго спустя (после Петра I. — *Н. С.)* или, лучше сказать, до сих пор существуют в нем». Сами праздничные застолья носили особый характер. «Каждая из вечеринок там оканчивалась на рассвете следующего дня; не столько разгул, веселье были причиною их продолжительности, сколько церемонии, к исполнению которых служил поводом каждый случай. Так, например, когда наступало время ужина, гости на просьбы хозяина «откушать хлеба-соли» благодарили его, но до разбора, по существовавшему в то время местничеству, не решались оставлять мест своих. Разбор гостей всегда требовал немало времени, и хозяевам предстояло много труда в том, чтобы удовлетворить самолюбие каждого гостя и не оскорбить его местом. Ужин состоял из 20-ти и более кушаний. После каждого кушанья прислуга разносила гостям разлитые в чарки мед и вино, гость брал чарку не иначе как после трехкратной просьбы со стороны хозяина или хозяйки».

Но песня Кольцова названа недаром «Крестьянская пирушка», а не, скажем, купеческая. На самом деле «Крестьянская пирушка» менее всего картина реального современного Кольцову быта, хотя в то же время в ней нет ничего такого, что бы этому быту могло прямо противоречить. Каждая отдельно взятая примета возможна и реальна, но, объединенные вместе, они превращают изображение крестьянского застолья в картину торжественного действа. Недаром в XIX веке один критик, почти современник Кольцова, рисует нам, как пили и ели наши предки.

Все это решительно отделяет картину Кольцова от описаний крестьянского праздника у Слепушкина. Это тем более бросается в глаза, что у Кольцова даже повторяются некоторые детали из слепушкинской поэмы:

Гостей старинушка ведет,
За стол дубовый их сажает,
К столу зятей в красу семье,
Друзей по лавкам, на скамье,
И всех честит их, угощает,
И сын приветлив молодой,
Их просит пивом жатвы новой;
Обносит корец кленовой
По всей беседе круговой.
Вот старики заговорили:
Кто сколько хлеба с поля снял?
И много ль сена накосили?

Здесь царит только, хотя и идеализированный, быт. И потому он мог оказаться представленным в собственно литературных, конечно, не слишком умелых и выразительных стихах, никак с народно-поэтической традицией не связанных.

Весь обряд, изложенный в первых двух частях стихотворения Кольцова, возможен и в боярском тереме, и чуть ли не в царской палате, и в крестьянской горнице, впрочем, скорее в былинно-сказочной. Лишь третья часть переводит весь рассказ в собственно деревенский, крестьянский и трудовой план: хлеба, покос. Поэт тщательно выстраивает обряд встречи гостей, в реальной жизни, видимо, уже утраченный, ритуал угощения, в реальном быту явно уже упрощенный, даже если он еще как-то соблюдался. Для Кольцова важен сам чинный строй жизни в ее крепости и традиции.

Бахромой, кисеей
Принаряжена,
Молодая жена,
Чернобровая,

Обходила подруг
С поцелуями,
Разносила гостям
Чашу *горького;*

Сам хозяин за ней
Брагой хмельною
Из ковшей вырезных
Рóдных потчует;

А хозяйская дочь
Медом сыченым
Обносила кругом,
С лаской девичьей.

Поэт очень точен и в оформлении своего произведения. Здесь все четко и выверено, нет ничего похожего на всплеск эмоций, на лирический беспорядок и отступление от веками освященного. Он сам как бы блюдет строгий ритуальный чин изложения. Двустишию вступления:

Ворота тесовы
Растворилися

точно соответствует замыкающее двустишие — завершение:

От ворот поворот
Виден по снегу.

За их исключением каждая из частей имеет точно по 16 строк. Самих этих частей три: встреча гостей, начало угощения, сам пир. Троекратность во всех случаях подчеркнута: так, трехчастность построения перекликается с трехразовым ритуальным угощением — чашей горького, брагой хмельною, медом сыченым.

В свое время еще Державин написал стихотворение «Крестьянский праздник». В известном смысле этот «Крестьянский праздник» был даже реалистичнее, а точнее, натуралистичнее кольцовской «Крестьянской пирушки» и самим Державиным воспринимался как поэтическая дерзость.

Пусть, Муза! нас хоть осуждают,
Но ты днесь в ковбас пробренчи
И, всшед на холм высокий, званский,
Прогаркни праздник сей крестьянский,
Который господа дают.

Ясно, что мы имеем дело с разным творческим заданием поэтов разного времени (впрочем, эти два стихотворения разделены промежутком всего в двадцать с небольшим лет). Но речь не о том, «Крестьянский праздник» у Державина увиден барским оком, соотнесен с другим, господским миром. У Кольцова он является замкнутым и потому-то внутри себя преисполненным красоты и достоинства.

Герои Кольцова укоренены в труде, в природе, в истории, в традиции. Вот чем определена их сила и мощь. Это тоже укоризна современности, упрек, подобный тому, что бросил другой великий поэт того времени, Лермонтов: «Богатыри — не вы!»

Герой Кольцова знает свою родословную:

У меня ль плечо —
Шире дедова;
Грудь высокая —
Моей матушки.

На лице моем
Кровь отцовская
В молоке зажгла
Зорю красную.
(«Косарь»)

Мать... отец... дед... Но, по сути, родословная того же косаря много шире непосредственного его рода, его собственной семьи. Да, его род — семья, но и весь мир крестьянский, народ. Потому герои Кольцова лишены

имен (стихотворение «Женитьба Павла» в этом смысле, кажется, единственное) — не «Петр» или «Иван», а «пахарь» или «удалец», иной раз «добрый молодец». Здесь просто «косарь». Потому герои эти (как и героини) сплошь нарисованы, как рисует своих героев народ, теми же навечными красками. Но традиционный образ у Кольцова обычно предстает обновленным, ему дается частное применение, отчего и общий тип характера, не теряя всеобщности, всенародности существования, конкретизируется, получает индивидуальное выражение. Привычный народный оборот «кровь с молоком» стал образом. Ему возвращается былая неповторимая живописность:

На лице моем
Кровь отцовская
В молоке зажгла
Зорю красную.

Кольцов берет народную формулу в чистом виде, разлагает ее и, оставаясь в ее же пределах, собирает заново, воскрешает, видоизменяя, часто и за счет контекста.

И в «Крестьянской пирушке» привычная формула-рифма «от ворот поворот», оставаясь формулой-рифмой, в контексте стихов обретает конкретность, становится в общей контрастной, черно-белой картине удивительно живописной: с Кольцовым мы впервые увидели этот «от ворот поворот»:

От ворот поворот
Виден по снегу.

Во «Второй песне Лихача Кудрявича» также оживлена пословица «Век прожить — не поле перейти»: «Век прожить — не поле пройти за сохою». «Во дворе по траве хоть шаром покати» — возвратит Кольцов предметность пословице — «шаром покати». И одновременно, украсив ее рифмой, эту пословичность укрепит. «Обороты и эпитеты, — писал знаменитый русский филолог Александр Николаевич Веселовский, — полиняли, как линяет слово, образность которого утрачивается с отвлеченным пониманием его объективного содержания». Кольцов и обновляет эти «полинявшие» образы и эпитеты, оживляет их.

Под стать кольцовскому косарю и его любимая. И тем-то, что «под стать», она хороша и значима. И она определена вроде традиционно: «лицо белое», «заря алая». Но опять-таки дело в частном применении общего образа. *Он* и *она* определены одной формулой. Но в одном слу-

чае — «зоря», в другом «заря». Художник кистью чуть тронул. И единый образ (традиционнейшая, древнейшая формула) расщепился, зажил разной жизнью. «Зажгла зорю красную»: зоря — здесь от зорьки загорающейся. «Лицо белое — заря красная»: заря — здесь от зари пылающей. И то же, да не то. Мы видели, как разнилась зорька в «Песне пахаря» и заря в «Урожае». Заря эта живет во многих стихотворениях. Чуть ли не через десятки стихов пройдет другой постоянный образ — тучи. Образы Кольцова немногочисленны, по сути, повторяемы, играют роль постоянных формул, подобных таким формулам в народной поэзии или прямо оттуда взяты, но живут они жизнью конкретной, многосторонней, каждый раз рождаясь заново. Вообще у Кольцова особые отношения с языком. Белинский неоднократно отмечал почти малограмотность Кольцова: «При всех его удивительных способностях, при всем его глубоком уме, подобно всем самоучкам, образовавшимся урывками, почти тайком от родительской власти, Кольцов всегда чувствовал, что его интеллектуальному существованию недостает твердой почвы, и что, вследствие этого, ему часто достается с трудом то, что легко усваивается людьми очень недалекими, но воспользовавшимися благодеяниями первоначального обучения... Это всего яснее видно из того, что он не имел почти никакого понятия о грамматике и писал вовсе без орфографии». Конечно, образования Кольцов не имел, но малограмотность его носила характер особый.

Вообще очень большой писатель воспринимает язык и соответственно говорит и пишет очень своеобразно.

Любопытен упрек в малограмотности, который когда-то обратил критик Александр Васильевич Дружинин к молодому еще тогда писателю Льву Николаевичу Толстому: «Вы сильно безграмотны, иногда безграмотностью нововводителя и сильного поэта, переделывающего язык на свой лад и навсегда, — иногда же безграмотностью офицера, пишущего к товарищу и сидящего в каком-нибудь блиндаже».

Кольцов часто безграмотен «безграмотностью» нововводителя и сильного поэта, переделывающего язык на свой лад. Отсюда, в частности, и удивительно свободное обращение к пословицам, и, главное, свободное обращение с самими этими пословицами, присловьями и поговорками. Они живут в Кольцове-поэте, потому что живут и в Кольцове-человеке: они не замерли, не застыли в неподвижности, способны к постоянному самообновлению. Малогра-

мотный Кольцов обращается со словом так же, как малограмотный народ. Это слово, еще не скованное грамматикой, еще не впряженное в нее, еще играющее на свободе.

И Кольцов, например, даже в частном письме, спрашивая Краевского о Неверове, скажет не привычной, пусть и народной, формулой «ни слуху ни духу», а опираясь на нее, но ее же и преобразовав: «А об Януарии Михайловиче и слух совсем застыл».

Сама степь, в которую уходит косарь и которую он косит, — без конца и без края: не какие-то там десятины или гектары. Даже в народной песне, с которой связана кольцовская песня, есть ограничения и прикрепления:

Уж ты степь ли моя, степь Моздокская.

У Кольцова своя география, его степь чуть ли не вся земля:

Ах ты степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Черному
Понадвинулась!

Но этот масштаб есть и определение человека, пришедшего к ней «в гости», идущего по ней, по такой, «вдоль и поперек». Почти как сказочный богатырь: «Зажужжи, коса, как пчелиный рой»; почти как Зевс-громовержец (или Илья-пророк): «Молоньёй коса, засверкай кругом».

Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!
Освежи, взволнуй
Степь просторную!
Зажужжи, коса,
Как пчелиный рой!
Молоньёй, коса,
Засверкай кругом!
Зашуми, трава!
Подкошо́нная;
Поклонись, цветы,
Головой земле!

Действительно, «слуга и хозяин» природы, слушающий ее и в ней повелевающий. Такой труд — радость, своеобразное «упоение в бою». Все это чудное богатырство возникает именно в момент работы.

При этом слово Кольцова не просто говорит о природной силе, о мощи и размахе, но эту силу, этот разворот несет в самом себе. Само слово распирает внутренняя энергия, найденная поэтом в языке... «Русский язык, — писал Белинский в рецензии 1845 года на одну грамматическую книжку, — необыкновенно богат для выражения явлений природы... В самом деле, какое богатство для изображения явлений естественной действительности заключается только в глаголах русских. <...> На каком другом языке передали бы вы поэтическую прелесть этих выражений покойного Кольцова о степи: *расстилается, пораскинулась, понадвинулась*?..» Кольцов достигает крайнего напряжения в выражении действия, предельной полноты порыва за счет таких приставок, развертывающих, раскручивающих глагол (эту и саму-то по себе динамичную форму), служащих в русском языке, как отметил еще Ломоносов, «к приданию особливого знаменования и силы глаголам...». И это «особливое знаменование и силу» Кольцов еще и увеличивает, наращивает за счет удвоений — дополнительно слово нагружает. Но и такие перегрузки оно выдерживает, демонстрируя необычайную мощь: *пораскинулась, понадвинулась*. В «Косаре» трудится не только косарь — мощно и вдохновенно работает сам язык.

По окончании труда все умерено, всему возвращены реальные бытовые рамки:

Нагребу копен,
Намечу стогов.
Даст казачка мне
Денег пригоршни.

Бытовые, но не обытовленные. И потому оплата все же предстает как «денег пригоршни», как «казна» и даже как «золотая казна». Вообще деньги у Кольцова, как в былине, как в народной песне, никогда не реальные крестьянские деньги, а всегда представлены сказочно и богато — казна. Нет у молодца «золотой казны» — сокрушается герой в стихотворении, которое называется «Раздумье селянина». А в «Деревенской беде» говорится о «казне несметной».

Есть в стихах Кольцова и беды и бедность. Но они носят обычно характер очень обобщенный. Реальные черты современного быта, могущие быть социально истолкованными, едва проступают. «Силу крепкую... Нужда горькая. По чужим людям Всю истратила», — сокрушает-

ся тот же «селянин» (наверное, батрак). Но и этот социальный «батрацкий» элемент не выделен в ряду других бед, общей бесталанности и неудачливости: ни жены нет, ни друга, ни золотой казны — все одно к одному.

Таким образом, социальные мотивы у Кольцова проступают, но обычно они не специально подчеркнуты, не выделены. Бедность может сопровождать старость, но необязательна, как в «Песне старика», например, или в «Совете старца», где старость есть беда уже сама по себе. Бедность может сопровождать несчастье в любви или даже быть причиной такого несчастья, как в «Деревенской беде», но необязательна, как в «Последнем поцелуе», например.

С этим связан и характер недовольства, неудовлетворенности и протеста. Он может показаться неопределенным, но это потому, что он и очень глубок, и очень широк. В октябре 1838 года Кольцов написал стихи «Стенька Разин», с образом Волги, — опять-таки очень обобщенным. Вообще географические или скорее, так сказать, топографические пристрастия Кольцова часто склонны объяснять узкобиографически: степь-де писал Кольцов — сам степняк. Кольцов действительно писал степь, которую видел и знал. Но он писал и Волгу, которую не видел. Но тоже знал. Ведь и сама степь у Кольцова не только степь, но и символ свободы, шири необъятной. Это скорее идеальная степь русских былин и исторических песен, а не реальная степь, курская или воронежская. И о Стеньке Разине он писал не как о конкретном историческом волжском атамане. Потому же, очевидно, Кольцов усомнился и в названии. «Годится ли название?» — сразу спрашивает он Белинского. «Не знаю, отчего вам не нравится «Стенька Разин», — пишет Кольцов тому же Белинскому уже в сентябре 1839 года, — разве по названию; название можно переменить, а пьеса, кажется, хорошая». Кольцов не держится за название: имя Стенька Разин как символ вольности возникло не случайно, но оно не совершенно обязательно, ибо все стихотворение — это очень свободная поэтическая импровизация о рвущейся на волю любви. Потому возникала и возможность очень свободных переадресовок песен этого плана у Кольцова, обычно тонко ощущавшего природу человека, которому он посвящал то или иное стихотворение. «Стенька Разин» посвящен памяти А. П. Серебрянского, «Дума Сокола» — В. П. Боткину. Понятие воли в этих стихах многозначно.

Вообще Кольцов почти никогда не говорит в своих стихах — свобода, но всегда по-народному — воля. Одно из стихотворений так и называется — «Тоска по воле»:

Загрустила, запечалилась
Моя буйная головушка;
Ясны очи соколиные
Не хотят смотреть на белый свет.

Тяжело жить дома с бедностью;
Даром хлеб сбирать под окнами;
Тяжелей того в чужих людях
Быть в неволе, в одиночестве.

Ведь и сама неволя — тоже понятие бесконечно широкое: неволя бедности, неволя нищеты, неволя батрачества, неволя одинокой жизни, неволя неблагополучия... Характер самого героя — характер могучий, его запросы безмерны, совсем не о хлебе едином речь только:

Дни проходят здесь без солнышка;
Ночи темные — без месяца;
Бури страшные, громовые,
Удалой души не радуют.

Ведь это почти вызов мирозданию. Тоска по воле в таких кольцовских песнях сродни тоске лермонтовских стихов. Недаром в перекличку с ними возникает у Кольцова своеобразный народный демонизм:

Гой ты, сила пододонная!
От тебя я службу требую —
Дай мне волю, волю прежнюю,
А душой тебе я кланяюсь...

Так воля обретает и еще один смысл — закала души. «В ней старое слово я поставил: «Гой», но оно хорошо, кажется, стоит; с ним «пододонная» — эдак говорится по-русски про ад», — прокомментировал эту последнюю строфу сам Кольцов.

Начала вольности, протеста, порыва обычно связаны у Кольцова с одним образом — образом сокола, что придает теме единство и силу. Это и в «Стеньке Разине»:

А по Волге, моей матушке,
По родимой, по кормилице,
Вместе с братьями за до́бычью
На край света летал соколом.

Это и в «Тоске по воле»:

И они, мои товарищи,
Соколья, орлы могучие,
Все в один круг собираются
Погулять ночь, пороскошничать.

И, как видим, сокол не простая аллегория, образ как бы живет в двух планах, прямом и переносном, в каждом из них развертывается. Эти планы друг в друга прорастают и сливаются в единстве, рождая образ человека-сокола.

А теперь как крылья быстрые
Судьба злая мне подрезала.

Образ перестает быть простым сравнением. Вообще каждый из таких немногочисленных в целом, постоянных образов Кольцова обычно в каком-то одном случае получает наиболее полное, концентрированное, законченное выражение. Туча — в стихотворении «Лес», сокол — в «Думе сокола». Сила «Думы сокола», да и всего этого образа у Кольцова — в безмерности порыва. Это и порыв лихого, разбойного разгула. Это и разрыв с устоявшейся жизнью.

В рассказе Тургенева «Смерть» недоучившийся студент Авенир Сорокоумов, прекрасный, благороднейший человек, лепечет умирающий: «Вот поэт» — и силится читать:

Аль у сокола
Крылья связаны,
Аль пути ему
Все заказаны?

Здесь это и стремление вырваться из самой бренной оболочки человеческой.

Но есть песни, собственно, одна, где такой протест, порыв приобрел и более или менее отчетливый социальный характер. Это «Деревенская беда»: о любви бедного парня к девушке, которую высватал для своего сына богатый староста, и о его мести. Но выхода в то, что можно было бы назвать социальной психологией, все-таки нет и здесь. Сравнение с никитинской песней особенно показательно. В песне Кольцова обычно господствует одно чувство.

Не то, например, в «Песне бобыля» Никитина. В 1854 году был написан Никитиным «Бобыль» с довольно традиционным, почти сказочно-былинным образом добра молодца:

В чистом поле идешь, —
Ветерок встречает,
Забегает вперед,
Стежки подметает.

Рожь стоит по бокам,
Отдает поклоны;
Ляжешь спать — под тобой
Постлан шелк зеленый;

Звезды смотрят в глаза;
Белый день настанет —
Умывает роса,
Солнышко румянит.

Жизнь бобыля счастлива и беззаботна, и лишь в конце вступает иной, грустный мотив:

Вот на старости лет
Кто-то меня вспомнит, —
Приглядит за больным,
Мертвого схоронит?

В «Бобыле» еще выражен тот же характер, что и в кольцовской песне, с ее прямотой, с простой последовательностью в смене чувств: сначала только хорошо, потом только плохо, сначала — счастье, потом — беда. В известном смысле такое представление уже противоречило сделанной в заголовке заявке — «Бобыль».

В 1858 году «Бобыль» существеннейшим образом перерабатывается. Появляется знаменитая «Песня бобыля».

В «Песне бобыля» человек социально и индивидуально опознан и осознан. У Никитина это уже не просто бесталанная голова, но бобыль-бедняк:

Богачу-дураку
И с казной не спится;
Бобыль гол как сокóл,
Поет-веселится.

Он идет да поет,
Ветер подпевает;
Сторонись, богачи!
Беднота гуляет!

Впрочем, главное заключается не только в мотиве бедности, который был в «Бобыле», да и у Кольцова встречался довольно часто («Доля бедняка»), а в сложности лирического характера «Песни» Никитина.

Характер у Кольцова в той же «Деревенской беде»

неопределеннее, хотя и шире. Приметы бедняцкого существования, точнее, одна примета — «избушка бедная», перекрываются здесь другими, рисующими этакого расписного добра молодца:

На селе своем жил молодец,
Ничего не знал, не ведовал,
Со друзьями гулял, бражничал,
По всему селу роскошничал.

И красна девица та же, что, например, в «Косаре», и описана теми же словами:

Да как гляну против зорюшки,
На ее глаза — бровь черную;
На ее лицо — грудь белую.
(Ср. в «Косаре»:
Лицо белое —
Заря алая,
Щеки полные,
Глаза темные.)

Это девица эпическая, былинно-песенная.

С другой стороны, и отец соперника, какой-нибудь сельский кулак, оборачивается чуть ли не сказочно богатым Черномором:

И его казна несметная
Повернула все по-своему.

Вся картина деревенской жизни, не изменяя себе, оказывается и картиной почти былинной. Так, природа не просто аккомпанирует, но как бы подчиняется чувствам героя, превращающегося почти в богатыря-миродержца:

Альни пот с лица посыпется;
Альни в грудь душа застукает;
Месяц в облака закроется,
Звезды мелкие попрячутся...

В песнях Кольцова свои меры. И протест, вызов в песне тоже предстает как взрыв, «безудерж», способность идти до конца, ни на что не глядя. Сожжение вражьего дома — это и самосожжение — в буквальном и переносном смысле слова:

С той поры я с горем-нуждою
По чужим углам скитаюся,
За дневной кусок работаю,
Кровным потом умываюся.

И названа-то ведь песня у Кольцова «Деревенская беда».

Еще в середине прошлого века вышла книжка «На улице и еще кое-где. Листки из записной книжки А. Милюкова», в которой рассказывалось об одном опыте. Теперь, наверное, его назвали бы социологическим экспериментом. Во время пасхальных праздников (речь идет о весне 1860 г.) два интеллигента заводят разговор с подвыпившим и задремавшим на улице мужиком. Они читают мужику известное кольцовское стихотворение «Что ты спишь, мужичок, уж весна на дворе». Несколько недоумевающий мужик пытается отвечать на эти стихи и их, так сказать, комментировать, то есть объяснять свое мужицкое положение. Последовало очередное обращение:

На гумне — ни снопа,
В закромах — ни зерна,
На дворе, по траве
Хоть шаром покати.

«Так-то так, батюшка, да тягости-то велики! — продолжал мужик, переступая с ноги на ногу, и, видимо, все более и более затрудняясь этими запросами. — Хлеб-от мы покупаем... Промыслов Господь не дал, так кое-как и перебиваемся». И далее крестьянин переводит разговор в план чисто социальных объяснений, толкуя о старосте, о кулаке и т. д.

У Кольцова же жизнь в ее светлых и темных сторонах взята всегда очень широко. В целом это эпическая картина, и судьбы людей подчиняются тем же законам, что и судьбы людей в эпосе. «Судьба царит в эпосе», — говорил Гегель. Такая судьба господствует в песнях Кольцова.

Но это именно песни, и, пожалуй, правильнее говорить не столько о судьбе, сколько о восприятии судьбы героем, о «лирическом» отношении к этой «эпической» теме и об осмыслении ее, о своеобразной философии. Более всего, может быть, выразили эту сторону дела знаменитые «Песни Лихача Кудрявича». Не случайно их две: первая получает подлинное значение, лишь будучи соотнесена со второй. И наоборот. Здесь целая жизненная философия. Думается, не случайно и возникла она в разгар оживленных философских споров, в, так сказать, философском контексте, когда в 1836 году на вечере у В. П. Боткина, по воспоминанию П. В. Анненкова, Кольцов, «удалившись в кабинет хозяина, сел за письменный его стол и возвратился через несколько минут к приятелям с бумажкою в

руках. «А я написал песенку, — сказал он робко и прочел «Песнь Лихача Кудрявича».

Только вместе они, эти песни, схватывают жизнь; две ее стороны, два положения в ней, может быть, два возраста. Песни эти эпичны по сути, ибо в них действительно царит судьба. В первой — счастливая. И счастье это полностью осмыслено в рамках народного мироощущения и народной поэтики. Даже у Кольцова немного песен столь афористичных; пословицы следуют одна за другой, одна в другую переходят, сплетаются и расходятся, перекликаются и поддерживают друг друга. Не успела отзвучать одна — уже рождается другая:

С радости-веселья
Хмелем кудри вьются;
Ни с какой заботы
Они не секутся.

Их не гребень чешет —
Золотая доля,
Завивает в кольцы
Молодецка удаль.

Не родись богатым,
А родись кудрявым:
По щучью веленью
Все тебе готово.

Герой весь, как в броне, в этих пословицах, афоризмах и присказках, мощных своей народной сутью, укрепленных в вековом времени и всеобщем опыте — и это отнюдь не застывшие заветы прошлого, не мертвые формулы. Сама их трансформация, возможность «игры» с ними свидетельствует и о том, что они для героя и в герое живут, в нем реализуются. Так же как, кстати сказать, реализуются они в самом Кольцове, уже не только в его песнях, но и в его письмах. Вот речь совершенно другой песни Лихача Кудрявича: «Давно я к вам не писал ни строчки: дурно, сам знаю и каюсь перед вами! Не то чтоб не хотел, — боже упаси! Но хлопоты, но дела, но неприятности — вот мои друзья, которые так прилежно за мною ухаживают и день и ночь, вот мои друзья, товарищи, сослуживцы! Бог знает, когда они от меня отстанут, с ними я хожу, лежу, и ем, и сплю. Досадно, мочи нет! А помочь горю нечем! Да, в настоящем мы горюем, в будущем ждем лучшего: приходит будущее — и хуже старого в семь седмериц. Вы думаете: какие дела? Пустые, гражданские? Нет, торговые, торговые дела дур-

ны, вот что! За что ни возьмись — валится все из рук, хоть плачь! Что купишь, думаешь: барыш! Ан нет: убыток да убыток. Сказать вам откровенно? Этот чертов убыток уж как нехорошо! Ждешь, ждешь, никак не проглотишь, так в горле комом и становится! Ледащий малый — этот убыток, черт с ним совсем! Старая песня — в сторону! Ей, черт с ней... Не живи как хочется, — живи, как бог велит! Нет, время, или, лучше сказать, время свободного имею я много, да так всегда мысли расстроены, что не лезет ничего в голову, а что и лезет, то черт знает что такое: ни медведь, ни человек, а так какой-то кавардак. Стоишь, думаешь, думаешь, да и сядешь на пень: ноги свесишь, голову повесишь, как дурак». Это — Краевскому по поводу плохих дел — невезения.

В песне Кольцова есть одно чувство и способность отдаваться ему до конца, ничего другого в это господствующее чувство не допускается. Лихач Кудрявич — в самом имени героя уже заключена некая общая, песенная, сказочная стихия. Очень точно выражает существо кольцовской песни само это деление: первая песня Лихача Кудрявича, вторая песня Лихача Кудрявича. Одновременность проявления разных противоречивых чувств, образующих сложное единство, для кольцовского героя здесь невозможна. Противоположные чувства выражены в разных песнях. В первой — только радость и разгул до конца. Стихия несет человека, и от него не нужно ничего иного, кроме как полностью отдаться во власть счастья, удачи, везенья. Зато во второй песне — только забота, только кручина. И опять герой лишь выражает общую стихию невезенья, подчиняется ей до конца. Есть стихия везенья, есть стихия невезенья — и с этим ничего не поделаешь.

Но человеку перед лицом судьбы отведена здесь отнюдь не пассивная роль. Главное — это умение быть счастливым в счастье, готовность стать, так сказать, активным в нем, способность отдаться радости до конца, зажмуря глаза, полностью, несмотря ни на что. Ведь речь идет о способности услышать жизнь, почувствовать и угадать судьбу.

Кольцов и его герои умеют ощущать жизнь в ее стихиях и особенно в стихиях музыкальных. Может быть, только Александр Блок на рубеже веков в такой мере будет слышать то, что сам он назовет духом музыки. Речь идет не об обычной музыкальности. Для Кольцова это уже явление вторичное; хотя Кольцов действительно был

музыкально на редкость одаренным человеком. Иные его вещи рождались из непосредственно музыкальных впечатлений, как, например, «Мир музыки» — после одного из музыкальных вечеров. «Раз, — вспоминает композитор и летописец русской музыкальной жизни прошлого века Юрий Карлович Арнольд, — пришел я к Белинскому, как всегда, около полудня и застал у него гостя. <...> Это был поэт Кольцов... «Вот, Арнольд (сказал Белинский), вот у кого берите стихи для написания музыки. Если поймете его да угодите под слова, я и впрямь вас почту за истого русака, но коли не потрафите, буду вас немцем звать, хотя бы вы там пожаловались на меня и целой сотне Бенкендорфов».

Я радостно согласился и просил назначить мне песню.

«Ну, Алексей Васильевич! Скажите, какую дадите вы ему песенку?» — обратился Белинский к Кольцову.

Поэт-прасол, по скромной и застенчивой своей натуре, сначала сконфузился: «Да почто же мне им еще назначать-то? Они лучше моего знают, что годится для музыки, сами выберут».

Наконец, однако ж, он сказал, что любимое его произведение есть стихи: «Не шуми ты, рожь, спелым колосом».

«В нее-то всю душу свою я вылил!» — прибавил он, и глаза у него невольно покрылись влагою.

Белинский прочел мне эти стихи; он знал, кажется, на память все сочинения Кольцова. Читать же Виссарион Григорьевич так превосходно их прочел, что, записывая наскоро стихи под его декламацию, я тут же и вдохновился основной идеею мелодии и пригласил обоих к себе через день, чтобы послушать мое произведение... Само собою разумеется, что я должен был пропеть мой романс. Кольцов, прослезившись, благодарил несколько раз, а Белинский, пожав мне крепко руку, сказал: «По кличке хотя вы и немец, а душа-то впрямь у вас русская! Рублем подарили. Спасибо вам за него и за меня!»

«Русские звуки поэзии Кольцова, — пророчил в своей статье Белинский, — должны породить много новых мотивов национальной русской музыки». И породили. Сотни романсов и песен, квартетов и хоров созданы на эти стихи композиторами, среди которых были М. Глинка и А. Даргомыжский, А. Рубинштейн и М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков и С. Рахманинов... Но такая музыкальность Кольцова, по сути, производное от способности слышать музыку общей жизни народа, жизни природы.

Недаром замечательный русский энциклопедист, писатель, философ и выдающийся музыкальный теоретик Вл. Ф. Одоевский, считавший Кольцова гением, писал, что «в народности элемент музыки и поэзии есть самый постоянный, в нем, как в чудодейной сокровищнице, хранятся неприкосновенные заветные тайны народного характера, едва обозначаемые в летописях».

Вообще все окружение Кольцова именно так, то есть в широком философском плане, теоретически осмысляло музыку. «Ее аккорды, — писал в статье «Мысли о музыке» Серебрянский, — перенесены в аккорды мира. Ее подслушал у натуры гений — человек. Он собрал тоны, рассеянные в беспредельном пространстве. Музыка — мятежная душа наша». Хорошо эти настроения ощущавший Белинский недаром поместил в издание стихотворений Кольцова 1846 года статью Серебрянского.

И кольцовский герой в песнях Лихача Кудрявича, землепашец, именно так чувствует музыку. Человек, глобально воспринимающий жизнь природы, чутко ощущает и общее дыхание жизни, различает ее стадии, не смешивает ее стихии, понимает ее иерархию.

И как вольно и широко выражены стихии счастья, удачи, их музыка:

Честь и слава кудрям!
Пусть их волос вьется!
С ними все на свете
Ловко удается!

Но есть и другие стихии. И надо уметь их тоже увидеть, понять, почуять. И за этим опять стоит народный опыт. Недаром «Вторая песня Лихача Кудрявича» восходит к рассказу о Горе-Злосчастии:

Полетел молодец ясным соколом, —
А Горе за ним белым кречетом;
Молодец полетел сизым голубем, —
А Горе за ним — серым ястребом;
Молодец пошел в поле серым волком,
А Горе за ним з борзыми выжлецы;
Молодец стал в поле ковыль-трава,
А Горе пришло — с косою вострою...
Молодец пошел пеш дорогою,
А Горе под руку под правую...

У Кольцова сохранено народное понимание горя как судьбы, как фатума, однако ощущение его предстает как собственно литературное: оно лишено конкретной сказоч-

ной образности, но в самой безо́бразности и неопределенности психологически насыщено:

Зла-беда — не буря —
Горами качает;
Ходит невидимкой,
Губит без разбору.

От ее напасти
Не уйти на лыжах:
В чистом поле на́йдет,
В темном лесе сыщет.

Чуешь только сердцем:
Придет, сядет рядом,
Об руку с тобою
Пойдет и поедет...

В отличие от первой во второй песне само бытие сужается до быта, весь свет — до деревни, весь мир — до мирской сходки. Круг стягивается. Град, пожар — это уже вторичное, производное от главного, от стихии, от судьбы.

К старикам на сходку
Выйти приневолят —
Старые лаптишки
Без онуч обуешь,

Кафтанишка рваный
На́ плечи натянешь,
Бороду вскосматишь,
Шапку нахлобучишь,

Тихомолком станешь
За чужие плечи...
Пусть не видят люди
Прожитого счастья.

Здесь уже ни «талан», ни счастье преходящее — ничто не помогает. Нужно иное — крепость души:

Не родись в сорочке,
Не родись таланлив —
Родись терпеливым
И на все готовым.

В отличие от молодца из легенды о Горе-Злосчастии Лихач Кудрявич не встает на «спасенный путь» — и не идет в «монастырь постригатися». Во второй песне — не другой человек, а тот же Лихач Кудрявич, тот же герой, умевший быть счастливым и умеющий быть несчастливым.

На способности чувствовать музыку жизни основано это гордое умение отдаваться ей до конца, не только себя в этом не теряя, но себя в этом утверждая и себя в этом находя.

Именно потому, что песни Кольцова выражают стихии национальной народной жизни и народного национального характера, это очень синтетичные песни, где эпос объединяется с лирикой и часто переходит в драму. Опять-таки, как и в случае с музыкальностью, внешние приметы той же драмы есть лишь производное выражение внутренних драматических конфликтов в очень обширном общенациональном значении. Даже там, где такой конфликт как будто бы носит ограниченный характер, скажем, конфликта любовного.

В этом смысле очень характерен знаменитый «Хуторок». Именно драматизм «Хуторка» сам Кольцов остро чувствовал и об этом писал Белинскому: «...иногда прочтешь «Хуторок» — покажется, а иногда разорвать хочется. Есть вещи в свете, милые сердцу, и есть ни то ни се; так и везде. Да, впрочем, что ж больше может быть среди безлюдной почти степи? Конечно, драма везде драма, где человек; но иная драма хороша, другая дурна. Если смотреть на него [«Хуторок»] в обширном смысле страстей человеческих, так эта жизнь не очень хороша, а если глянуть на степь, на хутор да на небо, так и эта бредет. Лучше что есть говорить, а не собирать всякой чепухи и брызгать добрым людям по глазам; и стыдно, и грешно. Вам смешно, я думаю, что такую дрянь я сую в драмы; на безрыбье и рак рыба: так [как] у меня нет больших, ну и маленькую туда ж, — все как-то лучше, чем нет ничего».

Почему же Кольцов «сует» «Хуторок» в драмы?

Сам он назвал «Хуторок» русской балладой, ощущая его своеобразие, его необычность, может быть, большую сравнительно с собственно песнями сложность. Многое здесь идет от песни и объединяет с нею:

За рекой, на горе,
Лес зеленый шумит;
Под горой, за рекой,
Хуторочек стоит.

Сам «пейзаж» Кольцова, как правило, предельно прост, не детализирован, не прописан. В него не вглядываются, как то было бы в литературе, в него не вживаются — в нем живут. И здесь у Кольцова, как в народной песне,

как в сказке: просто «гора», да «река», да «лес», опять же по самой простой формуле — «зеленый». То же ведь и в другой балладе — «Ночь» («Эта песня пахнет какой-то русской балладой», — отметил автор):

Лишь зеленый сад
Под горой чернел.

И герои в «Хуторке» песенно однозначны: просто «молодая вдова», «рыбак», «купец», «удалой молодец» — претенденты на нее — соперники. Однако уже многогеройность определяет сложную, непесенную композицию, появляются целые монологи и диалоги (а точнее сказать, «арии» и «дуэты»). Зрелый Кольцов особенно сильно тяготеет к какой-то сложной, большой литературной форме. Но к такой, которая в то же время не разлучила бы с музыкой. Вообще Кольцов с особым тщанием собирал оперные либретто и сам очень хотел написать либретто для оперы. «Хуторок» являет, по сути, «маленькую оперу», потому что в основе лежит опять-таки подлинно драматическая ситуация с гибелью героев, хотя рассказа о самой этой гибели, об убийстве, по законам балладной поэтики, предполагающей таинственность и недосказанность, нет.

А ведь в основе стихотворения лежит, как свидетельствовали современники, реальный факт; в степи, в деревушке Титчихе молодую вдову любил молодой лесник, который однажды, застав у нее в доме местного рыбака и богатого купца, устроил кровавую расправу.

Впрочем, у Кольцова дело даже не в убийстве самом по себе. Сюжет с убийством возникает на основе широкой драматической коллизии. Есть в этой «русской балладе» одно начало. Это разгул. И не только удалой молодец — этот тать полуночный, и уж, во всяком случае, тот, что спуску не даст, — стихию разгула несут все герои. Погулять, погулять, несмотря ни на что. Это слово здесь при каждом. И рыбак:

Погулять, ночевать
В хуторочек приплыл.

И молодая вдова:

Завтра ж, друг мой, с тобой
Гулять рада весь день.

И купец:

А под случай попал —
На здоровье гуляй!

Слово не случайное. Это не вообще веселье, а именно гулянье «под случай» попавших людей — разгул вопреки всему: уговору, погоде, врагу. Это «трын-трава» и «пропади все пропадом». Это разгул, идущий под знамением грозных роковых примет, совершающийся под знаком смерти, разгул погибельный. В том же 1839 году, когда был написан «Хуторок», в другой песне, «Путь», Кольцов почти в тех же словах и образах, что и в «Хуторке», выразил ту же драматическую коллизию: и в погибельности — да песня:

И чтоб с горем, в пиру,
Быть с веселым лицом;
На погибель идти —
Песни петь соловьем!

«Он, — отметил Белинский, — носил в себе все элементы русского духа, в особенности страшную силу в страдании и в наслаждении, способность бешено предаваться печали и веселию и вместо того, чтобы падать под бременем самого отчаяния, способность находить в нем какое-то буйное, удалое, размашистое упоение...»

Баллада «Хуторок», «Хуторок» — «драма», это и песня, лихая песня-вызов. Сама музыка здесь плясовая, почти без распева: нет дактилей, обычно у Кольцова так или иначе пробивающихся, — сплошь рубленые, сильные мужские окончания.

Громкая песня сопровождает в «Хуторке» все действие. «Песня» — само это второе главное (наряду с «гуляем») ударное слово, буквально звенит в ушах:

В том лесу соловей
Громко песни поет...

Петь мы песни давай!..

И пошел с рыбаком...
Купец песни играть...

Песенность разлита в «Хуторке». Она и в рифмах-повторах:

За рекой, на горе...
Под горой, за рекой...
В эту ночь-полуночь...
Хотел быть, навестить...
Обнимать, целовать...

Она и в отчеканенных пословичных, песенных формулах:

Горе есть — не горюй,
Дело есть — работáй:
А под случай попал —
На здоровье гуляй!

И после того как драма совершилась и отошла, общее музыкальное песенное начало продолжает звучать, живет даже многоточиями, не столько заключающими, сколько продолжающими, уводящими в бесконечность:

И с тех пор в хуторке
Уж никто не живет;
Лишь один соловей
Громко песни поет...

Песни Кольцова очень часто выражают внутренние драматические коллизии и во внешнем своем решении, что, впрочем, не всегда нами ощущается, так как собственно музыкальная, обычно песенная, а иногда и романсная форма такой драматизм поглощает или даже просто отменяет его, от него уходит. В этом смысле очень характерен опять-таки широко известный романс «Последний поцелуй». На первый взгляд это только песня про любовь, про разлуку. Что же сообщило ей живой драматизм, с живыми же, а не привычными, запетыми характерами любящих? Начата песня довольно традиционными песенными повторами:

Обойми, поцелуй,
Приголубь, приласкай,
Еще раз, поскорей,
Поцелуй горячей.
Что печально глядишь?
Что на сердце таишь?
Не тоскуй, не горюй,
Из очей слез не лей...

Песня в ряду других песен Кольцова сразу останавливает внимание необычной для него насыщенностью рифмами. Конечно, и здесь рифма как бы непосредственно рождается, строгой упорядоченности, как было бы в собственно литературном произведении, не имеет. Но тем не менее она особенно сильно выражает песенность и даже придает песенности, так сказать, подчеркнутый характер. Никогда у Кольцова в песнях не бывало столь отчетливой рифмовки: сразу несколько рядов парных рифм. Недаром композитор и исследователь русского романса Цезарь Кюи писал, что «Последний поцелуй» являет обра-

зец «гибкости и разнообразия романсных форм — от закругленных строк... до непрерывно льющейся музыки без всяких повторений». Любопытно, что в собственном музыкальном романсном исполнении делается обычно довольно большая купюра (от слов «не на смерть я иду...»). И это не просто сокращение. Речь идет о тексте, который «не поется» — не поется по сути своей, не укладывается в романс.

В «Последнем поцелуе» два характера, герой и героиня, *он* и *она.* Рифмованный текст как раз и есть выражение привычной отчеканенной романсной ситуации. Это *он,* герой, отделывается романсом, хочет в его пределах определить коллизию, замкнуть ее в романсе, им ограничить. Живую же драму несет *она,* не названная прямо, не увиденная нами, безгласная как будто бы. Ее реакция разрушает романс, и *он* вынужден сорваться, уйти от этой «искусственной» формы:

Не на смерть я иду,
Не хоронишь меня.
На полгода всего
Мы расстаться должны;
Есть за Волгой село
На крутом берегу:
Там отец мой живет...

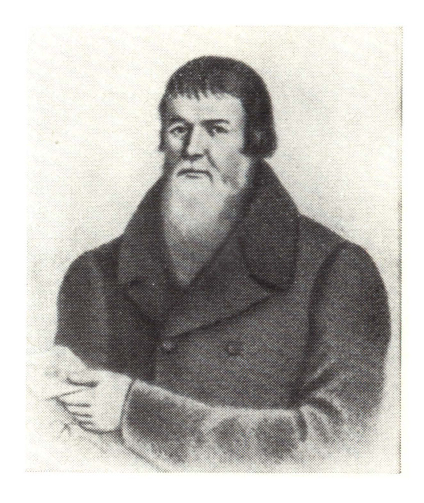
Если воспользоваться терминологией композитора, то, конечно, «непрерывно льющаяся музыка» осталась и здесь: все это единая песня, написанная одним размером — анапестом. Но вот романсная струя с «закругленными», рифмованными строками перебилась. И потому же возникла драматическая взволнованность живой речи, если остаться в рамках музыкальной терминологии — речитатив. Характерно *его* желание как бы отмахнуться от слез, от драмы («мне не надобно их, мне не нужно тоски»), все утишить и успокоить, попасть снова в привычную, накатанную колею, так сказать, одолеть рифмами нерифмующуюся ситуацию:

Там отец мой живет,
Там родимая мать
Сына в гости зовет;
Я поеду к отцу,
Поклонюся родной:
И согласье возьму
Обвенчаться с тобой.

И вновь мы ощущаем ее неуспокоенность, ее бессловесный ответ по тому, как сбился герой на драматизм не-



Мать поэта — Прасковья Ивановна Кольцова.



Отец поэта — Василий Петрович Кольцов.

Местность Гусиновка, где родился Кольцов (Воронеж).

Воронежское уездное училище, где учился Кольцов.

Дача И. С. Башкирцева на Дону.





Лубок-стихотворение «Песня старика».

Москва. Красная площадь. Первая половина XIX века.



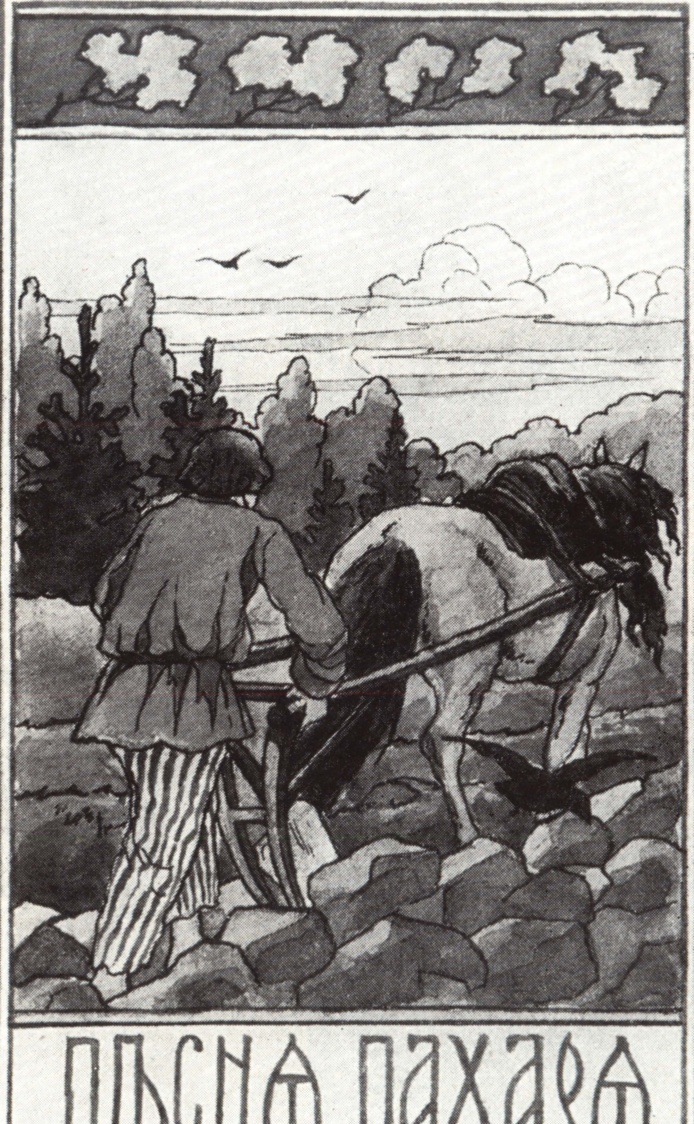
«Хуторок». Рисунок К. Трутовского.



А. В. Кольцов. 1836 г. С портрета художника Д. Курепина.

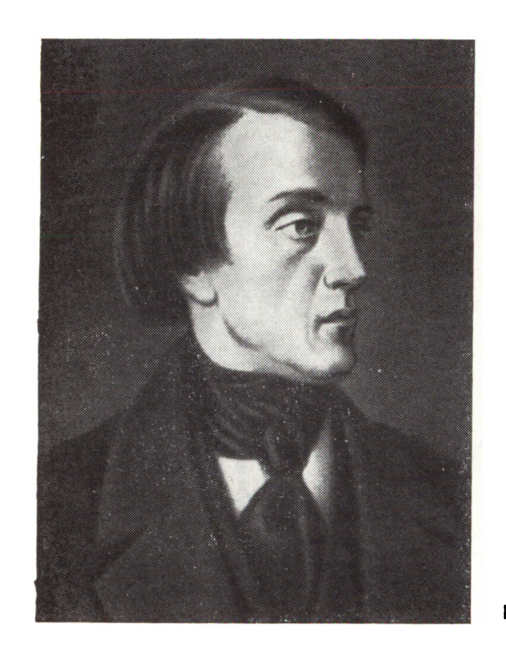


Из иллюстрации к стихотворениям Кольцова.


ПѢСНЯ ПАХАРЯ

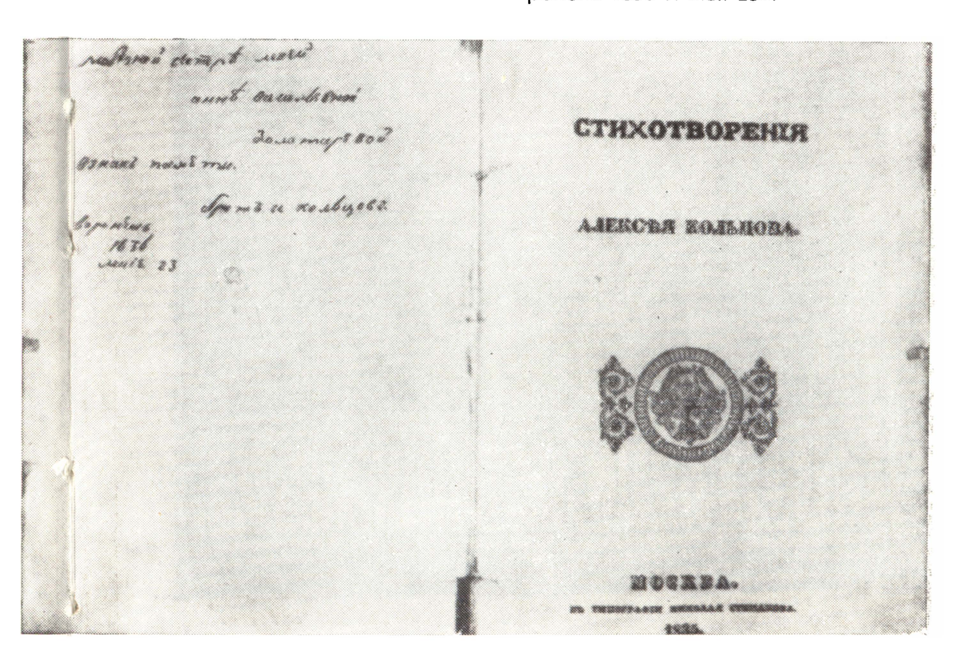


Москва. Театральная площадь. Акварель Бронина. 1840-е гг.



В. Г. Белинский.

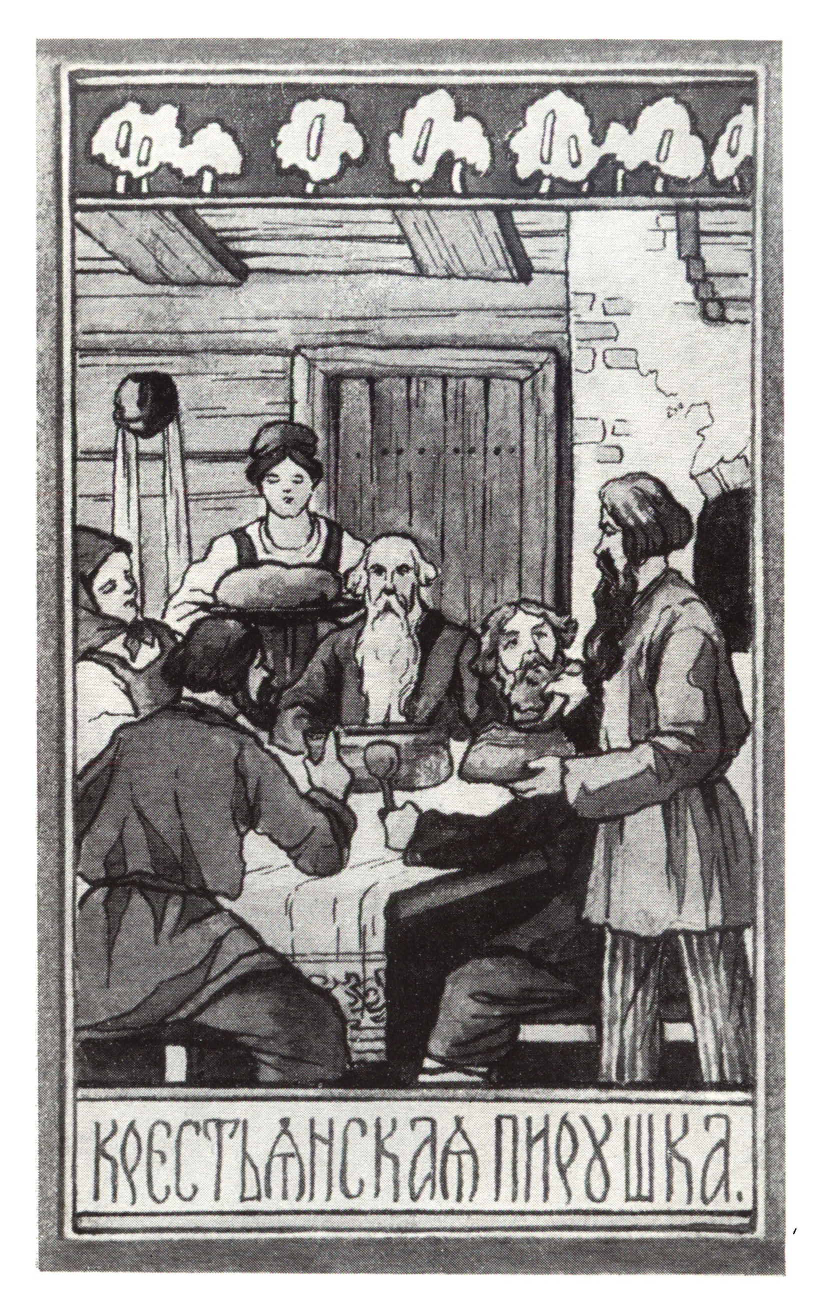
Титульный лист первого сборника стихотворений А. В. Кольцова с автографом поэта: «Любезной сестре моей Анне Васильевне Золотаревой в знак памяти. Брат А. Кольцов. Воронеж. 1836 г. мая 23».



СТИХОТВОРЕНІЯ

АЛЕКСѢЯ КОЛЬЦОВА.

МОСКВА.



Из иллюстраций к стихотворениям Кольцова.


ЧТО ТЫ СПИШЪ, МУЖИЧЕКЪ

Москва. Дом, в котором издавался журнал «Листок».

Петербург. Вид Адмиралтейства. Гравюра Р. Курятникова.



А. В. Кольцов.



А. С. Пушкин.

Лѣсъ.

посвящено памяти А. С. Пушкина

что дремучій лѣсъ
призадумался?
грустью тёмною
затуманился?

что Бова-силачъ
заколдованный,
съ непокрытою
головой въ бою, —

ты стоишь — поникъ,
и не ратуешь
съ мимолётною
тучей-бурею.

густолиственный
твой зелёный шлемъ
буйный вихрь сорвалъ —
и развѣялъ въ прахъ.

Автограф стихотворения Кольцова «Лес».



Кольцов у Пушкина. Рисунок П. Бореля.

Вид Петербурга первой трети XIX века: Васильевский остров и Петропавловская крепость.

Деревня. Рисунок Б. М. Кустодиева.

рифмованного слова. У Кольцова оно и графически отделено, это начало нового акта, или вообще «не из той оперы»:

Мучит душу мою
Твой печальный убор,
Для чего ты в него
Нарядила себя?

А затем снова следует заклинание, завораживание романсом — *он* снова уже не столько говорит, сколько поет о наряде и сам как бы обряжает ее рифмами:

Разрядись, уберись
В свой наряд голубой
И на плечи накинь
Шаль с каймой расписной...

Романсность усилена вплоть до появления вообще-то у Кольцова редкой цыганской интонации (недаром «Последний поцелуй» давно и прочно занял место в репертуаре цыганских хоров). По сути же, «Последний поцелуй» — целая психологическая драма. И в центре драмы — *она,* освещенная отраженным, но каким сильным светом, *ее* целомудренный характер, *ее* вещее женское сердце.

В свое время Валериан Майков писал, что «изображения русских женщин Кольцовым... в высшей степени замечательны, во-первых, потому, что в эстетическом отношении их можно сравнить только с изображением Татьяны, во-вторых, потому, что в русских крестьянках и мещанках, которые у него выводятся, чрезвычайно любопытно *созерцать первообраз* русских барышень и барынь. <...> Сравним же Татьяну с крестьянками Кольцова. Между нею и ими неизмеримая бездна. <...> А между тем странно, как это так выходит, что характер любви Татьяны и история ее страсти совершенно такие же, что и у крестьянки Кольцова... И Пушкин, и Кольцов с какою-то особенною грустью приступают к описанию первого периода любви своих героинь: им жаль этих прекрасных существ, потому что первые симптомы любви русской женщины уже заключают в себе что-то зловещее...»

Кольцовская песня многомерна. Она способна откликаться на многое, и, оставаясь совершенно оригинальной, эта песня очень непосредственно входит и в русский общелитературный процесс, хотя традиционная форма песни мешает иногда увидеть такую связь. С этой точки

зрения особенно показательны у Кольцова стихи-посвящения. Они-то как раз ясно говорят о его прямо пушкинской способности воспринимать очень разные миры и чутко на них откликаться. Уже говорилось о том, как остро живет у Кольцова в письмах ощущение адресата. Оно есть и в его стихотворных посвящениях, которые обычно не отвлеченные посвящения, не только жесты вежливости или даже знаки признательности и любви. Как правило, они рождают образ человека, которому посвящены, комплекс настроений и чувств, так или иначе с ним связанных. Посвящая «Расчет с жизнью» Белинскому, Кольцов писал: «Жалобу» (так стихотворение первоначально называлось. — *Н. С.*) я посвятил вам потому, что в ней много сказано от души и про вас и про меня. В этой стороне нашего житья у меня с вами много схожего». Речь идет уже об определенном психологическом типе эпохи и уже отнюдь не только простонародном:

Жизнь! Зачем ты собой
Обольщаешь меня?
Почти век я прожил,
Никого не любя.

В душе страсти огонь
Разгорался не раз,
Но в бесплодной тоске
Он сгорел и погас.

Моя юность цвела
Под туманом густым, —
И что ждало меня,
Я не видел за ним...

Разрыв слова и дела, мечты и жизни, надежды и свершений был особенно мучительно пережит молодыми идеалистами 30-х годов. Именно к 40-м годам наступило для них горькое разочарование. Это остро ощущали и Белинский и Кольцов. Позднее роман выразил и закрепил такую психологию. Но лирика откликнулась много раньше. И Кольцов здесь был из первых. Любопытен и еще один мотив, который подчеркнут в стихотворении Кольцова, — мотив любви в очень широком значении этого слова, опять-таки явно связанный с абсолютизацией любви, характерной для идеалистов 30-х годов. Таким образом, у этого стихотворения есть четко определяемый социально-исторический и интеллектуально-психологический контекст.

«Расчет с жизнью» у Кольцова посвящен Белинскому, как «Лес» — Пушкину.

Посвященная князю В. Ф. Одоевскому «Ночь» — очень чуткая реакция на художественный мир Одоевского. В 30-е годы в различных изданиях печатались произведения Одоевского, которые вышли позднее, уже в 1844 году, как единый цикл «Русские ночи». Собственно, само название будущей книги появилось впервые при публикации «Ночи первой» в первой книге «Московского наблюдателя» за 1836 год. Очевидно, «Ночь первая» произвела на Кольцова большое впечатление. Но в отличие от «Ночи первой» Одоевского «Ночь» Кольцова именно русская ночь. «Эта песня, — писал Кольцов Белинскому в декабре 1840 года, — пахнет какою-то русскою балладой». Балладный сюжет с посещением мертвеца романтичен и как бы откликается на мистически настроенный, полный причудливых фантастических образов мир Одоевского — художника и музыканта.

Лишь зеленый сад
Под горой чернел;
Мрачный образ к нам
Из него глядел.

Улыбаясь, он
Зуб о зуб стучал;
Жгучей искрою
Его глаз сверкал.

Вот он к нам идет,
Словно дуб большой...
И тот призрак был —
Ее муж лихой...

По костям моим
Пробежал мороз;
Сам не знаю как,
К полу я прирос.

Но лишь только он
Рукой за дверь взял,
Я схватился с ним —
И он мертвый пал.

«Что ж ты, милая,
Вся, как лист, дрожишь?
С детским ужасом
На него глядишь?

Уж не будет он
Караулить нас;
Не придет теперь
В полуночный час!..» —

«Ах, не то, чтоб я...
Ум мешается...
Все два мужа мне
Представляются:

На полу один
Весь в крови лежит,
А другой — смотри —
Вон в саду стоит!..»

Баллада обычно предполагает своеобразную загадочность и недосказанность. Причины, лежащие в основе сюжетного конфликта, до конца не раскрываются. Кольцов создает сложную романтичную литературно-музыкальную композицию.

У Кольцова обычна полная иллюзия народной песни. Недаром исследователи пытались возвести и эту «Ночь» к какому-то конкретному народно-поэтическому источнику. В частности, называлась донская казачья песня «Под горой шумит речка быстрая». Надо сказать, однако, что и вообще-то кольцовские песни в сюжетах, в ситуациях к конкретным народным песням восходят крайне редко. Ему не нужна какая-то одна песня, тот или иной ее образец. Он, так сказать, нес в себе *все* народное творчество сразу, дух его, его идею. Выглядит натянутой и приведенная аналогия.

Суть дела не в том, чтобы обязательно найти какие-то источники кольцовских песен в народной поэзии: перед нами в виде песен Кольцова пребывает некая идеальная норма народной песни. Принципиальной разницы между народной песней и песней Кольцова нет: субъект здесь, как сказал бы Гегель, является в неразрывном единстве с жизнью и чувством целого народа. Но потому же нет принципиальной разницы и между первыми песнями Кольцова и последовавшими за ними.

Кольцовым была создана песня, становившаяся одновременно «высокой» и «низкой», «крестьянской» и «барской», литературной и народной, в общем, национальной «русской песней».

СТОЛИЦЫ И ВОРОНЕЖ

Создателем именно такой песни Кольцов и явился в 1836 году в Москву, явился Кольцовым, уже гением. Правда, только в такой песне проявившимся и реализовавшимся. Кольцов и после этого времени пишет песни, но, как сказано, в принципе они уже не несут никакого нового начала и, по сути своей, не могут нести. Слишком своеобразен, целен и, так сказать, замкнут в себе этот жанр.

«1836 год, — писал Белинский, — был эпохою в жизни Кольцова».

Кольцову повезло. Он попал в самый центр московской духовной жизни. Станкевич эту зиму жил в Москве, объединяя все лучшее, что тогда вообще имела московская литература. Белинский уже приобрел свое влияние, а «Телескоп», главным критиком которого он был, становился ведущим журналом.

Вскоре после такого освоения московской литературной жизни Кольцов переезжает в Петербург и входит в петербургский круг литераторов.

«Что же касается до чести знакомства со всеми знаменитостями, большими и малыми, — то нельзя сказать, чтобы Кольцов добивался ее или слишком дорожил ею» (Белинский).

Впрочем, поначалу Кольцов явно добивался таких знакомств и захватывал здесь самым широким неводом. Будущий соиздатель Некрасова по журналу «Современник» и в конце 30-х годов уже довольно известный петербургский литератор Иван Иванович Панаев вспоминает, что «Кольцов считал долгом делать визиты ко всем литераторам, из которых многие посматривали на него с высоты своего величия, как на талантливого мужичка». Да и к Панаеву он явился первым: «Я хотел отправиться отыскивать Кольцова, но в одно утро, очень скоро после своего приезда, он явился ко мне сам... Портрет Кольцова, приложенный к его сочинениям, очень верно передает его черты: художник не умел только схватить тонкого и умного выражения глаз его. Кольцов был небольшого роста и казался довольно крепкого сложения. Одет он был даже с некоторою претензею на щегольство: на манишке

его сверкали пуговицы с камешками, сверх жилета красовалась цепь от часов, он был напомажен и раздушен». Конечно, И. И. Панаев сам отличался склонностью к франтовству, но франтовство провинциального купчика, видимо, не у него одного вызывало улыбку.

Кольцов действительно хотел видеть и знать всех. Столичная литература сделала ему смотр. Но ведь и он делал ей смотр. Вообще в этот второй, а по действенности («эпоха в жизни Кольцова»), в сущности, первый приезд в столицу выходит вперед не столько даже, так сказать, качественная, сколько количественная сторона дела. Кольцов знакомится много и со многими в Москве и Петербурге. В сравнительно короткий срок, он, явившись с письмом от Станкевича к Неверову, по цепочке переходит к Краевскому, далее к Жуковскому и восходит до Пушкина. Все это время — период первых знакомств, ориентаций, выбора.

Поэт-прасол, человек из народа, он вызывал интерес как экзотическое явление. С ним охотно знакомились, его охотно возили для новых знакомств. Сам поэт понимал, что ему навязывается некая роль, и старался из нее не выходить, во всяком случае, с большинством и во многих ситуациях. В то же время положение Кольцова было двусмысленным. Интерес к нему часто сопровождался и снисходительными взглядами сверху вниз. «Он, — писал Белинский, — очень хорошо понимал и видел, что одни принимали его как диковинку, смотрели на него, как смотрят на заморского зверя, на великана, на карлика, что другие, снисходя до равенства в обращении с ним, были в восторге от своей просвещенной готовности уважать талант даже и в мещанине; и что слишком немногие протягивали ему руку с участием и искренностью. Некоторые смотрели на него с чувством своего достоинства и говорили с ним тоном покровительства, а некоторые только из вежливости не оборачивались к нему спиною».

Больший или меньший интерес к Кольцову проявляли все, но понимали его лишь немногие. Примечательная особенность: снисходительность обнаруживали главным образом литераторы как раз сравнительно средней руки. И открыть Кольцова этим господам средней руки было нелегко, потому что сам поэт держался достаточно замкнуто и был немногословен. А. Н. Муравьев, специалист по истории религии и автор незначительных художественных произведений в религиозном духе, рассказывает о своем знакомстве с Кольцовым: «Я очень доволен был позна-

комиться с этим новым поэтом, которого народная поэзия произвела большое впечатление в столице, когда отпечатана была первая книжка его стихотворений. Но в разговоре его не было ничего оригинального, так что, кто не читал его стихов, никак бы не мог подозревать в нем поэта». Знакомство, состоявшееся в Воронеже, продолжалось в Москве, и Кольцов в письме Белинскому его комментировал: «У Муравьева был раз; он тоже ни то ни се, и, кажется, человек замаскированный, у него души немного, а чужая душа большая...» Кольцов, по редкой проницательности и чутью, с человеком «ни то ни се» немедленно становился и сам человеком «ни то ни се».

Имеется описание одного, видимо, достаточно типичного литературного вечера с участием Кольцова. Вечер проходил у Плетнева. Человек пушкинского круга, поэт и критик Петр Александрович Плетнев был тогда профессором Петербургского университета. Вечер у Плетнева описан И. С. Тургеневым в очерке, который так и назван «Литературный вечер у П. А. Плетнева». Кольцов как герой тургеневского очерка много поясняет в положении, которое он занимал тогда как человек и поэт в петербургских гостиных. «В начале 1837 года, — сообщает Тургенев, — я, будучи третьекурсным студентом С.-Петербургского университета (по филологическому факультету), получил от профессора русской словесности, Петра Александровича Плетнева, приглашение на литературный вечер». Между тем в 1837 году Кольцов в Петербург не приезжал. Он находился там в 1836 году и в 1838-м. Может быть, речь у Тургенева идет о 1838 годе? Тем более что в марте того же 1838 года Кольцов сообщает Белинскому: «В прошлую среду был я на вечере у Плетнева. Там был Воейков, Владиславлев, Карлгоф, Гребенка, Прокопович и Тургенев». Поэтому нынешние комментаторы академического собрания Тургенева и пишут: «На основании этого письма редактор стихотворений Кольцова А. И. Лященко (дореволюционный издатель академического Кольцова. — *Н. С.*) относит литературный вечер у П. А. Плетнева к 9/21 марта 1838 года. И так как Тургенев, по его собственному свидетельству, видел Кольцова «всего раз» (см. письмо Тургенева к М. Ф. де Пуле от 7/19 февраля 1877 года) и упомянутые Кольцовым лица, присутствовавшие на вечере, совпадают с названными Тургеневым в его воспоминаниях, то, очевидно, речь идет об одном и том же вечере». Итак, казалось бы, все говорит за 1838 год. Однако Тургенев вспоминает, что встре-

тил тогда в плетневской передней уходившего с вечера Пушкина. Ошибка памяти? Возможно. Но все-таки — первая встреча с Пушкиным, с человеком, который, по словам Тургенева, был для него, как и для многих его сверстников, чем-то вроде полубога и через год погиб. А главное — после этого подробно описывается беседа по дороге домой с Кольцовым о Пушкине, о его участии в вечере. К тому же в 1838 году Тургенев уже не был студентом. Все это уже говорит за 1836 год. И упомянутые Кольцовым лица, присутствовавшие на этом вечере, отнюдь не во всем совпадают с названными Тургеневым. Очевидно, — это точно подтверждает Тургенев — на вечере 1836 года присутствовал В. Ф. Одоевский, а на вечере 1838 года его не было: Кольцов, перечисляя в письме Белинскому гостей, не мог по характеру особых отношений с Одоевским его не упомянуть, а он его не упоминает. Как не упоминает, например, И. Н. Скобелева, колоритно представленного у Тургенева. В свою очередь, Тургенев не называет Н. Я. Прокоповича, названного в письме Кольцова. А что касается письма Тургенева де Пуле о том, что он видел Кольцова «всего раз», то оно уточняется другим тургеневским же и, кстати, сделанным на десять лет раньше сообщением, а именно, письмом 1866 года английскому исследователю русской литературы Вильяму Рольстону: «Я прочел с величайшим интересом вашу превосходную статью о Кольцове (статья Рольстона «A Russian Poet» была напечатана в № 6 «Fortnightly Reviw» за 1866 год. — *Н. С.*), лично я знал его мало, встречался с ним всего раз или два (!) в Петербурге». Итак, следует предположить, что Тургенев встречался с Кольцовым именно два раза. Два эти вечера у Плетнева слились для него позднее в один образ, описывает он впечатления от первого вечера 1836 года (правда, датируя его совсем уж невозможной цифрой — 1837), на которые наложились и некоторые впечатления от вечера 1838 года.

Что касается Кольцова, то образ этот у Тургенева любопытен в ряде отношений. Он приобретает значение почти документального свидетельства и свидетельства, говорящего о довольно типичном тогда восприятии Кольцова в обычном литературном кругу. В сущности, мы имеем дело с внешней характеристикой (недаром тогда же один из рецензентов отметил: «...там, где г. Тургенев описывает личность одним внешним образом, там эта личность перед читателем, как живая»), без попытки проникновения и осмысления; характеристика эта дана, конечно, уже

зрелым художником, но по впечатлению, полученному в юности, когда многого не ощущалось.

Да и у Кольцова на плетневском вечере, конечно, в мыслях не было хоть как-то открываться молодому, почти на десять лет моложе его, студенту. Так и запечатлен он у Тургенева — застенчивым, смирным, робким.

Но довольно равнодушный тогда взгляд на Кольцова в то же время и позволил Тургеневу действительно как бы сфотографировать поэта. И в общем, на «фотографию», сделанную раньше И. И. Панаевым, эта «фотография» накладывается: «Одетый в длиннополый двубортный сюртук, короткий жилет с голубой бисерной часовой цепочкой и шейный платочек с бантом, он сидел в уголку, скромно подобрав ноги, и изредка покашливал, торопливо поднося руку к губам. Человек этот поглядывал кругом не без застенчивости, прислушивался внимательно; в глазах его светился ум необыкновенный, но лицо у него было самое простое, русское — вроде тех лиц, которые часто встречаются у образованных самоучек из дворовых и мещан. Замечательно, что эти лица, в противность тому, что́, по-видимому, следовало бы ожидать, редко отличаются энергией, а, напротив, почти всегда носят отпечаток робкой мягкости и грустного раздумья...»

Рисунок П. Бореля «Литературный вечер у П. А. Плетнева», очевидно, точно схватил положение Кольцова в плетневской гостиной. Его неловкая фигура в какой-то просительной позе, хотя и на втором плане, явно выделяется, может быть, как раз потому, что боится выделиться. Обычно художники, по свидетельству Панаева, не могут передать тонкого и умного выражения глаз Кольцова. Но писатели (Тургенев не единственный) сообщают: «...светился ум необыкновенный». И. И. Панаев простодушно признался: «...этот необразованный мужичок понимал гораздо более и смотрел на литературу гораздо глубже многих из так называемых образованных литераторов и своих покровителей. С каждым приездом своим он становился со мною откровеннее. Он передавал мне впечатления, которые производили на него разные петербургские литераторы и литературные знаменитости, и характеризовал каждого из них. Эти характеристики были исполнены ума, тонкости и наблюдательности; я был поражен, выслушивая их.

— Эти господа, — прибавлял Кольцов в заключение, с лукавою улыбкою, — несмотря на их внимательность

ко мне и ласки, за которые я им очень благодарен, смотрят на меня как на совершенного невежду, ничего не смыслящего, и презабавно хвастают передо мною своими званьями, хотят пустить пыль мне в глаза. Я слушаю их разиня рот, и они остаются мною очень довольными, а между тем я их вижу насквозь-с.

— Ну, Алексей Васильевич, — сказал я ему, — ведь я, грешный человек, посматривал на вас тоже немножко свысока. Простите меня.

Кольцов улыбнулся.

— Да ведь на меня, Иван Иваныч, — возразил он, — человека необразованного, иначе и не могут смотреть образованные люди: я это очень хорошо понимаю; но вы ведь меня не принимаете за дурачка, а они на меня совсем как на дурачка смотрят: вот хоть бы Евгений Павлыч Гребенка. <...> Впрочем, я это так только заметил: все здешние литераторы и Евгений Павлыч — люди очень добрые и почтенные... Вот хоть бы князь Одоевский, он такой приветливый, он так меня обласкал, а впрочем, московский кружок — то есть я разумею кружок Белинского — все-таки нельзя сравнить с здешними... Я откровенно вам скажу, только и отдыхаю там от разных своих забот и неприятностей... У этих людей есть чему поучиться».

Последняя часть диалога показывает, что Панаева, человека доброго, но несколько легкомысленного, Кольцов тоже видел «насквозь», и, наверное, потому же прорвавшуюся откровенность снял общей и ничего не значащей фразой: «Все здешние литераторы и Евгений Павлыч — люди очень добрые и почтенные», закрыл штампом. Но все же не удержался и решительно противопоставил петербуржцам москвичей. Характерно, что московский кружок назван не кружком Станкевича, а кружком Белинского: «У этих людей есть чему поучиться». Один громадный урок, впрочем, Кольцов получил и в Петербурге. Но об этом ниже.

В беседе с Панаевым он недаром выделил В. Ф. Одоевского. В столицу Кольцов приехал отнюдь не для того только, чтобы посещать вечера, приниматься литераторами и принимать их у себя. А он устраивал такие приемы. Панаев вспоминает, что «почти всякий свой приезд в Петербург Кольцов созывал к себе литераторов на угощение и между прочим потчевал их какой-то соленой рыбой, которую он привозил из Воронежа». Естественно, что созывались на эти угощения не такие лите-

раторы, как князь П. А. Вяземский, князь В. Ф. Одоевский и генерал В. А. Жуковский, хотя их Кольцов узнал тоже в первый свой приезд. И для него очень большое значение имело не только то, что Вяземский, Одоевский, Жуковский были литераторы, но и то, что это были князья и генералы, — и совсем не только в литературе.

В круг этих людей ввел Кольцова Андрей Александрович Краевский — деятель в истории русской журналистики очень примечательный, тогда начинавший. Он служил в том же «Журнале министерства народного просвещения», что и Неверов — первый биограф Кольцова. Краевский стал тогда одним из наиболее близких воронежскому поэту петербургских литераторов и немало сделал для него доброго, хотя и в сфере главным образом нелитературной. Что свело их вместе?

Краевский не был даже мало-мальски крупным писателем: несколько маловажных литературно-критических и публицистико-исторических работ — по сути, все. Но многие значительные издательские предприятия, будь то «Современник» или «Отечественные записки», не обошлись без Андрея Краевского. Энергичный делец Краевский эволюционировал и в своих взглядах вправо, подчиняясь общей обстановке, особенно после 1848 года. Но в 30-е годы он очень тянулся к пушкинскому кругу, и именно он-то приобщил к нему Кольцова. Вряд ли бы Краевский с успехом вел свои журнальные, а с 60-х годов и газетные дела, если бы, кроме деловой хватки, которая наконец закрепила за ним не очень добрую славу журнального эксплуататора, не имел особого чутья на конъюнктуру и на литературные дарования. В конце концов, ведь это он со своими «Отечественными записками» ввел в литературу Лермонтова, с которым всегда был довольно дружен. Это он пригласил Белинского в те же «Отечественные записки» и предоставил ему быть в них полновластным хозяином, оставив за собой, конечно, хозяйское право на полноценный доход от прославленного критиком журнала.

Очевидно, тот же нюх начинающего большого литературного дельца на большой начинающий литературный талант позволил ему оценить Кольцова раньше многих писателей, критиков и поэтов и отнестись к нему внимательно и доброжелательно. Кольцов, естественно, испытывал к Краевскому благодарность и доверие особого рода. В свою очередь, Кольцов быстро понял и оценил Краевского — умного литератора и журналиста, как

тогда называли редакторов и издателей, а Краевский уже с 1837 года редактировал «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду».

Кольцов сам был человек деловой и практический, и вот этой своей стороной он прежде всего и повернулся к Краевскому. Отношения установились прочные и надолго, а переписка продолжалась почти до самой смерти поэта. Правда, в первых письмах Кольцов обращается к нему в выспреннем стиле, в котором он часто обращался к тем, кого почитал сильными мира сего, а о себе говорит в манере нарочито уничижительной. «Добрый и любезный Андрей Александрович! — пишет он Краевскому в ноябре 1836 года, то есть в первый год знакомства. — Давным-давно ко мне вы ни полслова. Бывало, не вы, так Януарий Михайлович (Неверов. — *Н. С.)* кое-когда посещал торгаша-горемыку. <...> Конечно, всегда вы заняты, всегда дела. Да, вы небом избранные жрецы священнодействовать у алтаря высокого искусства». Тем не менее вскоре, уже в начале 1837 года, Кольцов не только пишет о «дурных обстоятельствах нашей коммерции», но и подробно сообщает избранному священнодействовать у алтаря жрецу, в чем эти обстоятельства состоят: «Дела торговли все худшают. Скотом прошедший год торговали дурно. Сало продали 11 р. 25 к. за пуд, кожу бычью — 13 р., говядину обрезную продаем 2 р. 50 к. и 2 р. и 1 р 50 к. за пуд. Дровами торговля посредственная. Хлеб у нас: мука ржаная 3 р. 50 к. четверть, овса 1 р. 80 к. четверть, пшено 1 р. 40 к. мера, крупа 80 к. мера, гречиха 3 р. четверть, пшеница 8 р. 50 к. и до 10 р. четверть».

Ничего подобного Кольцов никогда бы не мог написать и никогда не написал, например, Белинскому. Это пишет деловой человек деловому человеку, «торгаш» торгашу в уверенности, что тот вполне оценит эти меры, пуды и четверти. Кольцов знал, кому пишет. Потому же, кстати, письма его Краевскому почти сразу приобретают характер достаточно доверительный и, так сказать, раскованный. Это язык человека, не лезущего за словом в карман. Вот он отбрасывает «избранных жрецов священнодействовать», и потекла народная, умная, острая, с присловием речь: «Может быть, нехорошо делаю, что часто так скучаю вам, да как мне быть, когда до смерти хочется узнать от вас кое о чем нужном! Желанию сенца не подложишь: оно насильно требует, что ему надобно. Пуще всего позвольте мне поговорить с вами о моей книге, в которой вы приняли на себя труд благодетель-

ствовать. Как она, сердечная? Скоро будет напечатана? — или, как мать родила, пошлете восвояси? Что, если это правда? — то жить ей у меня будет неловко: лучше не присылайте, а то я ее изволочу, как шельму. Нет, было бы лучше ей, если бы она приехала ко мне расфранченная, как петербургская щеголиха-барыня».

Как сказано, именно Краевский и ввел Кольцова в самый высокий тогда пушкинский литературный круг, в который сам Краевский по редкому своему чутью рвался и к которому только-только был приобщен, конечно, несколько на особой роли, будучи, в частности, техническим редактором пушкинского «Современника». В круг этот входили такие люди, как князь П. А. Вяземский и князь В. Ф. Одоевский, как граф М. Ю. Виельгорский и И. А. Крылов, как С. А. Соболевский и М. И. Глинка. Это были сливки русского культурного общества. И надо сказать, что в этом-то кругу Кольцов встретил большое понимание и большое внимание, нашел он здесь и реальную поддержку. Вельможные связи обернулись и удачными протежированиями.

* * *

В самом Петербурге Кольцов жил как бы в двух сферах. Одна — литературные и журнальные связи и отношения. Другая — отнюдь не литературная, тяжебная, имущественная. По самому характеру своей деятельности Кольцовы все время в нее вовлекались. Прежде всего это были дела поземельные, поскольку Кольцовы как прасолы вынуждены были постоянно арендовать пастбища для своего скота и отчасти землю для посевов. Дела такие решались на месте в губернских канцеляриях, то есть главным образом в так называемой казенной палате, а с 1839 года во вновь образованной палате государственных имуществ и отличались чаще всего большой запутанностью. Общая безалаберщина отношений, земельных, юридических, усугублялась характером ведения дел в чиновничьих учреждениях. Наибольшее количество сведений сохранилось об одной кольцовской тяжбе, но она в известной мере проливает свет и на другие.

Так, в 1834 году Василий Петрович арендовал на 12 лет 550 десятин у крепостных крестьян села Большая Приваловка Воронежского уезда. Помещичьи крестьяне там обычно звались барскими, господскими. Крепостными же крестьянами в Воронежской и некоторых других

губерниях часто назывались крестьяне, имевшие владетельные акты, *крепость* на землю, хотя бы с одним двором (однодворцы). Это отличало их от душевых крестьян-общинников. Но далеко не все однодворцы имели владетельные акты. Не имевшие таких актов соединялись правительством в общины, которые наделялись землей по числу ревизских душ (отсюда и название «душевые»). Но и традиция и желание отстоять независимость заставляли собственников не принимать даже официальной отмены их собственности. Объединенные официально в одну землевладельческую общину душевые и бывшие крепостные, ставшие душевыми крестьяне враждовали друг с другом и не признавали никакой законности сделок, коль скоро на них решалась другая сторона.

Кольцов-отец заключил сделку с крепостными. Деньги кольцовские были потрачены (три тысячи из общей арендной суммы в пять тысяч рублей), а земля получена не была. Душевые вошли с протестом в казенную палату. Та вынесла решение, которое не устраивало ни крестьян, ни Кольцовых. Дело перешло в губернское правление, затем в Сенат, в 7-й его департамент, который находился в Москве. Тянувшееся с переменным успехом в течение нескольких лет, оно не было решено к моменту смерти поэта, да, кажется, и вообще уже никогда решено не было, погибнув среди сотен и тысяч других, наводнивших российские канцелярии в уездах, губерниях и столицах.

Кольцов прошел все бюрократические круги, от уездного суда до Правительствующего Сената и обратно. Были и другие дела, менее успешные и более, опять-таки при помощи Жуковского и особенно Вяземского и Одоевского, успешные. В самой губернии Кольцова поддерживали губернаторы: сначала Д. Н. Бегичев, затем, после 1836 года, Н. И. Лодыгин.

«Губернатор наш, его превосходительство Николай Иванович Лодыгин, — пишет Кольцов Жуковскому в декабре 1839 года, — не дает меня съесть людям. Чуть они задумают запутать в своих сетях, я к нему тотчас — и вновь дышу свободно». Именно Жуковский в свое время ходатайствовал за Кольцова перед Лодыгиным. И после отъезда того из Воронежа Кольцов снова обращается за помощью уже к Одоевскому, стремясь, так сказать, обеспечить себе в городе тылы: «Василий Андреевич Жуковский, бывши у нас в Воронеже, просил обо мне нашего губернатора Лодыгина: по его просьбе

Лодыгин был всегда ко мне хорош, делал мне много добра. Кой-какие люди, бог знает из чего, на всяком шагу делали мне неприятности: но под защитою Лодыгина, наконец, делать их мне перестали, и все у нас с ними пошло мирно и покойно.

Теперь Лодыгина нет, а вместо него, как говорят, будет у нас губернатором генерал-майор Молоствов, который был назначен наказным атаманом над оренбургскими казаками. Он теперь еще в Петербурге. Я вас покорнейше прошу, ваше сиятельство, попросить Молоствова, чтобы он меня принял под свою защиту.

Если этого вам сделать будет нельзя, то прошу вас, пришлите мне к нему письмо. Я прошу вас не ради того, чтобы через губернатора выиграть что-нибудь подлым образом, — я не способен на такие штуки, — а чтобы, в случае нужды, я имел возможность пойти к своему начальнику и объяснить: что? и отчего? и чем помочь? Ручаюсь вам наперед, что я вашу рекомендацию собой не очерню».

Правда, действительно назначенный воронежским губернатором Молоствов был уволен, еще не вступив в должность, и Кольцову снова пришлось обращаться к Одоевскому: «Опять я к вам с тою же просьбою, о которой я вас еще весною просил, когда уехал от нас губернатор Лодыгин. Говорили, вместо его будет (забыл уже кто), и я писал вам об нем письмо; дела изменились, и вместо его приехал на губернаторство его превосходительство генерал-майор фон дер Ховен, человек деятельный и умный; об нем-то моя опять к вам просьба: нельзя ли меня познакомить с ним...» Прямые обращения Кольцова к губернаторам и их покровительство, очевидно, раздражали других чиновников. Может быть, уже поэтому он встречал неизменное сопротивление у вице-губернатора (а тот был и председателем казенной палаты), позднее у председателя палаты государственных имуществ. Еще об одном из дел сообщает современник: «Отец Алексея Васильевича нанимал у воронежских однодворцев землю для пастбищ. Однодворцы вместо лугов, назначенных по условию, дали ему неудобную песчаную землю. Отец Кольцова подал жалобу: дело завязалось серьезное, потому что однодворцы, с своей стороны, подали просьбу о взыскании с него двенадцати тысяч рублей за владение землею. Тогда Алексей Васильевич поехал в Петербург, объяснил свое затруднительное положение и справедливость своего иска: правое дело вос-

торжествовало, решение казенной палаты, а потом и Сената последовало в пользу Кольцова».

Некоторые дела Кольцов-младший получил от отца, некоторые начинал и вел сам. Но всегда почти это были дела сложные, конфликтные. Кольцова они занимали постоянно, допекали и выматывали. И в Петербурге и в Москве. Но особенно дома. Здесь-то столичные протежирования подчас чуть ли не мешали. «Дорогой и любезнейший Андрей Александрович! Новые обстоятельства переменили совершенно все задуманные дорогой планы... Письмо, полученное от его сиятельства князя Петра Андреевича Вяземского к нашему вице-губернатору, к удивлению моему, было принято сухо. На это я хотел объясниться; но он, по доброте своей, не хотел выслушать ни слова и, кажется, подумал, что я его получил как-нибудь чрез протекции низкие, по переписке из Воронежа. Хотел разуверить — не успел и не мог, а поскорей убрался за погоду. Боже мой! Как это люди у нас горды и недоступны, вы представить себе не можете. Это не люди, а академические сфинксы... Бога ради, помогите мне в этом случае; попросите еще его сиятельство написать к нему письмо, авось, получшеет».

«Его сиятельство» — это князь Вяземский, которому Кольцов и сам пишет письмо и в тот же день, что и Краевскому: «Ваше сиятельство, Петр Андреевич! Препорученные вами письма в Москву я доставил; их приняли от меня очень ласково, и дело мое тотчас же кончили. <...> Сегодня поутру я доставил последнее письмо нашему виц-губернатору Александру Яковлевичу Мешковскому. Он принял его весьма сухо; от меня не хотел выслушать ни слова и только сказал, что он своего заключения никак не переменит. Где я не думал, там случилось напротив. <...> Если что-нибудь дурно написал, простите, ваше сиятельство: впервой сроду пишу к князю».

Кольцов «впервой сроду» общался с князьями, и разница между общением с ним князей и обращением с ним губернских чиновников, видимо, больно била. К тому же, очевидно, с 1837 года Кольцов-старший передал почти все ведение дел, прежде всего дел бумажных, то есть долговых обязательств, контрактов, векселей, в руки сына. Естественно: тот был умен, грамотен, энергичен и, как показали столичные пребывания 1836 года, с успехом опирался на могучие протекции. Но дел этих было много, росли они как снежный ком, при многообразии

операций, которые вели Кольцовы. К тому же они затеяли постройку огромного по масштабам тогдашнего Воронежа дома, который должен был и действительно вскоре после постройки стал давать существенный доход. В строительство дома тоже вкладывались большие деньги — не менее двадцати тысяч. Вовлеченные во все эти разнообразные операции, Кольцовы, будучи людьми довольно состоятельными, как правило, не имели или имели мало наличных денег: деньги пускались в оборот. Потому даже при большом кредите опасность крупного взыскания при неблагоприятном течении того или иного дела могла обернуться если и не катастрофой, то существенными неприятностями. «Дела мои в совершенном расстройстве, — сообщает Кольцов Краевскому. — После меня (то есть во время отъезда в столицы. — *Н. С.*) отца моего так стеснили взысканием, что он принужден был уехать из дома и жил кой-где более месяца: и товару рогатого купил очень мало». И о том же тому же Краевскому через четыре дня: «Дела мои немножко без меня шли дурно; занимаюсь крепко ими и, бог даст, в месяц надеюсь привести их в порядок. Более расстроило их то дело, за которым я жил в Петербурге. Я вам скучал просьбою: если можно, не оставьте. Мне остается уладить во всем Воронеже с одним виц-губернатором — и все бы могло пойти хорошо; а без вас уладить с ним я не могу, потому что человек весьма дурной, который нашего брата считает ни за грош. Я с ним личности и никогда еще не имел, да бог знает, что-то он ко мне неласков».

Кольцов действительно быстро и энергично за месяц наводит в делах порядок. Уже в июле в письме, обращенном сразу к А. А. Краевскому, Я. М. Неверову и В. В. Григорьеву (петербургский знакомый Кольцова, профессор-ориенталист и цензор), он пишет: «Все хлопочу по делам торговли, которые без меня шли уж очень дурно, — а разлитую воду подбирать с земли не всякому легко. Теперь, слава богу, ход их получшел гораздо. В степи ездил только раз, и то на скорую руку, как баба поет над могилой».

* * *

После возвращения весной в Воронеж Кольцов много пишет еще в одном совершенно оригинальном литературном роде — эпистолярном. Мы обычно думаем только о Кольцове-песеннике, Кольцове-поэте. Между тем он

автор таких писем, которые составляют как бы единую литературную повесть. Кольцов начинает писать письма в 1836 году, во всяком случае, нам известны письма от этого времени.

Конечно, их появление объясняется житейски: установились связи с москвичами и петербуржцами. Но того, что собой представляют письма Кольцова, житейски уже не объяснишь. «Проза со мною еще при рождении разошлась самым неблагородным образом». Это Кольцов пишет Белинскому, оправдываясь по поводу своего «дурного» письма от 3 марта 1836 года. К этому времени, после знакомства, состоявшегося еще в 1831 году, наметилось их сближение («Вы меня приняли довольно ласково; и мне из-за вас Москва показалась гораздо теплее, нежели была прежде»). Тем не менее обращение к Белинскому еще выдержано в своеобразной манере провинциальной куртуазности: «Любезнейший Виссарион Григорьевич! Позвольте вам из Петербурга засвидетельствовать почтение. Я знаю, нынче это не в моде; но я ничего не имею более, как только одно лишь это: почитать людей, которых я душою почитаю». В общем, по гоголевскому слову, — уважение и преданность, преданность и уважение.

Кольцов в первых письмах еще как бы нащупывает свой стиль, который в конце концов оказался очень своеобразным. Позднее, цитируя в статье о Кольцове одно из писем поэта, Белинский отметил: «В этом письме весь Кольцов. Так писал он всегда и почти так говорил. Речь его была всегда несколько вычурна, язык не отличался определенностью, но зато поражал какою-то наивностью и оригинальностью». С тем большим основанием можно было бы теперь сказать, что во всех своих письмах раскрывается «весь» Кольцов.

Называя переписку Кольцова с Белинским истинно драгоценной, Некрасов в 1848 году определяет ее как *любопытнейший памятник рукописной нашей словесности* (курсив мой. — *Н. С.*).

«Не сомневаюсь, Кольцова будут петь, зная или не зная, что это Кольцов. А читать, по-моему, будут даже с большим интересом, чем ныне. И не только стихи, а и ту его великолепную, полную трагизма повесть, которую мы называем эпистолярным наследием Кольцова. Мне кажется, что эти письма, эта сакраментальная проза поэта еще не дошли вполне до широкого читателя. Хотя они обращены столько же к прямым адресатам, сколько

и к читателям будущего». А это сказал наш современник Леонид Мартынов.

Уже в начале XX века писатель и критик В. В. Розанов заявлял, что обычно самое неинтересное в наследии писателей — их письма: все отдано творчеству. Однако реальная картина далеко не столько одностороння, особенно в начале XIX века. Кое-что объясняется литературной, от XVII и XVIII веков идущей традицией письма-послания. Многое связано с синтезирующим характером творчества и самих творческих личностей, стоящих при истоках нашей национальной культуры нового времени. И здесь опять-таки важен Пушкин. Мы уже воспринимаем сейчас пушкинские письма как высокое творчество. Да, собственно, так они и создавались: не простой передатчик информации, а своеобразное произведение искусства, часто со многими черновиками и с удивительно точным и тонким ощущением адресата. Наверное, уже только по пушкинским письмам часто можно реконструировать личности тех, к кому он обращается. Примечательна и готовность Гоголя представить свои письма в качестве самостоятельного литературного произведения («Выбранные места из переписки с друзьями») и вызванное ими письмо Белинского к Гоголю, которое стало одним из самых значительных литературно-политических явлений эпохи.

Конечно, Кольцов в отличие от Гоголя, например, никакого преднамеренного, собственно литературного задания не ставил. Тем не менее его письма, может быть, еще более литературны, ибо с течением времени стали единственной, наряду со стихами и даже тесня последние, сферой, куда устремился духовный мир поэта, особенно когда нашелся настоящий читатель — адресат. Не случайно чуткий, а в 1848 году уже и достаточно опытный редактор Некрасов пишет в связи с судьбой архива только что умершего Белинского о драгоценности писем Кольцова именно к Белинскому. «Весь» Кольцов прежде всего — в них.

Письма Кольцова, а их сохранилось более семидесяти — это его дневник и его художественная проза, его философия и эстетика, его проповедь и — чаще — его исповедь. В общем, его личность. Почти все они пишутся после 1838 года. Не случайно.

Весной 1836 года Кольцов расширил, особенно через Белинского, круг знакомых. Прежде всего это Василий Петрович Боткин, близость с которым сохранится до са-

мой смерти поэта. Сын богатого купца-чаеторговца, введенный Белинским в кружок Н. Станкевича, Боткин со второй половины 30-х годов становится известен в качестве очеркиста и критика, музыкального и литературного. Далее — Михаил Катков, который, очевидно, сразу понял, что за явление этот воронежский прасол. Кольцов, почти всегда с абсолютной точностью устанавливавший истинный характер отношения к себе, в свою очередь, проникся к Каткову большим доверием.

«Я, — позднее вспоминал Катков, — знал Кольцова близко, будучи еще студентом. При всей скудости образования, как много понимал он! Биограф Кольцова (Белинский. — *Н. С.)* имел полное право назвать его натуру гениальною».

Московский студент Михаил Никифорович Катков, будущий издатель «Русского вестника» и лидер правой журналистики и публицистики во второй половине века, в конце 30-х годов был близок кругу Станкевича, много занимался, как, впрочем, и позднее, философией. Именно по катковским конспектам Гегелевой эстетики знакомился с ней Белинский. И как много, оказывается, давали Каткову, этому гегельянцу и философу, беседы с Кольцовым: «Жажда знания и мысли сильно томила его. Никогда я не забуду наших бесед с ним.

Часы, бывало, летели как минуты. Помню я ночь, которую провел у него. Он остановился где-то в Зарядье, в каком-то мрачном и грязном подворье, где я лишь с большим трудом мог отыскать его. Зашел я к нему на минуту, вечером. Он не хотел отпустить меня без чаю. Слово за словом, и ночи — как не бывало. Часто захаживал он ко мне и, засидевшись, оставался ночевать. Живо я помню нашу прогулку в окрестностях Москвы. Мы ходили с ним в Останкино. День был прекрасный. Души наши были настроены так живо, так радостно. Сколько поэзии, сколько звуков было в этом кремне, в этом длиннополом, приземистом, сутуловатом прасоле!..»

Наконец тогда же состоялось знакомство с Федором Николаевичем Глинкой, который, как сообщал поэт Краевскому уже из Воронежа, его «обласкал весьма хорошо».

Поэт Федор Глинка, герой битвы при Аустерлице, Бородинского сражения и заграничных походов 1813—1814 годов, один из первых участников декабристских обществ, с 1835 года жил в Москве, после ссылки в Карелию, последовавшей за 1825 годом. Он уже был ав-

тором популярных песен «Вот мчится тройка удалая» и «Не слышно шуму городского». Он уже написал «Письма русского офицера» и еще впереди были «Очерки Бородинского сражения (воспоминания о 1812 годе)». Очерки выйдут в 1839 году, и Белинский тогда же напишет о них свою знаменитую статью «Очерки Бородинского сражения». Статья эта, как выразившая примирительные настроения критика, скорее печально знаменита, и от многого в ней сам автор со временем отказался. Но недаром же и позднее Белинский, проклиная примирение с действительностью, писал: «Конечно, идея, которую я силился развить по случаю книги Глинки о Бородинской годовщине, верна в своих основаниях, но должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото». Трудно не признать таким «верным основанием» и тезис, с которого статья начинается: «Народ не есть отвлеченное понятие: народ есть живая способность, духовная организация которой, разнообразные жизненные отправления служат к единой цели. Народ есть личность, как отдельный человек». Или: «Дух народа, как и дух частного человека, выказывается вполне только в критические минуты». И вот, стоя на таких основаниях, Белинский называл книгу Глинки народной книгой. Вряд ли случайно и Глинка так «обласкал» первого нашего доподлинно народного поэта.

В ноябре, будучи в Воронеже, Глинка вместе с женой дважды навещает Кольцова, и снова встреча носила теплый характер, во всяком случае, в декабре Кольцов пишет им восторженное письмо: «Сколько радости, сколько удовольствия чувствовал в минуты вашего посещения! Да, может быть, это первые лучшие минуты моей шероховатой жизни, может быть, последние минуты моего земного счастья. Я не говорю, что со мной тогда было, но и теперь, когда думаю: Федор Николаевич и Авдотья Павловна были у меня, вот здесь в доме, вот в этой самой комнате, — и душе вдруг станет что-то грустно и сладко, тепло и отрадно».

Кольцов в письмах часто является как бы поэтом, причем именно народным поэтом, лириком, но и эпиком. Поэтому он не просто позволяет себе то или иное сравнение, но отдается ему, развертывает его в целую художественную миниатюру, как бы самостоятельное произведение. Так и здесь выражение радости по поводу друже-

ского и приятного визита выливается в картину, которая уже отходит от повода, к ней подтолкнувшего: «Тяжело год идет, горою проходит, ляжет на грудь — сердце раздавит. Небесная же радость *птичкой* прилетает, минуту гостит, сладкие песни поет; вспорхнет, улетит, а звучные песни долго в душе раздаются, долго слушает она, и слушать их в душе все бы хотелось. И вот бедные отзывы наших певучих сладких песен». Это и отзывы на стихи Глинки «Перелетная птичка».

Откуда ты, птичка,
Небесная радость?
Где край твой далекий,
В котором ты, прелесть,
Гостишь неотлетно?

Вообще же встречи и беседы с Глинкой носили и явно профессиональный литературный характер: «...Вы изволили говорить: последний стих переменить у пьески «Цветок». Вот этак будет, кажется, лучше:

О, пой, косарь! Зови певицу,
Подругу — красную девицу,
Пока еще, шумя косой,
Не тронул ты травы степной».

Как и в песнях, в письмах своих Кольцов обычно живет с пословицами и в пословицах. Он рассказывает о своей беде, горе, радости, но чаще всего общенародной формулой — русским присловием, и не мертвым, не застывшим, а таким, которое живет, играет, трансформируется. Он, подобно Лихачу Кудрявичу, отбивается поговоркой, отговаривается присказкой, спасается в притче — как бы создает оберег, нанизывая их друг на друга, каждую минуту он может укрыться в них и закрыться ими: «Милый и любезный Андрей Александрович! — пишет он Краевскому, — горькому горькая песенка поется. Прежде, живя в этой жизни, ничем не наслаждаясь, я все думал: «Время наше впереди, будет праздник и у нас! Пусть их живут, а мы еще успеем: потрудимся, поработаем как бог велел, устроимся и пойдем плясать!» Хорошо. Пришла пора, затянул песню и я, да горькую, пошел и в пляс, да не «казачка» в обмитку, а пародию медведя на привязи. Это предисловие к теперешней моей драме. Мой золотой век кончился, я его прожил у вас, между вами, в Петербурге. После все не так, все наперекор: ты от беды ворота на запор, а беда лезет через

забор. Торгую дурно. То дело еще не кончилось: тянут, мучают, жмут и до конца не становят, — хоть бы черт их взял! Что, вам грустно? Вы жалеете обо мне? Не жалейте, это ничего. Захочет — само пройдет! Бог не без милости, казак не без счастья, за ночью день уж должен быть, а ежели захочет ночь его скушать — подавится!»

Кольцов недаром называет «век», прожитый им в Петербурге, «золотым». Он показался «золотым» поэту Кольцову, может быть, потому, что и в целом оказался «золотым веком» русской литературы, русской поэзии. И конечно, прежде всего потому, что это был пушкинский век. «Золотой» недолгий пушкинский век.

ПУШКИН

В феврале 1837 года погиб Пушкин. «Великого не стало, — писал Гоголь. — Вся жизнь моя теперь отравлена. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним... Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу».

Может быть, никто не выразил потрясение России сильнее, чем это сделали три человека: Гоголь, Лермонтов, Кольцов. Может быть, потому что никто сильнее их не ощущал тогда высшей, абсолютной, «божественной» природы такого явления, как Пушкин. «С особенным чувством вспоминал он всегда, — пишет Белинский, — о радушном и теплом приеме, который оказал ему тот, кого он с трепетом готовился увидеть как божество какое-нибудь — Пушкина. Почти со слезами на глазах рассказывал нам Кольцов об этой торжественной в его жизни минуте».

Тургенев вспоминает, как на литературном вечере у Плетнева Кольцов отказался читать стихи: «Я его спросил, зачем он не захотел прочесть свою думу... «Что же это я стал бы читать-с, — отвечал он с досадой, — тут Александр Сергеевич только что вышел, а я бы читать стал! Помилуйте-с!» Кольцов благоговел перед Пушкиным. Мне самому мой вопрос показался неуместным».

В круг Пушкина ввел Кольцова зимой 1836 года Краевский. Во время одной из субботних встреч на квартире у Жуковского, который как наставник наследника жил тогда в Зимнем дворце, Кольцов и был представлен Жуковскому, Вяземскому, Одоевскому... Пушкина в тот вечер там не было, но Пушкин, узнав о приезде Кольцова, просил его к себе. Современник передает рассказ самого Кольцова о его первом визите к Пушкину уже после вторичного (!) приглашения: «Разные хлопоты по делам отца и, как сам Кольцов признавался, какая-то боязнь мешали ему явиться к Пушкину; наконец, получив вторичное приглашение, Кольцов пришел к нему. Это было незадолго (за год. — *Н. С.*) до смерти Пушкина. Кольцов говорил, что вид его был поразите-

лен: худой, черный, со впалыми глазами и со всклокоченными волосами, он работал в своем кабинете. Множество книг и горы рукописей лежали перед ним. Казалось, говорил Кольцов, Пушкин предчувствовал свою близкую кончину и спешил воспользоваться кратким временем, назначенным ему судьбою, трудился день и ночь, никуда не выезжая, и никого к себе не принимал, исключая самых коротких своих друзей. Едва Кольцов сказал ему свое имя, как Пушкин схватил его за руку и сказал: «Здравствуй, любезный друг, я давно желал тебя видеть». Кольцов пробыл у него довольно долго и потом был у него еще несколько раз. Он никому не говорил, о чем он беседовал с Пушкиным, и когда рассказывал о своем свидании с ним, то погружался в какое-то размышление». О чем он беседовал с Пушкиным? — об этом выскажем несколько очень осторожных предположений чуть позднее.

Но уже без всяких предположений можно сказать, что беседы эти произвели на Кольцова впечатление великого откровения.

Встреча с Пушкиным сыграла для Кольцова роль мощного толчка. Ведь как раз пушкинскому кругу, возможно прежде всего Пушкину, и принадлежала идея собирания народных песен, поговорок. Сам Пушкин такой идеей вполне проникается именно в 30-е годы: достаточно вспомнить то отношение, в которое встала к народному опыту и народному творчеству «Капитанская дочка». Недаром Жуковский говорил о том же летом 1837 года в Воронежской гимназии. Краевский, как раз вроде бы ближе всего стоявший к этому делу (ему пишет и для него собирает песни Кольцов), явно играл второстепенную роль простого передатчика. Отсюда и абсолютное равнодушие его к присылаемому Кольцовым «материалу», полное молчание, несмотря на неоднократные просьбы Кольцова об оценках и рекомендациях. Всего скорее Краевскому в роли ценителя народной поэзии и руководителя занятиями ею и сказать-то было нечего.

Гоголь писал после смерти Пушкина о своих литературных делах: «Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно». Всего скорее именно Пушкин заставил и Кольцова «взглянуть на дело серьезно». И на дело общения с народной поэзией, и может быть, особенно на дело образования в целом. Пушкин высоко оценил Кольцова. Есть свидетельства — и прямые и косвенные. Племянник знаменитого поэта-партизана Дениса Давы-

дова (о котором, кстати, зимой 1838 года Кольцов сообщает: «Познакомился с Давыдовым, партизаном, он ко мне хорош».) Владимир Петрович Давыдов, сам писатель, посетовал: «Признаюсь также, что не чувствую всего достоинства поэзии Кольцова, и если Пушкин и Жуковский говорят, что ничего не читали выше его стихотворений, не могу не ставить их самих гораздо выше, но надеюсь, что это до них не дойдет, чтоб не оскорбились мнением, противным своему...» Речь у нас сейчас, конечно, не о местах «выше» или «ниже», а именно о такой пушкинской оценке Кольцова, очевидно, дававшейся: ведь Давыдов пишет о ней как о вещи известной, к тому же обращается не к кому-нибудь, а к Краевскому, которому, как человеку пушкинского круга, она тоже хорошо известна. Автор письма даже намекает на необходимость скромности: «Надеюсь, что это до них не дойдет» (может быть, втайне рассчитывая, что как раз «это до них дойдет»).

При всем том Пушкин, очевидно, был строг и, главное, лишен той снисходительной умиленности, что отличала тогда отношение к Кольцову (поэт из народа) многих литературных людей.

Краевский рассказывал о подготовке второго номера «Современника». «Я с Плетневым отправился к нему (Пушкину. — *Н. С.*) на квартиру и попросил у его жены позволения порыться в его кабинете. Там мы набрали статей и стихотворений и в том числе тетрадь Кольцова, из которой я взял несколько пьес и напечатал во второй книжке «Современника». Возвратясь из Москвы, Пушкин нашел эту книжку уже изданною, пришел ко мне, не застал и оставил записку, в которой благодарил за хлопоты, а при свидании отметил, что некоторые стихотворения Кольцова лучше было бы не печатать».

Кое в чем Краевский, очевидно за давностью времени — рассказ его относится к 1877 году, — ошибается. В «Современнике» было напечатано не несколько, а всего одна «пьеса» Кольцова — «Урожай». Поэтому стихотворения Кольцова, которые, по мнению Пушкина, «лучше было бы не печатать», — это либо некоторые стихотворения, уже напечатанные в сборнике 1835 года и в других журналах, либо стихотворения, предполагавшиеся к напечатанию в «Современнике». Потому-то Пушкин, очевидно, не спешил с их публикацией, что Кольцова, судя по письмам Краевского, очень тревожило. «Пушкин, — по словам Краевского, — всегда отзывался о нем

как о человеке с большим талантом, широким кругозором, но бедном знанием и образованием, отчего эта ширь рассыпается более в фразах».

Может быть, это случайность, но характерно, что как раз в письме-отклике на смерть Пушкина Кольцов заказывает через Краевского книгопродавцу Плюшару «кое-какие книги»: «Сколько денег за них — по присылке тотчас я пришлю. А книги иметь вот какие мне хотелось: новое издание «Отелло, венецианский Мавр» Шекспира, 1836; «Сказания русского народа о семейной жизни его предков» Сахарова, 1836; «Недоросль» Фонвизина; «Новый курс философии» Жеразе, 1836; Руководство к истории литературы соч. А. Вахлера, с немецкого, 2 части; «Двумужница» Шаховского; «Серапионовы братья» Гофмана».

«На столе Кольцова, — вспоминает современник, — подле сочинений Пушкина находились книги духовного содержания; там история вместе с песнями, философия рядом с простыми сказками».

Узнал Кольцов о смерти Пушкина только в марте и тогда же кинулся писать Краевскому. «Добрый и любезный Андрей Александрович! Александр Сергеевич Пушкин помер; у нас его уже более нету! <...> Слепая судьба! Разве у нас мало мерзавцев? Разве, кроме Пушкина, тебе нельзя было кому-нибудь другому смертный гостинец передать? Мерзавцев есть много — за что ж ты их любишь, к чему бережешь? Мерзавка судьба!.. Творец всемогущий света! Твоя воля, твои советы мудры; но непостижим нам твой закон!»

Что-то вроде скрытого «ужо тебе!» совсем непривычно для Кольцова звучит здесь.

Отозвался Кольцов на убийство Пушкина и стихами громадной силы. Сколько было стихов на смерть Пушкина — не счесть. А осталось: «Смерть поэта» Лермонтова и «Лес» Кольцова — поэтов, по сути, одновременно свое поприще начавших и почти враз его закончивших. Два полюса единого мира русской культуры заявили себя здесь, «два мощных голоса, доносившихся с противоположных сторон», как сказал когда-то о них Герцен. Недаром так чуток оказался каждый из них на поэзию другого. Говоря о русских песнях, напечатанных в восьмом номере «Отечественных записок» за 1839 год, Кольцов писал Белинскому: «Чудо как хороши, вот объеденье так объеденье. Я тут подозреваю Лермонтова,

чуть ли не он опять проказит, как в песне про царя Ивана (на самом деле песни сообщены Языковым. — *Н. С.*)». Краевский, близкий Лермонтову и много его печатавший, сообщал, что тот всегда с большой похвалой отзывался о таланте Кольцова.

Именно в совокупности, а никак не порознь стихи Лермонтова и Кольцова определили колоссальный масштаб личности Пушкина.

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

«Невольник» — пленник (прямо и переносно: «невольник чести» — формула из первой пушкинской южной поэмы) и больше: мститель, «гордый человек» Алеко, наконец, Демон, Печорин, — уже герои Лермонтова. «Бова — силач заколдованный» — кольцовский образ. Но и тот и другой оказались приложимы к Пушкину, и то и другое Пушкин вместил.

Так обозначились конечные точки отсчета, границы бесконечно протяженной страны, название которой — Пушкин. Выражают эти определения — «невольник чести», с одной стороны, а «Бова-силач», с другой — и эволюцию поэта Пушкина. Позднее ее чутко воспринял и с большой силой о ней говорил Достоевский. О «примирении» позднего Пушкина писали много. Собственно, Лермонтов первый сказал в своих стихах, что «гордый-то человек» никогда не смирялся в Пушкине. Но этот человек не исключал другого, склонившегося перед правдой народной жизни.

Вот именно это «что-то, — как сказал Достоевский же, — сроднившееся с народом взаправду», может быть, совершенно непроизвольно и тем более несомненно почувствовал и выразил Кольцов. Выпел. Выплакал. 13 марта 1837 года Кольцов писал А. А. Краевскому: «Едва взошло русское солнце, едва осветило широкую русскую землю небес вдохновенным блеском, огня животворной силой; едва огласилась могучая Русь стройной гармонией райских звуков; едва раздалися волшебные песни родимого барда, соловья-пророка...»

Уже здесь речь, еще прозаическая, вплотную подведена к стиху. И действительно, дальше она, как бы не удержавшись, срывается в ритм, в стихи: «Прострелено солнце. Лицо помрачилось, безо́бразной глыбой упало на

землю! Кровь, хлынув потоком, дымилася долго, наполняя воздух святым вдохновеньем недожитой жизни! Толпой согласной соберитесь, други, любимцы искусства, жрецы вдохновенья, посланники бога, пророки земные! Глотайте тот воздух, где русского барда с последнею жизнью текла кровь на землю, текла и дымилась! Сберите ту кровь, в сосуд положите, в роскошный сосуд. Сосуд тот поставьте на той на могиле, где Пушкин лежит». Вслед за этим Кольцов уже прямо говорит стихами:

О, лейтесь, лейтесь же ручьями
Вы, слезы горькие, из глаз:
Нет больше Пушкина меж нами, —
Бессмертный Пушкин наш угас!

Нетрудно видеть разницу между «стихами» в первом случае и стихами во втором. Пожалуй, во втором-то случае и следовало бы поставить кавычки. Ведь соответствия «Лесу» устанавливаются не в этих гладких, ученических ямбах, а в безрифменном амфибрахии, еще изложенном прозой, но народно-песенном по существу. Именно народно-песенная стихия оказалась явственно связана с тем ощущением гения как стихии, которое лежит в основе стихотворения «Лес».

Стихотворение имеет посвящение. Но это не подзаголовок «Пушкин» и даже не «Пушкину», не «посвящается Пушкину», а «Посвящено памяти А. С. Пушкина». Автор, растягивая посвящение, вводя опосредование (памяти), отдаляет нас от возможности прямо аллегорических толкований. Лермонтовскому стихотворению посвящение не нужно: в произведении есть образ самого поэта. У Кольцова нет образа Пушкина, а есть образ леса и нет прямого олицетворения: Пушкин — лес. Отношения здесь бесконечно сложнее, чем в случае с аллегорией, и бесконечно богаче рождаемые ассоциации. Посвящение именно в том виде, в каком оно дано, необходимо входит в состав самого стихотворения, направляя поток ассоциаций, подчас очень отдаленных. И «Лес» — народная песня, и образ, созданный здесь, — образ, характерный для народной поэзии, не в том смысле, что в народной поэзии можно найти аналогии ему (аналогии эти окажутся самыми внешними и приблизительными, типа: «Не шуми, мати зеленая дубравушка...» или: «Ты стой, моя роща, стой, не расцветай...», если обратиться к песням, записанным самим Кольцовым). Связь эта глубже и органичнее. Белинский неизменно называет «Лес» в ря-

ду песен Кольцова, выделяя его, может быть, только по степени значительности.

Лермонтов создал образ индивидуальности, и чуть ли не индивидуалиста (конечно, в высоком, байроновском смысле), Кольцов написал «Лес» — выражение общего, коллективного. Но дело в том, что Пушкин открывал возможность и такого восприятия.

Сам образ леса явился и точным выражением внутреннего отношения Кольцова к Пушкину, и, пожалуй, точным выражением отношения поэзии его к поэзии Пушкина. Кольцов со своей непосредственностью, свободой от литературщины должен был воспринять Пушкина в особой чистоте и цельности. «Лес» свидетельствует, что Белинский не оговорился, когда написал, что Пушкин для Кольцова «божество». Отношение Кольцова к пушкинской гениальности было отношением к «божеству», как к чему-то безусловному. Вообще такой тип восприятия гениальности в искусстве довольно обычен. Пушкин в стихах «К морю» сравнивал Байрона с морем. Но у Пушкина это именно литературное сравнение. У Кольцова нет сравнения. Его образы близки фольклорным антропоморфизациям. В образе леса он нашел выражение той стихийной богатырской мощи, которую он видел в Пушкине. Белинский позднее, сравнивая разные типы народности и гениальности как выражения народности, отметил: «Пушкин поэт народный, и Кольцов поэт народный, — однако ж расстояние между обоими поэтами так огромно, что как-то странно видеть их имена, поставленные рядом. И эта разница между ними заключается в объеме не одного таланта, но и самой народности. В том и другом отношении Кольцов относится к Пушкину, как бьющий из горы светлый и холодный ключ относится к Волге, протекающей большую половину России и поящей миллионы людей... В поэзии Пушкина отразилась вся Русь, со всеми ее субстанциальными стихиями, все разнообразие, вся многосторонность ее национального духа».

Интересны у Белинского сами эти сравнения с явлениями природы поэтического творчества как чего-то органичного и безусловного, возникшие, возможно, не без влияния музы самого Кольцова, который также через образы природы выявляет мощь и многосторонность пушкинского гения. Лес — это стихия, это множественность в единстве. Так должен был ощутить поэтическую силу Пушкина и Кольцов — выразитель лишь одного начала, поэт,

которого «могучий талант, — как говорил Белинский, — не может выйти из магического круга народной непосредственности». В другом месте критик называл этот круг «заколдованным».

Но, воплощая принципы народно-поэтического творчества, Кольцов уже как профессиональный литератор доводит их до совершенства.

Композиция «Леса» трехчастна. Трехчастность эта четко определена трижды возникающим вопросом, приобретающим и характер вступления, лирического причета-плача. Лишь в самом начале вопрос повторен дважды. Это в полной мере соответствует тому значению, которое приобрела в рамках первой части (пять строф) первая строфа, заключающая в зерне, по сути, уже все стихотворение. Это интродукция, увертюра, в сжатом виде содержащая основные темы всей, подлинно богатырской, симфонии и основную разработку:

Что, дремучий лес,
Призадумался,
Грустью темною
Затуманился?

Здесь в особой концентрированности можно найти зародыши всех трех литературных родов. И лирику: вопрос-запев, и эпос — с образом дремучего леса, и драматическую коллизию: лес — туча-буря, хотя последняя намечена еще только музыкально.

Уже здесь определяется вся сложность образа леса — образа многоассоциативного, уже здесь выявляется сложное взаимодействие двух начал: человеческого и природного, одушевленного и неодушевленного, причудливая игра и взаимопереходы смыслов, каких народная поэзия с ее прямыми одушевлениями не знает.

Вот почему поэт, называя привычное — «дремучий лес», — сразу же разрушает этот образ и создает его заново. «Призадумался» — уже одушевленно, хотя еще тоже одушевленно привычно. И поэт подкрепляет эту одушевленность, усиливает, обновляет и индивидуализирует «грустью темною». Он создает целостное впечатление леса-человека, где лес не остается только лесом, но и собственно человеком, как было бы в аллегории, не становится.

Кстати, о рифме. Белинский писал: «Дактилическое окончание ямбов и хореев и полурифма вместо рифмы, а часто и совершенное отсутствие рифмы, как созвучия сло-

ва, но взамен всегда рифма смысла или целого речения, целой соответственной фразы, — все это приближает размер песен Кольцова к размеру народных песен». И в первой строфе «Леса» рифма «призадумался — затуманился» есть рифма смыслов, но и интереснейшая внутренняя рифма.

Вторая строфа вводит и прямо человеческий образ — Бовы. Вообще в стихотворении есть три плана, три образа: лес — Бова — Пушкин. Два из них названы. Третий все время лишь угадывается. С ним все соотносится, но он непосредственно ни разу не возникает. Он выявляется через взаимодействие двух первых. «Образ» Пушкина создается не прямо через взаимодействие образов лес — Пушкин, а через взаимодействие образов лес — Бова, как представительствующих за него, сменяющих друг друга, соревнующихся за право такого представительства. Очеловечивая лес, образ Бовы тем необычайно приближает нас к другому, неназванному человеку, к Пушкину, но и отделяет от него и отдаляет, оказываясь новым опосредованием.

Образ Бовы не был Кольцовым произвольно отнесен к Пушкину. «Сказку о славном и храбром богатыре Бове» он от самых ранних лет хорошо знал. Знал ее и Пушкин, в юности ей подражавший, а в зрелые годы позаимствовавший у нее имена для своих сказочных героев — и Салтана, и Гвидона, и Додона.

Этот герой старинной итальянской рыцарской повести, ассимилированный русским народным сознанием, сообщает песне эпический размах, переводит песню в песню-былину, в песню-эпос.

Что Бова-силач
Заколдованный,
С непокрытою
Головой в бою...

Музыкальные стихии властвуют и в этом произведении Кольцова. Они не только выражают тему, но и упреждают ее. О богатырстве Бовы со всеми традиционными приметами витязя (плащ, шлем) еще будет сказано, но уже и в приведенной строфе цельная, буквально литая фигура богатыря создается за счет целостного звучания.

Получает музыкальное, а не только смысловое развитие и образ «тучи-бури», лишь намеченный в первой строфе («задумался — грустью — затуманился» — тревожное гудение на *у*), и опять-таки он развивается в

драматической борьбе с другим началом: богатыря, витязя, ратника. Это другое сквозное фонетическое начало — *ра* — открывает тему и завершает ее:

Ты стоишь — поник,
И не ратуешь
С мимолетною
Тучей-бурею?

Густолиственный
Твой зеленый шлем
Буйный вихрь сорвал —
И развеял в прах.

Плащ упал к ногам
И рассыпался...
Ты стоишь — поник,
И не ратуешь.

Что касается смыслового наполнения образов, то образ врага создан тоже в традициях народной поэзии, хотя появление столь характерного для этой поэзии составного «туча-буря» имеет импульс чисто литературный. В первопечатном виде стихотворению был предпослан эпиграф из Пушкина: «Снова тучи надо мною Собралися в тишине. Рок завистливый бедою Угрожает снова мне». Вряд ли случайно эпиграф был снят. С ним стихотворение начинало приближаться к прямой аллегории.

Вторая часть стихотворения тоже начата с вопроса. Вновь возникший вопрос и усилил лирическую взволнованность, и сообщил новую высоту теме богатырства. Слова Белинского о богатырской силе кольцовского «Леса» можно истолковать и буквально — здесь создан образ богатыря:

Где ж девалася
Речь высокая,
Сила гордая,
Доблесть царская?

Трехкратность определяет все в этом произведении. В разработке ее Кольцов одной стороной сближался с народным творчеством (трижды возникающий вопрос, например), другой он выходил к сложной трехчастной композиции, к сонатной форме. И если первая часть о поверженном герое — часть траурная, то вторая — мажорная, торжественная. Необычная грамматическая форма вступления «где ж девалася» — оказалась очень к месту. Само по себе это употребление «где» в значении «куда» —

особенность южнорусских говоров. Кольцов широко пользовался местными словами, просторечиями, подчас очень локальными. Немало их и в «Лесе», но — замечательная особенность — здесь сами просторечия употреблены лишь тогда, когда они, так сказать, всероссийски понятны. Таковы «непогодь», и «безвременье», и «прохлаждаются». Собственно рязанское «маять» («маял битвами») известно и другим говорам. Все это создает непередаваемый народный колорит, как и «мочь зеленая», например, которая не просто синоним мощи и, конечно, не привычное «моченька», а как бы объединение того и другого.

В том же ряду располагается и определение: «шумный голос». Оно прямо связано с особенностью южнорусских говоров, где обычно употребление «шуметь» в значении «звать», «кричать». Однако у Кольцова за счет общего контекста (это же «лес шумит») оно получает особый эстетический смысл, и в результате оправдывается, пожалуй, даже и литературной нормой. Такова и форма «где ж девалася», которая самой своей необычностью, как бы архаичностью, задерживает, останавливает, настраивает на тему, готовит «большой царский выход».

Отсюда же и торжественная трехкратность определений («речь высокая, сила гордая, доблесть царская»), связанная и с традицией народной поэзии, и с традицией трехчленных молитвенных формул. И опять-таки троекратно будет повторено «У тебя ль, было...»:

У тебя ль, было,
В ночь безмолвную
Заливная песнь
Соловьиная?..

У тебя ль, было,
Дни — роскошество, —
Друг и недруг твой
Прохлаждаются?..

У тебя ль, было,
Поздно вечером
Грозно с бурею
Разговор пойдет.

«Пушкин — наше все» — тема этой второй части: день и ночь, любовная песня и боевой гимн, «не для житейского волненья» и «в мой жестокий век восславил я свободу». Одинаковость трехкратных по канонам народной поэтики вступлений и объединяет все строфы, и

каждый раз рождает новую картину, получающую разное музыкальное выражение.

Первая: ночная песнь, вся мелодия которой определяется сонорными, возникающими на волне широко и свободно льющихся гласных:

У тебя ль, было,
В ночь безмолвную
Заливная песнь
Соловьиная.

Иное — день: все другие звуки оттеснены шипящими, которые здесь хочется назвать шипучими. Это как бы пушкинское «шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой», переведенное народным — «прохлаждаются»:

У тебя ль, было,
Дни — роскошество, —
Друг и недруг твой
Прохлаждаются?..

И наконец, вступает грозным рокотом третья тема — борьбы.

У тебя ль, было,
Поздно вечером
Грозно с бурею
Разговор пойдет.

Эта тема — главная. Она недаром заняла подряд шесть строф. Здесь богатырство нашло прямое и подлинное выражение:

Распахнет она
Тучу черную,
Обоймет тебя
Ветром-холодом.

И ты молвишь ей
Шумным голосом:
«Вороти назад!
Держи около!»

Закружит она,
Разыграется...
Дрогнет грудь твоя,
Зашатаешься;

Встрепенувшися,
Разбушуешься:
Только свист кругом,
Голоса и гул...

Буря всплачется
Лешим, ведьмою, —
И несет свои
Тучи за море.

Вся сцена битвы разработана в традиции народной поэтики. Здесь и образы прямо сказочные («лешим», «ведьмою»), и характерные составные («ветром-холодом»), и простонародные реченья («обоймет»), наконец, удалой, ямщицкий крик: «Вороти назад! Держи около!»

Каждая из этих шести строф несет тему либо леса (первая, третья, пятая), либо бури (вторая, четвертая, шестая): он, она, он, она, он, она. Идет грозный диалог, столкновение. Идет борьба: леса и бури, тьмы и света, добра и зла, но именно борьба, борьба равных, с переменным успехом, взаимными одолениями, наконец, с апофеозом и торжеством победителя.

Третья часть снова начата с вопроса:

Где ж теперь твоя
Мочь зеленая?
Почернел ты весь,
Затуманился...

Третья часть — финал, итог, разрешение, «гибель богов». Недаром последний вопрос заключает в себе и вопрос второй части («где же девалася») и возвращает к вопросу первой с его «затуманился».

Одичал, замолк...
Только в непогодь
Воешь жалобу
На безвременье.

И слово «безвременье» на этом звуковом фоне приобретает особую выразительность. Безвременье, осень — это мотивировка, объяснение, путь к выводу. И выводы появляются, итоги подводятся. Опять мы максимально приближены к главному, но не названному герою, максимально потому, что это последнее объяснение.

Так-то, темный лес,
Богатырь Бова!
Ты всю жизнь свою
Маял битвами.

Не осилили
Тебя сильные,
Так дорезала
Осень черная.

Опять внутренней рифмой человеческий и пейзажный планы музыкально слиты. И лишь «дорезала» окончательно очеловечивает картину. Убийство у Лермонтова: «его убийца» вместо первоначального «его противник». Убийство у Кольцова: «дорезала» — разбой. Здесь есть проникновение в судьбу поэта и поэтов. Через несколько лет в коротенькой строчке частного письма Кольцову придется сказать то же о Лермонтове. За лермонтовской гибелью не последовало ничьей новой «Смерти поэта». И кажется, никто не сказал о ней короче и сильней Кольцова: «Лермонтова у нас убили до смерти». Это же формула-образ, вместивший всю судьбу Лермонтова, то, что его гнали всю жизнь и, наконец, загнали, и не просто убили, а убивали, убивали и, наконец, убили — до смерти.

В одном из писем Кольцов передает разговор своих сестер, как бы предрекая будущий герценовский мартиролог и уже почти определив свое в нем место: «Станкевич помер, Сребрянский тоже, Пушкин застрелился, Марлинского убили: да и нашему молодцу несдобровать». «Пушкин, — напишет через десять лет после этого Герцен, — убит на дуэли, тридцати восьми лет, Лермонтов убит на дуэли, тридцати лет, на Кавказе, Веневитинов убит обществом, двадцати двух лет, Кольцов убит своей семьей, тридцати трех лет». Мы увидим, что в жизни все было отнюдь не так просто: «убит своей семьей». Но, во всяком случае, в народно-поэтических образах «Леса» у Кольцова выражен тот же смысл, что и в политических обличениях Лермонтова:

Знать, во время сна
К безоружному
Силы вражие
Понахлынули.

Воскресает старая народная легенда (она бытует не только у славян, но в романском и германском эпосе) об убийстве безоружного спящего героя, не случайно использованная Кольцовым. Ведь именно здесь абсолютно сильный оказывается абсолютно бессильным. Отсюда эти антонимичные образы:

С богатырских плеч
Сняли голову —
Не большой горой,
А соломинкой...

Гений абсолютно силен, как никто, в жизни, в бою, в творчестве, для него абсолютно исключены дела низости и коварства — это не его стихия. Повторяется история пушкинского Моцарта.

В «Лесе» Кольцова немало многоточий. Они создают своеобразное силовое поле, воздух произведения, как бы отпускают на свободу наши ассоциации, открывают возможность для выхода дум и чувств за рамки произведения. Многосмысленно и последнее многоточие. Оно не завершает, не замыкает наше чувство в пределах стихотворения, дает ему продолжение, дает выход горечи, вопросу, недоумению, Вечному недоумению...

ВОРОНЕЖ И СТОЛИЦЫ. ДУМЫ

Но весной 1837 года еще не был застрелен и был едва известен Лермонтов, были живы Станкевич и Серебрянский, и Марлинского убьют только через два месяца, в июне. А отношения в семье Кольцовых будут мирны и благополучны.

Благополучны, потому что хлопотами высоких друзей дела постоянно более или менее устраивались. Мирны, потому что старик отец, хозяин, такие вещи, конечно, ценил.

К тому же летом 1837 года произошло событие, которое очень подняло поэта и в глазах семьи, и в глазах всего воронежского общества. В городе открывалась большая выставка сельскохозяйственных продуктов и изделий мануфактурного производства. Осенью на нее приезжал император, несколько раньше императрица, а первым в ряду монарших посещений был приезд наследника.

Будущий царь Александр II прибыл в Воронеж в сопровождении своих наставников: К. И. Арсеньева, автора известного в свое время учебника по географии, профессора, будущего академика, и поэта В. А. Жуковского. В дневниках Жуковского сохранились записи: «6 июля. Пребывание в Воронеж. В 5 часов с Кольцовым. 7 июля. Кольцов у меня».

«Седьмого июля, — пишет уже Кольцов Краевскому, — был у нас в Воронеже дорогой гость, великий князь, и с ним Василий Андреевич Жуковский. Я был у него, он меня не забыл. Ах, любезный Андрей Александрович, как он меня принял и обласкал, что я не нахожу слов всего вам пересказать. Много, много, много — и все хорошо, прекрасно! Едва ли ангел имеет столько доброты в душе, сколько Василий Андреевич. Он меня удивил до безумия. Я до сих пор думаю, что это все было во сне, да иначе и думать невозможно».

Очень сомнительно, чтобы Кольцов позднее или раньше, то есть в 1836 году, был представлен царю, хотя старый биограф поэта М. Ф. де Пуле и писал в свое время:

«Будет достаточно указать на тот важный факт, что благодушный Жуковский представил нашего поэта-прасола покойному государю (то есть Николаю I. — *Н. С.*)... нам неизвестны подробности этого представления, но оно считалось фактом в кружке приятелей Неверова (сообщено Я. М. Неверовым)».

Всего скорее «подробности неизвестны», потому что и указать на этот «важный факт» трудно. Кроме глухого отсылочного к Неверову упоминания, за него не говорит ничего. Да и это упоминание ничего не говорит, так как сам-то Неверов был в то время, к которому де Пуле относит представление Кольцова царю, за границей, и позднейшее его письмо-сообращение полно ошибок. Вероятно, должен же был он, этот факт (все-таки знакомство с царем), хоть как-то отозваться в переписке Кольцова. К тому же сопровождались такие представления с поднесением сочинений представляемого и некими внешними знаками монаршей милости: какой-нибудь перстень, скажем. А тут — ничего.

Тот же де Пуле писал: «Если представление Кольцова государю Николаю Павловичу (через Жуковского) считать фактом, то представление его наследнику цесаревичу, в Воронеже или Петербурге, тем менее может подлежать сомнению». Однако и этот факт, во всяком случае, что касается Воронежа, вполне может подлежать сомнению.

Наследник был в Воронеже всего двое суток. Официальная программа (знакомство с городом, достопримечательностями, смотр квартировавшей тогда в Воронеже драгунской дивизии), конечно, заняла все время. И, естественно, ни о каком представлении себя цесаревичу Кольцов не упоминает, а уж Краевскому-то он должен был бы об этом сообщить. Жуковский же был освобожден или в большой мере был освобожден от официальных церемоний. Отсюда и записи в его дневнике: «Рисовал. Сад Петра. Дубовая роща».

И это свое свободное время он прежде всего уделил Кольцову. «Он меня удивил до безумия», — пишет Кольцов. По-видимому, удивил, тем более что в Воронеже Жуковский уже не просто частный хозяин литературного салона, как то было в Петербурге, но наставник наследника престола, официальное лицо его свиты, генерал.

Тем не менее именно неофициальность и теплоту Жуковский всячески обнаружил и подчеркнул. Так, на следующий день после официального посещения Воро-

нежской гимназии он снова, уже неофициально, приехал в гимназию и долго беседовал с учениками и с учителями. Особо он говорил о Кольцове и просил гимназических педагогов о помощи поэту в его образовании. «Весь город, — вспоминает де Пуле, тогда ученик третьего класса Воронежской гимназии, — изумлялся тому, что было у всех на глазах. Удивлялся всему и гимназический мир (учителя и ученики), удивлялся совету Жуковского, данному Кольцову, — собирать песни и сказки: совет этот назад тому сорок лет поражал даже образованных людей, по крайней мере провинциальное большинство».

И конечно, было поражено кольцовское семейство: «Приезд наследника произвел большой переполох в семье Кольцовых. Квартира его высочества была в доме губернского предводителя дворянства (В. В. Тулинова), находящемся на той же улице, где и дом Кольцовых. В самый день приезда цесаревича является к Кольцовым жандарм и требует к губернатору Алексея Васильевича. Семья нашего поэта страшно перепугалась, но этот испуг сменился восторгом, когда объяснилось, в чем дело, — когда узнали, что Алексея Васильевича просил к себе Жуковский, встретивший его чрезвычайно ласково... Все свое свободное время Жуковский проводил с Кольцовым. Он был у него в доме, познакомился с семьей, пил чай. Весь город видел, как знаменитый поэт и воспитатель наследника престола прогуливался (пешком и в экипаже) по городу вместе с поэтом-прасолом, где и над чем они останавливались, где присаживались для отдыха, как, например, на Острожной горе, с которой открывается прекрасная заречная панорама».

Все это — правда, если исключить посещение дома, знакомство с семьей и чаепитие. Но если даже литератор-биограф впадет здесь в некоторые восторженные преувеличения, то в сознании простых людей с течением времени сложилось подобие сказки, любопытной как раз типично народной расстановкой акцентов: сам Кольцов в ней — что-то вроде до поры до времени никем не знаемого — не то Иванушки-дурачка, не то Ивана-царевича. По сказочному канону развивается и действие, соответственно ведут себя и говорят герои. Был записан такой рассказ — ответ на вопрос о Жуковском: «Это о том, что приезжал с государем, когда он был маленьким? Как же, помню! Вот этот самый Жуковский и спрашивает Василья Василича Тулинова — он тогда был губернским предво-

дителем: — Покажите мне, говорит, Кольцова. — А его, Алексея-то Василича, тогда никто не знал. — Какого Кольцова? — спрашивает Василий Василич. — Есть у нас, говорит, Кольцов, который скотом торгует. — Я, говорит Жуковский, не скоту говорю и не о скотах, тебе говорю!.. Делать нечего — послали жандарма и привели Алексея Василича. А он был тогда так себе, простой: в длинном сюртуке, волосы в скобку, вот как у меня. Как пришел Алексей Василич, а гостей у Жуковского страсть! — А, друг мой, Алексей Василич! — и сейчас его в кабинет, а гостям и говорит: ну, мне теперь не время, приходите завтра. Долго они промеж себя разговаривали. Жуковский хотел было вести его к государю, но Алексей Василич отговорил его. А потом они сели в коляску и поехали по присутственным местам. Ну, тут же узнали все Алексея Василича, весь город. Да что и говорить!»

Да и сам Кольцов сообщает об этом как о почти сказочном действе: «Не только кой-какие купцы и даже батюшка не верил кой-чему; теперь уверились». Даже ведь и вице-губернатор не верил «кой-чему», тому, что, скажем, за Кольцовым стоял П. А. Вяземский и что письмо от князя получено Кольцовым прямо, а не как-нибудь «чрез протекции низкие», — по выражению самого Кольцова.

Между тем житейские дела шли своим чередом, торговые связи и отношения путались и переплетались, рождались новые сложности и обязательства. Многое требовало решения.

* * *

В декабре 1837 года Кольцов отправился по проторенной дороге в столицы: вельможные покровительства себя очень оправдывали. В деле поездки желания отца, имевшего в виду новые ходатайства сына, вполне совпадали с желаниями сына, имевшего в виду уже отнюдь не одни ходатайства.

Почти полгода прожил Кольцов сначала в Москве, потом в Петербурге и снова в Москве. Уже в июне по возвращении домой он напишет Белинскому: «Эти последние два месяца стоили для меня дороже пяти лет воронежской жизни». «Последние два месяца» обращены, собственно, к Белинскому, но, если уж говорить об арифметике, то

в таком случае можно было бы сказать, что шесть месяцев столичной жизни стоили пятнадцати лет воронежской. Конечно, дело не в арифметике, она здесь лишь образ той необычной концентрированности в духовной жизни, которую второй раз пришлось после 1836 года пережить Кольцову. Трудно назвать какое-нибудь яркое художественное явление этого времени в литературе, музыке или живописи, мимо которого прошел бы приехавший в столицы по торговым делам воронежский прасол. Кажется, нельзя вспомнить ни одного более или менее примечательного деятеля литературно-интеллектуальной жизни из бывших в ту пору в столицах, с кем бы Кольцов в свои последние годы и в те месяцы этих годов, которые жил он в столицах, не общался, не разговаривал, не спорил, не переписывался.

Январь 1838 года проведен Кольцовым в Москве. Снова расширяется круг знакомств. Любопытно, что и поэт тянется к людям философского склада ума, и они к нему тянутся. Так было чуть раньше с Михаилом Катковым, так происходит в эти зимние месяцы с Михаилом Бакуниным. А конец тридцатых годов для этих москвичей — время напряженных философских штудий, усиленно осваивается Гегель, конспектируется, переводится, обсуждается. Герцен позднее назовет это «отчаянным гегелизмом».

При всей скудности школьного образования Кольцов был замечательно глубокой философской натурой. И в этом смысле у него много общего с Белинским. То, что Белинский не окончил университета, конечно, сдерживало характер его философских занятий (здесь прежде всего требовалось знание немецкого), но в конце концов не помешало ему стать в центре философской жизни своей эпохи, если не всего девятнадцатого века. Может быть, даже гелертерское штудирование, в иных случаях, конечно, необходимое, помешало бы широте воззрений, которая отличала нашего великого критика, свободе от той или иной системы в узком смысле этого слова, удивительной гибкости и одновременно цельности его воззрения на мир.

Станкевич, Катков, Бакунин, Боткин, Белинский, В. Одоевский видели в Кольцове глубокий и оригинальный философский ум. Наибольшую сдержанность здесь должны были проявить и проявили только Аксаковы, то есть прежде всего Константин, будущий «передовой боец славянофильства», как назвал его когда-то про-

фессор С. А. Венгеров. Хотя это как раз тоже говорит в пользу оригинальности, смелости ума Кольцова и его самостоятельности.

На первый взгляд уж кто-кто, а славянофилы-то, пусть даже будущие, казалось бы, должны были на руках носить Кольцова и пропагандировать его поэзию. Между тем не случилось ничего подобного. О нем пишут Белинский и Добролюбов, Салтыков-Щедрин и Писарев, но молчат и Аксаковы, Иван и Константин, и Киреевские, Петр и Иван, и Юрий Самарин.

Молчат, кажется, именно потому, что Кольцов отнюдь не был тем простодушным простаком-прасолом, «типичным» человеком из народа, которого умудрялись видеть в нем или не очень задумывающиеся над сутью дела литераторы средней руки или те люди, которых сам Кольцов не предполагал выводить из заблуждений на этот счет. «Кольцов здесь, — сообщает А. И. Тургеневу из Петербурга князь П. А. Вяземский, — дитя природы, скромный, простосердечный». Впрочем, Вяземским это писалось при первой встрече с Кольцовым в самом начале 1836 года. Ко времени знакомства с Аксаковыми в 1838 году Кольцов во многом изменился.

Умный К. Аксаков, вероятно, увидел в Кольцове отнюдь не «дитя природы», но самостоятельного человека со своими взглядами, явно чуждыми многим из его собственных. Из чего это видно? Ведь переписки нет. Сохранилась, правда, одна записка Кольцова к К. Аксакову от 1841 года: «Любезный Константин Сергеевич! Жалею, очень жалею, что вчера вы были у меня и не застали. Я был в театре. Но моя ли вина, скажите? В Москве я живу один, и вы — отчего бы вам не прислать с утра весточку, и я был бы дома. Ну а без этого нет во мне мысли предвидеть несделанное. Когда вам угодно быть у меня, то прошу поступить так. Я скоро еду. Уважающий вас Алексей Кольцов». Записка по тону вежливо сдержанная. Но сухость тона вроде бы бытовой записки, очевидно, есть и отражение общих вежливо сдержанных отношений.

И. Аксаков подтверждает: «В переписке с братом моим он не состоял... Личных отношений, вне литературы, равно как и личной симпатии друг к другу у них не было, хотя не было и антипатии. Я был мальчиком лет 12, когда видел Кольцова у нас дома за большим обедом... Кольцов не произвел на меня приятного впечатления: напротив, его взгляд исподлобья мне не понравился, и мы дома

о том толковали». Но толковали, видимо, не только о не вызывавшей симпатии внешности.

Вот, например, вероятный пункт принципиальных разногласий: Москва и Петербург.

Славянофилы, еще даже не став славянофилами в собственном смысле, в том, о каком мы говорим о них с начала 40-х годов, неизменно противопоставляли «русскую» Москву как хранительницу исконных патриархальных начал «европейскому» Петербургу как созданию, чуждому национальной жизни. Полемические баталии развернутся в основном в 40-е годы, когда Белинский в пику славянофилам напишет и в 1844 году напечатает в сборнике «Физиология Петербурга» очерк «Петербург и Москва». Споры продолжатся и позднее, родят обильную и разнообразную литературу, вплоть до сатирической «Дружеской переписки Москвы с Петербургом» Некрасова и Добролюбова, направленной как против славянофилов, так и против либерального краснобайства.

Защищая Петербург в качестве явления и результата прогресса именно русской жизни, Белинский писал, указывая как раз на его оригинальность и самобытность: «...Петербург оригинальнее всех городов Америки, потому что он есть новый город в старой стране, следовательно, есть новая надежда, прекрасное *будущее* этой страны. Что-нибудь одно: или реформа Петра Великого была только великою историческою ошибкою, или Петербург имеет необъятно великое значение для России. Что-нибудь одно: или новое образование России, как ложное и призрачное, скоро исчезнет совсем, не оставив по себе и следа, или Россия навсегда и безвозвратно оторвана от своего прошедшего. В первом случае, разумеется, Петербург — случайное и эфемерное порождение эпохи, принявшей ошибочное направление, гриб, который в одну ночь вырос и в один день высох; во втором случае Петербург есть необходимое и вековечное явление, величественный и крепкий дуб, который сосредоточит в себе все жизненные соки России». И далее: «...Как будто город Петра Великого стоит вне России и как будто исполин Исаакиевской площади не есть величайшая историческая святыня русского народа...» Но все это пишется уже в середине 40-х годов.

Кольцов внедряет такие мысли в Белинского в конце 30-х. «Москвич» Белинский, тогда еще очень близкий «москвичам» Аксаковым, с тревогой смотрел на свой переезд в Петербург. Кольцов не только берет на себя организационные хлопоты, ведет переговоры с И. И. Панае-

вым, с Н. А. Полевым, с А. А. Краевским, но является и, так сказать, идейным побудителем к такому переезду.

Самый факт переселения Белинского в Петербург в общем идеологическом контексте времени переставал быть простым житейским переездом, только сменой места жительства. Кольцов, всячески толкавший Белинского к нему, это понимал и в этом убеждал, судя по всему, продолжая в письмах многие на эту тему разговоры и преодолевая сопротивление: «В Петербург вы едете — не только это хорошо; но вам нужно быть там. Пусть он на первый взгляд вас не очень ласково примет, пусть многие будут на вас смотреть подозрительно, пусть будут говорить и то и се... Бог с ними! Ничего не сделают. Вся их выгода в одном: иногда нанесут на первый раз неприятностей, и то легких. Пусть их отуманят утро, а оно все-таки разведрится опять, и солнышко засветит в нем роскошней прежнего и блистательней. <...> «Ты, царь, живи один» — святая правда, и ваш девиз она. Но Эрмитаж, но Брюллов, но весь Петербург снаружи даже, Нева, море сто́ят гораздо больше, и может быть, года через два за границу к Гоголю, в Италию. Надо быть в Италии и Германии, непременно надо; без того вам умереть нельзя».

Сам Белинский по переезде в Петербург был настроен еще очень промосковски и не скрывал того, как Петербург его раздражает. Видимо, писал об этом и Кольцову. Кольцов или получал такие раздраженные письма, или догадывался о состоянии Белинского. Письма Белинского Кольцову не сохранились, но настроение его в эту пору хорошо раскрывается в письме Боткину от 22 ноября 1839 года. Пересылая это письмо с художником Степановым, он просит, чтобы Боткин принял Степанова по-человечески и по-московски, что для Белинского тогда, видимо, одно и то же: «Да, и в Питере есть люди, но это все москвичи, хотя бы они и в глаза не видали белокаменной. Собственно Питеру принадлежит все половинчатое, полуцветное, серенькое, как его небо, истершееся и гладкое, как его прекрасные тротуары. <...> Питер имеет необыкновенное свойство оскорбить в *человеке* все святое и заставить в нем выйти наружу все сокровенное. Только в Питере человек может узнать себя — человек он, получеловек или скотина: если будет страдать в нем — человек: если Питер полюбится ему — будет или богат, или действительным статским советником. Сам город красив,

но основан на *плоскости* и потому Москва — красавица перед ним».

Письмо Кольцова звучит почти как спор с подобным письмом.

«В Питере вы — час добрый, жить-поживать припеваючи! Каков Петербург? Сер, и воздух мутен, и дни грустны? На первый раз он кажется для всех таков, а обживешься в нем — и получшеет, и чем дальше, тем лучше да лучше, а наконец и вовсе полюбится этот русский богатырь — Питер городок. Конечно, дальше в лес — больше дров: Германия, Италия, я думаю, другое дело. Но пока нам туда грязен путь, хорошо и в Питере побрататься с нуждой».

Конечно, Кольцов, мечтающий об Италии и Германии и называющий Петербург русским богатырем, должен был тех же Аксаковых раздражать.

Но еще более Аксаковых должен был раздражать, как это на первый взгляд ни странно, самый тип кольцовского творчества. Приведем еще одно свидетельство Ивана Аксакова: «Брат же мой Константин Сергеевич, страстный поклонник народного поэтического творчества, не любивший литературно-народной поэзии, т. е. поэзии литературной с приемами и ухватками «маненько-мужицкими» — народность, возведенная или низведенная в genre (жанр. — *Н. С.*) была ему противна». Здесь противостояние намечалось принципиальное.

Совершенно особое место, особенно после напечатания своего «Философического письма» в интеллектуальной общественной, да и в бытовой жизни Москвы, занимал в конце 30-х — начале 40-х годов П. Я. Чаадаев. По известному слову Пушкина, могущий быть Брутом в Риме и Периклесом в Афинах, в России к тому времени он не был даже и офицером гусарским.

«Печальная и самобытная фигура Чаадаева, — свидетельствует хорошо его знавший Герцен, — резко отделяется каким-то грустным упреком на линючем и тяжелом фоне московского Righ life. Десять лет стоял он, сложа руки, где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и — воплощенным veto, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него, капризничал, делался странным, отчуждался от общества, не мог его покинуть, потом сказал свое слово, спокойно спрятав, как прятал в своих чертах, страсть под ледяной корой. Потом опять умолк, опять являлся капризным, недовольным, раздражитель-

ным, опять тяготел над московским обществом и опять не покидал его. Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе: они, бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения... Чаадаев не только не делал им уступок, но теснил их и очень хорошо давал им чувствовать расстояние между им и ними». Отверженный правительством человек этот в московском обществе, по замечанию И. Аксакова, принимал поклонение себе как кумиру.

Между тем Кольцову с Чаадаевым явно было и не «неловко» и не «не по себе». Ни Чаадаев не смотрел на Кольцова с того пьедестала, с которого смотрел он на московский свет, ни Кольцов не подходил к Чаадаеву как к кумиру. Во всяком случае, Кольцов сообщает в 1841 году Белинскому из Москвы о посещении Чаадаева «запросто». «На днях был я у Чаадаева: он говорил как-то к речи слово, что у вас в «Наблюдателе» или «Телескопе» была напечатана ваша статья о Пушкине и что он ее показывал ему. Пушкин прочел с большой охотой и после прислал ему номер «Современника», просил передать вам, не сказывая, что он его прислал нарочито для вас».

Разговоры поэта с Чаадаевым, как видим, носили характер простой, откровенный и доверительный. Видимо, таким отношением мы обязаны и сообщением, сделанным между прочим («к речи слово»), о факте для нашей культуры чрезвычайном: Пушкин, обративший свой пристальный взор на молодого критика и ищущий к нему путей. Его достоверность подтверждается и письмами самого Пушкина к П. В. Нащокину. Для Белинского, мы знаем, факт этот станет на всю жизнь предметом особой и законной гордости.

Органичный философский универсализм Кольцова не предполагал узкого философствования. «Купил, — сообщает он Белинскому в мае 1839 года, — «Историю философских систем» Галича; мне их наши бурсари шибко расхвалили; а я прочел первую часть: вовсе ничего не понял: разве философия другое дело? Может быть. Итак, будем читать до конца».

Позднее Кольцов напишет о Галиче резкие слова своему воронежскому другу помещику А. Н. Черткову: «Насилу дал бог храбрость одолеть этого гадкого идиота Галича. Следовало бы его и его творения на костер — да и сжечь. Извините, что долго продержал. Начнешь чи-

тать — сон. Не прочтя отослать — стыдно не одолеть дряни». Это написано уже в 1841 году, через несколько лет, человеком, явно за эти годы немало читавшим. И наверное, большая философская мысль не давала Кольцову принять быстро устаревавшего А. И. Галича. Такие явно довольно обычные философские чтения Кольцова подтверждаются и тем, что речь во втором письме идет совсем не об «Истории философских систем» 1819 года Галича, как обычно пишут комментаторы Кольцова (ведь эта книга была в библиотеке самого поэта), а о каком-то другом его труде, всего скорее об «Опыте науки изящного» (1825). Кстати сказать, о кольцовских занятиях философией, видимо, было достаточно широко известно. В 1841 году Кольцов писал Белинскому из Москвы: «Жуковский в Москве, я у него был, говорил мне, что он слышал, что я немного знаю философию, жалеет об этом; советует бросить все к черту. «Философия — жизнь, а немцы — дураки, и проч.».

Поддерживая и после смерти Николая Станкевича дружеские отношения с его братьями, Кольцов сообщал Белинскому об Александре Владимировиче: «Был у меня третий Станкевич. Он как-то странно переменился, зарылся в науку, в формальность, математически сурьезно. Оно хорошо с молодых лет поучиться хорошенько, а все-таки странно видеть человека ученого, сухого, без огня в душе и без фантазий жизни».

Сам поэт писал брату покойного поэта Дмитрия Веневитинова Алексею: «...за всеми недосугами читаю, пишу, и пусть впереди будет хуже, я все-таки буду идти тем путем, которым давно иду, куда бы ни дошел, все равно, в понимании явлений жизни — лучшая жизнь человека».

Речь идет именно не об академическом восприятии философии, хотя, как пишет Кольцов, «...рад каждую статью философскую, как и статью о Шекспире, читать и уважать».

Само упоминание Шекспира здесь вряд ли случайно. С таким подходом к жизни, к охвату глобальных проблем бытия, к универсальному освоению его и в искусстве нужно было пытаться найти нечто всепокрывающее, всеохватное, абсолютное. Таким явлением стал для Кольцова в конце 30-х годов Шекспир.

«Я, — пишет он Белинскому, — читаю теперь Вальтера Скотта. «Пуритане» прочел с удовольствием. «Роб-

Рой» другой день читаю первую часть, а уж дочту. Смотри, шотландец, не сконфузься (вы не любите этого слова): вот авось раскусим мы тебя; что дальше, а твой старинный большой брат британец дивно больно хорош. Когда будете писать, уведомьте о «Ромео и Юлии»: если переведен, нарочно приеду в Москву читать его».

Дело в том, что переводом «Ромео и Джульетты» занимался Катков, и близкий ему Кольцов мог получить перевод сразу из первых рук и с соответствующими комментариями.

Что до соотнесения Шекспира и Вальтера Скотта, то за шутливыми, ироническими словами Кольцова, звучащими и некоторым вызовом, всего скорее стоит продолжение какого-то спора с Белинским. Критик от самых первых своих писаний еще начала тридцатых годов всегда восторженно оценивал Вальтера Скотта — «великого человека», «блистательного гения» и часто называл его рядом с Шекспиром.

Освоение Шекспира — переводы, споры, театральные постановки первостепенного значения — характерная примета России тридцатых годов. Случилось так, что с впечатлениями от Шекспира оказались связаны даже первые литературно-бытовые хлопоты и отношения Кольцова, как только он приехал в Петербург в феврале 1838 года, — из Москвы от Белинского и с его поручением. Само поручение и его достаточно деликатный характер, связанный с переговорами о переезде критика в Петербург, говорят уже о известной близости с Белинским. Кольцов вел переговоры о возможности помещения статьи Белинского о Гамлете в негласно редактировавшихся теперь в Петербурге Полевым «Сыне отечества» или «Северной пчеле».

Статья эта — «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» — одна из главных работ критика в конце 30-х годов. В оценке двух русских Гамлетов — В. А. Каратыгина и П. С. Мочалова — Кольцов сразу и безоговорочно встал на сторону Белинского, а может быть, и укреплял критика в его суждениях, во всяком случае, оценки Кольцова высказываются совершенно самостоятельно: «Я был на «Гамлете» в Питере, и вот мое мнение: Каратыгин человек с большим талантом, прекрасно образован, чудесно дерется на рапирах, великан собою, и этот талант, какой он имеет, весь ушел он у него в искусство, и где роль легка, там он превосходен, а

где нужно чувство, там его у Каратыгина нету — извините. Например, сцена после театра, монолог «быть или не быть», разговор с матерью, разговор с Офелией: «удались от людей, иди в монастырь», — здесь с Мочаловым и сравнить нечего: Мочалов превосходен, а Каратыгин весьма посредственный. У Мочалова немного минут, но чудесных; Каратыгина с начала до конца роль проникнута искусством».

Именно одержимость Шекспиром и ощущение Шекспира подвигало Кольцова не только на постоянные чтения, но и на заявления, часто смелые и категоричные, заставляло внимательно следить за усилиями переводчиков и жадно внимать спорам и суждениям на эту тему.

Вообще характерно, что переводческое освоение Шекспира у нас в XIX веке, особенно в его первой половине, не носило узкофилологического характера, было отмечено широким общекультурным пониманием и проникновением. Недаром уже в наше время такой художник-переводчик Шекспира, как Борис Пастернак, писал: «Я стою на точке зрения прошлого столетия, когда в переводе видели задачу литературную, по высоте понимания не оставлявшую места увлечениям языковедческим».

Именно «высота понимания» позволила Кольцову резко оспаривать статью даже такого высоко ценившегося Белинским знатока и переводчика Шекспира, как А. И. Кронеберг, которая была направлена против перевода «Гамлета», осуществленного Н. А. Полевым. А уж цену Полевому, и его писаниям, и его позиции Кольцов в конце 30-х годов хорошо знал: «У вас в «Литературной газете», — пишет он Белинскому, — напечатана статья г-на Кронеберга о поправках «Гамлета»: очень вещь невыгодная для Кронеберга и довольно дурно его рекомендует. Можно замечать и поправлять ошибки, как ему угодно, можно даже перевести «Гамлета» лучше Полевого и легче Врончевки; но так бессовестно бранить старше себя и, верно, лучше себя, и за такой труд, за который Николай Алексеевич Полевой заслуживает в настоящее время полную благодарность! Без его перевода не было бы на сцене такого «Гамлета» и в нем такого Мочалова, какие у нас теперь. Надо бы Кронебергу сначала его перевести, потом напечатать, а потом и ругать других — и дело бы тогда было похвальное. Бранить Полевого за «Уголино», за драмы, водевили и переделку их с

французского — другое дело; здесь всякая брань у места».

Одна из последних дум Кольцова, опубликованная уже после его смерти, содержала такие строки:

...Целая природа —
В душе человека.

Проникнуты чувством,
Согреты любовью,
Из нее все силы
В образах выходят...

Властелин-художник
Создает картину —
Великую драму,
Историю царства.

В них дух вечной жизни,
Сам себя сознавший
В видах бесконечных
Себя проявляет.

«Она, — пишет Кольцов об этой думе Белинскому, — не вся вышла; я хотел сказать иначе, но не сказалось. Вы знаете, что этот предмет не по моему мозгу, я его только чуть понимаю, но не совсем переварил; да и переварю ли? — кто знает? Впрочем, это название не то, которое бы я ей дал».

Какое же название Кольцов ей дал бы? «Я бы назвал ее «Бог». Но ведь тогда она никуда не может показаться». То есть цензура не пропустит.

А какое название Кольцов ей дал? — «Шекспир».

Конечно, Шекспир не бог, но уж если искать подмен, то, по Кольцову, эта, очевидно, самая подходящая и приемлемая. Уже после смерти Кольцова Белинский напечатал эту думу под названием «Поэт». Но мы, во всяком случае, знаем, какого поэта Кольцов мог иметь в виду. «...Однажды, — вспоминает А. М. Юдин, — читая при мне некоторые сцены из шекспировской драмы «Ромео и Джульетта», переведенной Катковым, особенно прочел он с необыкновенным воодушевлением сцену, представляющую свидание Ромео и Джульетты ночью, в саду Капулетти. Окончив чтение, он вскричал: «Вот был истинный поэт! А мы что?»

Это ощущение — «а мы что?» — постоянно толкало Кольцова вперед, определяло энергичнейшую внутреннюю работу в нем, — понимание, что такое истинный поэт и что такое истинная поэзия. Такое ощущение не было

только естественной читательской реакцией, но, как показывает та же дума «Шекспир», точным именно поэтическим ощущением гения и гениальности.

* * *

Петрашевцы недаром смотрели на Кольцова как на один из залогов национального развития, как на «второго Ломоносова». В письмах Кольцова поражает прежде всего универсализм, своеобразная эстетическая и интеллектуальная энциклопедичность. «Нет голоса в душе быть купцом, — пишет он Белинскому, — а все мне говорит душа день и ночь, хочет бросить все занятия торговли — и сесть в горницу, читать, учиться. Мне бы хотелось теперь сначала поучить хорошенько свою русскую историю, потом естественную, всемирную, потом выучиться по-немецки, читать Шекспира, Гёте, Байрона, Гегеля, прочесть астрономию, географию, ботанику, физиологию, зоологию, Библию, Евангелие... Вот мои желанья, и, кроме их, у меня ничего нет. Может быть, это бред души, больной и слабой, но мне бы все-таки хотелось бы это сделать, и я уже начал понемногу и кое-что прочел».

Очень трудно сейчас восстановить это «кое-что». Беда, что библиотека Кольцова после его смерти была разорена, а архив в большей своей части погиб с письмами Белинского, Жуковского, Вяземского, В. Одоевского, Боткина и других. Немногое из рукописей поэта, продававшихся на толкучем рынке — на обертку, сохранилось случайно. Вот почему и круг чтения Кольцова восстанавливается так скудно.

За год до приведенного выше письма, то есть в мае 1839 года, Кольцов сообщает Белинскому о полученных книгах («есть что читать»): «Ваш подарок получил: «Отечественные записки», «Современник» тоже; от Губера получил «Фауста», от Владиславлева — альманах «Утреннюю зарю». Купил полное сочинение Пушкина, «Историю философских систем» Галича... еще надобно обзавестись непременно Историей Карамзина. У меня есть Полевого и Ишимовой краткая, а хочется иметь полную. Да опер несколько: «Роберт-Дьявол», «Фенелла», «Дон Жуан», «Виндзорские кумушки» Шекспира: хоть дурной перевод, да все лучше, чем ничего. А «Дон Жуана» прочесть после пушкинского!»

То, что пишет Кольцов о своих чтениях, отнюдь не маниловский бред души больной и слабой. Выучиться

по-немецки было делом наиболее возможным, так как какие-то начальные основы изучения закладывались уже в уездном училище. Это открывало прямой путь не только к Гёте и Гегелю, но и к Байрону, а главное — к Шекспиру, ибо немцами-то все тогда в отличие от русских уже было переведено. Чтение Библии совмещалось с изучением «Физиологии» Велланского. Трудно сказать, достал ли Кольцов «Историю» Н. М. Карамзина, но, видимо, он знал не только Н. А. Полевого и А. О. Ишимову. Ибо в сохранившейся записи о необходимости выписать полного Пушкина помечены и «Всеобщая история» Эрта, и М. П. Погодин. Кстати, там же в «нужных книгах» отмечена «Теория» С. П. Шевырева, то есть его «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов». Оперы собираются и изучаются с особым тщанием, так как и сам Кольцов думал о создании оперы из народной жизни, и своеобразный оперный драматизм даже таких музыкальных миниатюр, как «Хуторок», вряд ли можно понять без учета этих изучений Кольцовым образцов русской и мировой оперы.

Недаром почти в это же время, прямо связывая русскую оперу с русской песней, Гоголь писал: «Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов! Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок запеваются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Все дорожное, дворянство и недворянство, летит под песни ямщиков. У Черного моря безбородый, смуглый, с усами казак, заряжая пищаль свою, поет старинную песню, а там, на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский промышленник бьет острогой кита, затягивая песню. У нас ли не из чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало».

Хотел же Кольцов писать оперу, конечно, из русской жизни по мотивам Владимира Даля: «Есть у Луганского (один из псевдонимов Даля. — *Н. С.*) в четвертой части его «Былей и небылиц», «Ночь на распутье», она написана, кроме некоторых мест, языком варварским, а материал драмы русский, превосходный, и мне все думается, что я из нее сделаю русскую оперу: если это можно и труды не пропадут понапрасну, я начну, а нельзя — не

надо. Я разумею труды не в деньгах, а не на пустяк. Конечно, я сделаю оперу не такую, чтобы можно поставить на сцене, а по крайней мере чтобы можно было прочесть, а то ее теперь и прочесть нельзя».

Характерна эта тяга к драматургии, и к драматургии особого типа: одной стороной своей — музыкальной (опера), другой — эпической («чтобы можно было прочесть»). Это, конечно, уже предчувствие театра Островского. Невольно вспоминаются слова этого, по выражению Иннокентия Анненского, «поэта-слуховика»: для него достаточно, чтобы его пьесу только хорошо прочитали. И для Кольцова главное в этой задуманной им опере — слово.

«Да, надо непременно изучить живопись и скульптуру. Они все вещи чудесные, и для человека, который пишет стихи, особенно необходимы». Кольцов общался со многими художниками, прежде всего с А. Г. Венециановым и его кругом. Но это сравнительно понятно, тем более если полагать, что Венецианов являл что-то вроде аналога Кольцову в живописи. Интересно, что Кольцова очень любил и Карл Брюллов. Ученик Венецианова А. Н. Мокрицкий вспоминает о том, как состоялось знакомство Кольцова с Брюлловым: «Спустя полчаса по приезде Жуковского (к Брюллову. — *Н. С.*) дали мне знать, что пришел Алексей Васильевич Кольцов. Я сказал об этом Брюллову и просил позволения представить ему степного певца, стихи которого любил он слушать... Благодаря художника за счастье, которым он обязан свиданию с ним, Кольцов вручил ему экземпляр своих стихотворений: в книжке было вложено одно рукописное сочинение. Жуковский раскрыл, и что же? Это было новое его сочинение «Великое слово». Жуковский прочел вслух; сочинение написано прекрасно; Брюллов был тронут и, обнимая поэта, благодарил его за дружеское внимание...» Напомним, что сам Кольцов, в письме Белинскому, относил Брюллова к важнейшим «достопримечательностям» Петербурга.

В 1838 году Кольцов написал «Мир музыки», написал сразу под влиянием музыкального вечера у Боткина. Вообще отношение к музыке было у Кольцова особое и многообразное. Главное, конечно, то, что в нем жило великое музыкальное начало. Но оно получило поддержку и в том восприятии музыки, которое было у его окружения. Белинский недаром в первом посмертном издании Кольцова

напечатал и статью Серебрянского о музыке, очевидно, как хорошо поясняющую мир Кольцова. Точнее — перепечатал: впервые эта статья была помещена в «Московском наблюдателе».

Конечно, Кольцов постоянно жил в музыкальной воронежской песенной стихии — и в селах и дома. Но многократно отмечена у него предельная острота реакции как раз на «высокую», «ученую», классическую музыку. Во время пребывания Кольцова в Москве и Петербурге музыкальные впечатления — из главных. И дело не столько в частых посещениях концертов, хотя Кольцов, кажется, не упустил ни одной из столичных театрально-музыкальных возможностей, сколько в силе восприятия. «Я до сих пор помню Лангера и тот вечер, и никогда его не забуду», — сообщает он Белинскому о выступлении известного музыканта на вечере у Боткина. По воспоминаниям Юдина, слушая игру знаменитого виолончелиста Серве, Кольцов «дрожал как в лихорадке».

Передавая впечатление от посещения Дворянского собрания в Москве, Кольцов пишет: «Огромная зала полна людей, богато, разнообразно одетых, танцующих; и музыка с высоких хор, как с дальнего неба, волнами разливаясь во все стороны, падала вниз на нас, людей наземных». Музыка превращала здесь для Кольцова маскарадный зал буквально в высокий храм. Сама сила непосредственного восприятия музыки у Кольцова неизменно приобретает очень конкретный и осмысленный характер и в то же время отличается необычайной широтой.

Любопытно, сколь по-разному реагируют на музыку два таких музыкальных поэта, как Кольцов и Фет. Тем более что Фет, как писал он сам, инстинктивно находился под могучим влиянием Кольцова. «Меня всегда подкупало поэтическое буйство, в котором у Кольцова недостатка нет... в нем так много специально русского воодушевления и задора...»

Вот как «специально» русски ориентирован Фет, слушая певицу-иностранку, знаменитую Полину Виардо: «Виардо пела какие-то английские мотивы и вообще пьесы, мало на меня действовавшие как на не музыканта. Афиши у меня в руках не было, и я проскучал за непонятными квартетами и непонятным пением... Но вдруг совершенно для меня неожиданно мадам Виардо подошла к роялю и с безукоризненно чистым выговором запела «Соловей мой, соловей». Окружающие нас французы громко аплодировали, что же касается до меня, то это

неожиданное мастерское русское пение возбудило во мне такой восторг, что я вынужден был сдерживаться от какой-нибудь безумной выходки».

А вот как слушает, и тоже знаменитую певицу-иностранку, Пасту, Кольцов: «Недавно был я на концерте. Пела Паста, итальянка, женщина 48 лет; но боже мой! — что за голос, что за музыка, что за звуки, за грация, что за искусство, что за сила, за энергия в этом голосе роскошного Запада! Если б ты слышала! Чудеса! Диво дивное, чудо чудное. Я весь был очарован, упоен ее звуками; кровь вся в жилах кипела кипятком».

А вот другой тип такой классики и другое приятие ее, опять-таки совершенно осознанное и формулированное: «Был на опере «Жидовка» (в немецком театре). Эту оперу («Жидовка» — опера Галеви «Дочь кардинала», написанная в 1835 году. — *Н. С.*) надобно посмотреть: она не то чтобы была прекрасная опера, полная: отчетливости в полном смысле этого слова нет; но надобно посмотреть, как господа немцы ее выполняют удивительно; все первые роли выполняют неимоверно хорошо; певцы — чудо, певицы — прелесть. Да, надобно чаще смотреть немецкую оперу».

Тем глубже, конечно, осмысляется русская опера: «Был на опере «Жизнь за царя» и, говоря про оперу, я совершенно согласен с Михаилом Александровичем (Бакуниным. — *Н. С.*), он на нее смотрит с настоящей точки умозрения».

Вообще Кольцов, как видим, на все хочет смотреть с «настоящей точки умозрения», стремясь охватить всю полноту мира, всю сложность бытия. Песня не была жанром, в котором такая полнота мира могла быть выражена.

* * *

Конечно, странно было бы видеть в Кольцове только кого-то вроде древнего Бояна. Он был человеком XIX века, в нем в полной мере проснулось то, что Гегель назвал «самостоятельной рефлексией» и «творчеством». Но эта «самостоятельная рефлексия», почти не проникая в песни, реализовалась у Кольцова в думах.

Думы Кольцова еще Белинский называл особым и оригинальным родом стихотворений. И этот род был связан с особенностями народной крестьянской жизни, с поисками смысла бытия и высших ценностей, социальных и нравственных. В свое время немало думавший о сути

народной интеллигенции Глеб Успенский писал: «Интеллигенция среди всяких положений, званий и состояний одна исполняет всегда *одну и ту же* задачу. Она всегда — свет, и только то, что светит, или тот, кто светит, и будет исполнять интеллигентное дело. <...> И в деревне, и в курной избе, там, где вместо лампы горит лучина, — и там были свои интеллигентные люди, добивавшиеся *тех же самых* целей, что и интеллигентные люди высшего общества, *но по-своему!»*

В близко стоявшей к природе и вынужденной во многом жить по ее жестоким законам народной массе такое искание общественной и нравственной правды писатель полагал условием ее человеческого, а не звериного существования. В буржуазной, капитализирующейся деревне его ужасало как раз отсутствие «той науки о *высшей правде,* которая бы дала *теперь* человеку возможность сказать себе, что справедливо, а что нет, что можно и что нельзя, что ведет к гибели и что спасает от нее».

Такая связанная с глубинами народной жизни человеческая «всескорбящая мысль», если воспользоваться словом Успенского, пронизывает и думы Кольцова. В то же время думы эти были тесно связаны и с развитием русской культуры вообще и русской литературно-интеллектуальной жизни 30-х годов XIX века в частности.

В термине-определении кольцовская дума, очевидно, восходит к украинской думе. Тем более что Кольцов вообще хорошо знал украинское народное творчество. Правда, именно с украинскими думами думы Кольцова мало связаны по сути, как мало или, во всяком случае, меньше, чем что-либо у него, связаны они и с собственно народно-поэтическим творчеством вообще. Обозначив жанр дум термином из народно-поэтического творчества, Кольцов именно в думах-то от такого творчества и ушел. Более всего по напряженному интеллектуализму думы Кольцова связаны с думами Лермонтова, если обозначить этим словом лермонтовские стихи-раздумья над судьбами своего поколения: одно из таких стихотворений 1839 года Лермонтов, как известно, так и назвал «Дума». Белинский недаром говорил как об отличительной особенности Лермонтова «о резко ощутительном присутствии мысли в художественной форме». Правда, мысли Лермонтова именно здесь, в «думах», наиболее непосредственно обращены в современность. Мысль Кольцова в думах отвлеченнее и философичнее в собственном смысле этого слова. Разумеется, и песни Кольцова не бездумны. Но

в них обычно предстает общая народная мудрость, а не индивидуальное философствование.

Одним из первых в русской критике о думах Кольцова сказал Белинский. Он же сказал и о мистическом направлении, обнаруженном Кольцовым в думах. Подчас в слово «мистицизм» вкладывается применительно к Кольцову значение, которого Белинский и не имел в виду. Положение усугублялось и тем, что, с другой стороны, уже из иного времени и с иных позиций некоторые критики-идеалисты начала XX века (А. Л. Волынский, например, в книге «Борьба за идеализм») оценили «мистицизм» дум Кольцова как высшую точку его творчества.

Последовавшие за суждениями Белинского оценки дум в русской критике не только эти суждения повторяли, но и все более ужесточали. Белинский писал: «Эти думы далеко не могут равняться в достоинстве с его песнями; некоторые из них даже слабы и только немногие прекрасны. В них он силился выразить порывания своего духа к знанию, силился разрешить вопросы, возникшие в его уме. И потому в них, естественно, представляются две стороны: вопрос и решение. В первом отношении некоторые думы прекрасны... Но во втором отношении эти думы, естественно, не могут иметь никакого значения. Сильный, но не развитой ум, томясь великими вопросами и чувствуя себя не в силах разрешить их, обыкновенно старается успокоить себя или какою-нибудь риторическою фразою в высшем мире, или ироническою выходкою против ума человеческого... Это случалось и случается и с великими мыслителями».

Позднее Добролюбов в статье о Кольцове так суммировал все эти заключения Белинского: «В думах он (Кольцов. — *Н. С.*) обыкновенно старался передать свои сомнения, свои вопросы, которые рождались в его уме при взгляде на мир. Эти думы имеют один важный недостаток: поэт говорит в них о том, чего сам ясно не понимает и, задавши вопрос, часто очень важный и глубокий, оставляет его без ответа, а иногда еще и прибавляет в конце, что напрасно и рассуждать об этом».

Через десять лет после статьи о Кольцове Белинского Щедрин написал: «...Везде, где он (Кольцов. — *Н. С.*) хотел стать на точку зрения общечеловеческую, он падал и утрачивал ясность своего взгляда. И это понятно: он не был достаточно образован для такой точки... Только знание, только наука и сопряженная с нею возможность

сравнения могут расширить умственный кругозор человека, сделать его вполне человеком. Лучшим доказательством служат «Думы» Кольцова: что означают они, кроме немощного желания вывести мысль из той тесной сферы, в которую она заключена обстоятельствами? Что такое все эти вопросы, которые задает себе тревожимый сомнениями поэт, как не риторическая амплификация, собрание слов, доказывающее только ту несомненную истину, что поэт не умел даже формулировать свои сомнения».

Здесь вопросы, которые еще Белинский называл проникнутыми «глубокой мыслью» и даже «великими», определены как «риторические амплификации». Но во всех случаях общая причина видится в недостатке науки, знания, образованности.

Так что же это за думы? Какие же вопросы поставил Кольцов? Как они соотнесены со знанием, с наукой того времени? Мог ли Кольцов действительно «боле навостриться» в решении их, если бы, по известному басенному слову, «немного поучился». Нет нужды еще раз говорить, что Кольцов не был систематически, так сказать, учебно образован, и еще раз напоминать, как самозабвенно, как страстно жаждал он знания и учения, но, кажется, в случае с думами речь должна идти о вещи более сложной, чем простой недостаток знания и обучения.

Думы его — это действительно вопросы и вопросы: «Великая тайна», «Неразгаданная истина», «Вопрос»... Вопросы, с которыми Кольцов приступил к мирозданию, были подлинно философскими: такими, какими поставило их его время, — о тайне жизни, о смысле ее, о сущности и цели человеческого бытия. В то же время они свидетельствовали о том, сколь универсален был его ум, его чувство, его подход к жизни — качество, которое в известной мере утратит более специализированная поэзия последующей поры. С этой точки зрения критик М. Антонович отметил, что уже Некрасов «не возносился в сферы необъятные ума, знания и философии... которых касался даже Кольцов в своих детски наивных думах». Для Кольцова характерно стремление «коснуться» всего.

Конечно, он мыслитель своеобразный. К нему в большой мере относится характеристика, данная когда-то Ап. Григорьеву: «Чисто русский по своей природе, какой-то стихийный мыслитель, невозможный ни в одном западном государстве». Впрочем, думы могли производить впечатление «детски наивных» и по следующей причине.

Они сравнительно с песнями лишены опор. С одной стороны, они в отличие от песен не подкреплены могучей традицией народно-поэтического творчества (такой философской традиции в этом творчестве просто нет) и сохраняют с этим творчеством связь лишь внешним образом (стихотворный размер, некоторые устойчивые образы). С другой стороны, по особому положению и самообразованию Кольцов не мог, особенно до поры до времени, опереться на литературно-философскую традицию. Но именно до поры до времени. Философские интересы Кольцова обычно связывают с тем воздействием, которое испытал он со стороны кружка Станкевича. Дело в том, однако, что такие интересы пробудились в нем уже при самом начале творчества и еще до знакомства со Станкевичем, тем более с окружением Станкевича.

Конечно, роль кружка Станкевича была значительнейшей. По сути, все думы Кольцова, слишком часто и поспешно квалифицировавшиеся как «детские», «наивные», «беспомощные», так или иначе восходят к идеям кружка или литераторов и мыслителей, ему близких. Недаром Белинский-то все же воздерживался от таких квалификаций: он знал круг этих идей, прошел через увлечение многими из них.

В литературе о Кольцове отмечалась близость дум Кольцова некоторым философским построениям Станкевича, писавшего, например: «Смерть есть разрушение, разрушение в природе есть перерождение из одного состояния в другое. Смерть одного звена природы есть рождение другого. Вода, уничтожаясь, переходит в пары, воздух делается водою, человек становится землею, земля перерождается в растение (разумеется при условиях)»... Мысль эта почти точно повторена в думе «Великая тайна»:

Тучи носят воду,
Вода поит землю.
Земля плод приносит.
Бездна звезд на небе.
Бездна жизни в мире...

Не случайно появление дум связано у Кольцова с Москвой, с московскими впечатлениями. Большинство из них записано в 1836—1837 годы и позднее. Укажем на еще один, кажется, не отмеченный в литературе пример думы, прямо связанный с духовными исканиями столичных литературно-философских кругов.

Размышления над судьбами мировой истории явно пе-

решли в думу Кольцова «Неразгаданная истина» из очерка «Русские ночи. «Ночь первая» В. Одоевского вместе со скептическим обращением к «гордым истолкователям таинства жизни».

Зачем мятутся народы? — размышлял герой очерка Одоевского, — Зачем, как снежную пыль, разносит их вихрь? Зачем плачет младенец, терзается юноша, унывает старец? Зачем общество враждует с обществом и еще более с каждым из своих собственных членов?..

Являются народы на поприще жизни, блещут славою, наполняют собою страницы истории и вдруг слабеют, приходят в какое-то беснование, как строители Вавилонской башни, — и имя их с трудом отыскивает чужеземный археолог посреди пыльных хартий...

Здесь, в стоячем болоте, засыпают силы, как взнузданный конь, человек прилежно вертит все одно и то же колесо общественной махины, каждый день слепнет более и более, а махина полуразрушилась: одно движение молодого соседа — и исчезло тысячелетнее царство».

А вот дума Кольцова:

Целый век я рылся
В таинствах вселенной,
До седин учился
Мудрости священной.

Все века былые
С новыми поверил;
Чудеса земные
Опытом измерил.

Мелкие причины
Тешились людями;
Карлы-властелины
Двигали мирами.

Райские долины
Кровью обливались;
Карлы-властелины
В бездну низвергались.

Где пройдет коварство
С злобою людскою, —
Там, в обломках, царство
Зарастет травою...

Даже то, что сейчас, будучи отвлечено от условий, места и времени создания, может показаться выражением лишь религиозных умонастроений и чувств, на самом деле связано у Кольцова с теми идеями, кото-

рые были представлены в 1830-х годах прошлого века в науке.

В 1836 году уже по возвращении из Москвы Кольцов написал думу «Великое слово»:

Глубокая вечность
Огласилась словом:
То слово — «да будет!»
«Ничто» воплотилось
В тьму ночи и света.

Могучие силы
Сомкнуло в миры,
И чудной, прекрасной
Повеяло жизнью.

Конечно, Кольцов был религиозным человеком, но отнюдь не только религиозность определила дифирамбический пафос этих стихов. Дума явно восходит к космогонической теории (а всего скорее написана под ее прямым влиянием и как отклик на знакомство с нею) одного из наиболее выдающихся и передовых профессоров той поры, М. Г. Павлова, именно так определявшего толчок к первообразованию жизни. В 1836 году в «Телескопе», внимательно читавшемся, если не сказать изучавшемся, Кольцовым, была напечатана статья «Общий очерк природы по теории профессора Павлова» (кстати сказать, земляка поэта, тоже воронежца), в которой писалось о том, как по слову «да будет!» возникли силы, образовавшие мир. Впрочем, это было место общее для касающихся мироздания теоретических построений той поры. То же утверждалось в, очевидно, известной Кольцову работе Д. Велланского «Опытная, наблюдательная и умозрительная физика».

Особо и тесно связаны думы с идеями и настроениями Белинского. В литературе о Кольцове неоднократно отмечалась близость его и Белинского в понимании общности человека и природы, высокого назначения человека (дума «Человек»), общей роли искусства, поэзии и в осмыслении «царя поэтов» Шекспира (дума «Поэт», первоначально называвшаяся «Шекспир», совпадает с тем, что писал о Шекспире в 30-е годы Белинский).

Иногда дума Кольцова представляет почти стихотворный перевод критической статьи, которую, впрочем, тоже хочется назвать поэтической и которая, видимо, очень импонировала Кольцову этой своей поэтичностью. «Весь беспредельный, прекрасный божий мир, — писал

Белинский в «Литературных мечтаниях», — есть не что иное, как дыхание единой вечной *идеи*, проявляющейся в бесконечных формах... Для этой *идеи* нет покоя: она живет беспрестанно... Она воплощается в блестящее солнце, в великолепную планету, в блудящую комету; она живет и дышит — и в бурных приливах и отливах морей, и в свирепом урагане пустынь, и в шелесте листьев, и в журчании ручья, и в рыкании льва, и в слезе младенца, и в улыбке красоты, и в воле человека, и в стройных созданиях гения...»

А вот кольцовское «Царство мысли»:

Повсюду мысль одна — одна идея,
Она живет и в пепле и пожаре;
Она и там — в огне, в раскатах грома;
В сокрытой тьме бездонной глубины;
И там, в безмолвии лесов дремучих;
В прозрачном и плавучем царстве вод глубоких,
В их зеркале, и в шумной битве волн;
И в тишине безмолвного кладбища;
На высях гор безлюдных и пустынных;
В печальном завываньи вьюг и ветра;
В глубоком сне недвижимого камня;
В дыхании былинки молчаливой;
И в дикой силе львиной мышцы крепкой;
В судьбе народов, царств, ума и чувства, всюду —
Она одна — царица бытия!

Есть сходство, близость, родство, совпадения всего круга идей, настроений, мироощущения Кольцова с тем, что думали и чувствовали наиболее значимые представители литературно-философской мысли: Н. Станкевич, В. Одоевский, П. Чаадаев, М. Павлов, В. Белинский... Никому из них думы не казались тогда ни детскими, ни наивными. Белинский будет о них писать критически уже с иных позиций и много позднее, почти через десять лет.

При этом отношение Кольцова к идеям кружка его столичных друзей не было лишь ученическим. Было в них то, что отвечало его собственным умонастроениям и всему его мироощущению. Привлекало в них Кольцова то, что, очень широко и условно определяя, можно было бы назвать шеллингианством: ощущение единства мира, чувство родства человеческой и природной жизни, выраженное в очень свободной, поэтической форме. «Нравится в ней собственно ее поэзия, — заметил о философии Шеллинга Боратынский, — но основания ее, мне кажется, можно опровергнуть философически». Природа тво-

рящая, единая, человек как ее часть, человек, в котором природа осознает себя и который чувствует эту интимную, неразрывную связь с природой, — все эти начала должны были отвечать всему строю души и ума Кольцова.

Но, очевидно, важно было для Кольцова и то, что такой строй мыслей и чувств получал санкцию образованных умов, подтверждался наукой. Потому Кольцовым и воспринимались люди такой науки особым образом, в духе тех идей, которые они несли.

В 1840 году поэт отозвался на смерть Н. Станкевича стихотворением «Поминки». «Поминки» — название нехорошо, — писал Кольцов Белинскому. — Как хотите, так и назовите». Тем не менее название осталось, а уж появилось оно тем более не случайно. Стихотворение возникло как веление народного принципа, как нравственная необходимость — нужно помянуть: «...О Станкевиче, конечно, надо бы говорить больше, но я этого сделать не умел. По крайней мере, я сделал что мог, и сказал, как сумел; другие пусть скажут лучше. Но у меня спала тяжесть с души, а то все укоряла меня его безвременная смерть. И эта прекрасная, чистая душа как будто говорила мне все на ухо: «Схоронили — позабыли».

Под тенью роскошной
Кудрявых берез
Гуляют, пируют
Младые друзья!

Кольцов очень точно воссоздал образ Н. Станкевича в том качестве, в каком Станкевич и оказался прежде всего значим в истории духовной жизни России: как центр круга «младых друзей». А сами «младые друзья» — люди в реальном бытовании скорее сугубо кабинетные — выведены поэтом на природу. И это отнюдь не пикник на ее лоне, а пиршество молодой жизни, как бы уравнивающейся с природой и сливающейся с ней:

Их очи, как звезды
По небу, блестят;
Их думы — как тучи;
Их речи горят.

Давайте веселья!
Давайте печаль!
Давно их не манит
Волшебница — даль!

И с мира и с время
Покровы сняты;
Загадочной жизни
Прожиты мечты.

Шумна их беседа,
Разумно идет;
Роскошная младость
Здоровьем цветет.

Но вот к ним приходит
Неведомый гость
И молча садится,
Как темная ночь.

Лицо его мрачно,
И взгляды — что яд.
И весь на нем странен
Печальный наряд.

<...>Под сенью роскошной
Кудрявых берез
Гуляют, пируют
Младые друзья!

Их так же, как прежде,
Беседа шумна;
Но часто невольно
Печаль в ней видна.

Потому Кольцов и пояснил: «Я сначала чертовски хвалю всю нашу братию, но все-таки в ней — чистая правда».

«В ней чистая правда» — не бытовая, но психологическая и философская. Потому Кольцов, внимательнейшим образом прислушивавшийся к любому, даже мельчайшему, замечанию Белинского, позднее спокойно, но решительно отвел здесь его возражения: «Поминки по Станкевичу» тоже, кажется, вещь порядочная. Вы пишете, что кто это пришел в кружок мрачный гость — тень Станкевича или другой кто? Нет, это не тень Станкевича, а загадочный гость, что мы называем смертью. Она — не новость, конечно, но в том кружке, который жил такой полной жизнью и так могуче и раздольно, вдруг нечаянно приходит к первому Станкевичу, берет за руку — и он уснул. А что вам не нравится стих. «Роскошная младость здоровьем цветет»? Вы говорите: где же между нас здоровье? Я думаю об этом иначе. Мы здоровы если не телом, то, слава богу, здоровы душой. Если ж оно вышло в образе темном, ну что же делать? Не всякое лыко в строку».

Однако если круг «младых друзей»» был важен для Кольцова, то и Кольцов оказался значим для них, во вся-

ком случае, для наиболее глубоких из них, как некое осуществление натурфилософских идей, как поэт, действительно воспринимающий целостную жизнь природы. И в приведенных выше примерах-сравнениях выступают, с одной стороны (у Станкевича), теоретические размышления по поводу единства природы, с другой (у Кольцова) — живое ощущение этого единства. Невольно напрашивается уже в рамках самой поэзии Кольцова сравнение «Великой тайны» с «Урожаем» — нечастый у Кольцова пример прямой переклички «песни» и «думы». «Земля перерождается в растения (разумеется, при условиях)»... — пишет Станкевич. «Земля плод приносит», — говорит Кольцов. И то же, да не то. В одном случае речь идет о, по сути, мертвой материи, перерождающейся. В другом — о живом существе, рождающем. И разница определена не только жанром: статья — стихи.

Может быть, еще доказательнее будет в этом смысле сравнение: Кольцов — Одоевский. К нему мы уже обращались для обнаружения сходства. Присмотримся к различиям. Здесь кстати отметить особый, даже чрезвычайный, интерес Кольцова к истории и к тому, что можно было бы назвать философией истории. Недаром Белинский отметил: «Он хотел учиться всему, но сквозь хаос темных представлений о науке ясно было видно, что если бы он и не мог заняться историею как наукой, то с жаром и страстью предался бы чтению преимущественно исторических сочинений». Мы видели, как первая часть думы Кольцова «Неразгаданная истина» прямо следует за той довольно пессимистической «философией истории», что набросана героем «Ночи первой» Одоевского. Но затем у Кольцова появляется картина нового утверждения жизни, на которую у Одоевского нет и намека: единственное в стихотворении многоточие отчетливо отделяет у Кольцова эту другую часть, иную жизнь.

Где пройдет коварство
С злобою людскою, —
Там, в обломках, царство
Зарастет травою...

Племена другие
На них поселятся:
Города большие
Людьми разродятся.

Сторона пустая
Снова зацарюет,
И жизнь молодая,
Шумно запирует!

Заканчивается же стихотворение сомнениями в возможностях разума, у Кольцова действительно частыми, а в данном случае и как бы смыкающимися снова с горьким скепсисом, которым проникнута у Одоевского «Ночь первая». Вообще как-то не учитывается, что сомнения в силе разума, которыми проникнуты думы Кольцова (и которые потому-то и вызывали критику просветителей, начиная с Белинского, Добролюбова, Щедрина и т. д.), связаны не только с необразованностью Кольцова, но и с образованностью: в этих думах тоже отражалось общее разочарование в идеях Просвещения, столь характерное для 30-х годов, сомнения по поводу разума в том виде, в каком эпоха Просвещения передала его.

«Просвещение! Наш XIX век называют просвещенным. <...> Везде вражда, смешение языков, казни без преступления и преступления без казни, а на конце поприща — смерть и ничтожество. Смерть народа — страшное слово!

Закон природы! — говорит один.
Форма правления! — говорит другой.
Недостаток просвещения! — говорит третий.
Излишество просвещения!
Отсутствие религиозного чувства!
Фанатизм!

Но кто вы, вы, гордые истолкователи таинства жизни? Я не верю вам и имею право не верить!.. Не вам, дряхлые сыны дряхлых отцов, просветить ум наш... Мы знаем ваше прошедшее... но знаем ли свое будущее?» Так замыкается цепь размышлений у Одоевского.

А вот как заканчивается дума Кольцова о «таинстве жизни», о неразгаданной истине:

Подсеку ж я крылья
Дерзкому сомненью,
Прокляну усилья
К тайнам провиденья!

Ум наш не шагает
Мира за границу;
Наобум мешает
С былью небылицу.

И все же истоки скепсиса в очерке Одоевского и в думе Кольцова различны по сути. Недаром у Кольцова он и возникает после картины нового утверждения жизни; нового ее развития и торжества. Скепсис в очерке Одоев-

ского идет от ощущения изжитости жизни, скепсис в думе Кольцова — от ощущения ее избыточности. В первом случае этот скепсис адресован разуму, неспособному объяснить ее распад, во втором он обращен к разуму, не могущему вместить ее полноту.

Было бы нелепо, конечно, искать у Кольцова философскую систему как таковую, «метафизику» (скажем, Н. Станкевич писал работу «Моя метафизика»). Но именно потому философские вопросы Кольцова выходят за пределы какой бы то ни было системы и оказываются роковыми для любой из таких философских систем.

Насколько решительно мог Кольцов такие вопросы ставить и сколь самостоятелен он был в постановке их, открывает один характерный эпизод. Летом 1838 года Кольцов пишет Белинскому: «...Я понимаю субъект и объект хорошо. Но не понимаю еще, как в философии, поэзии, истории они соединяются до абсолюта». Биограф поэта М. де Пуле, выражая, впрочем, довольно общее мнение, писал, что по таким словам можно судить о «беспомощном, ученическом положении Кольцова». Надо сказать, что, будучи вынутыми из контекста времени, обстоятельств, отношений и просто из текста самого письма, слова эти действительно могут произвести впечатление неловкого и произвольного употребления философских терминов. Важно, однако, уяснить, что скрывается, по существу, за этой внешней неумелостью.

Конец 30-х годов — это особое время в развитии мировоззрения Белинского. Важный этап в понимании и освоении действительности сопровождался у критика примирением с нею, непродолжительным, но очень глубоким, тем более что Белинский пытался такое примирение обосновать философски. 1838 год — пик такого примирения. Белинский учил тогда, что в жизни нет «относительного добра и зла, но... все — безусловное благо...». Отрицательное в жизни рассматривалось им в то время лишь как результат недостаточности человеческого о ней знания. Чтобы стать действительной, личность должна отрешиться от своей субъективности и слиться в абсолюте с общим (объектом), что тогда означало для Белинского смириться перед этим общим, каким бы оно ни было. Все существующее во всех его проявлениях критик считал в эту пору закономерным выражением жизни духа, то есть благом, подлежащим приятию.

Это новое мироощущение Белинского, страстно им тогда проповедовавшееся, во многом захватило и Кольцо-

ва. И в письме своем поэт явно продолжает тему разговоров, ведшихся в Москве и, очевидно, перешедших в переписку. «В эту пору (то есть в пору пребывания Кольцова в Петербурге и Москве в 1838 году. — *Н. С.)* я много разрешил темных вопросов, много разгадал неразгаданных прежде истин, много узнал я от вас для души моей святого, чего я целый век сам бы не разрешил и не сделал. Да, я теперь гляжу на себя — и не узнаю. Где эта бессменная моя печаль, убийственная тоска, эта гадкая буря души, раздор самого себя с собою, с людьми и с делами? Нету ничего, все прошло, все исчезло — и я на все гляжу прямо и все сношу и сношу тяжелое без тягости. И всем этим вам обязан... Жалею об одном, что нельзя было жить еще месяц с вами: хоть бы месяц один еще, а то есть еще кое-какие вопросы темные. Я понимаю субъект и объект хорошо, но не понимаю еще, как в философии, поэзии, истории они соединяются до абсолюта. Не понимаю еще вполне этого бесконечного играния жизни, этой великой природы во всех ее проявлениях, и меня ничего на свете так не успокаивает в жизни, как вполне понимание этих истин. Черт ее знает, как худо работает моя голова: что хочется понять, не скоро понимает, а теперь, без вас, я сам собою вовсе не доберусь до этого».

Кольцов сетует, что не может «добраться» до того, из чего сам Белинский вскоре начнет выбираться. Любопытно, что Кольцов тоже вроде говорит о примирении с жизнью. Он даже готов исповедовать его как общий взгляд на мир, согласен принять как житейский принцип. Но именно шаткость философских доказательств (которые, впрочем, он пока готов понять как собственную неспособность к уразумению) его останавливает и удерживает от полного примирения, как и у Белинского, довольно насильственного и очень краткого.

Тяжкие воронежские впечатления (как позднее у Белинского петербургские), конечно, тоже хорошо отрезвляли. Но любопытно, что и в одном из следующих писем, октябрьском письме того же 1838 года, Кольцов опять говорит именно о философских основаниях такого примирения, впрочем, говорит уже между делом, почти как о вопросе внутренне решенном, с оттенком пренебрежения и почти с вызовом: «Субъект и объект я немножко понимаю, а абсолюта ни крошечки, — впрочем, о нем надо говорить долго, — а если и понимаю, то весьма худо хорошо тогда понимать, когда сам можешь передать; без этого понятье не понятье». Здесь ни пиэтета к этим ка-

тегориям, ни тем более отклика им во внутреннем строе души нет.

Да и не судьба ли Кольцова и его образ, а может быть, и его слова стали для Белинского в ряд аргументов, сокрушавших веру в разумность существующей действительности и необходимость примирения с нею. Во всяком случае, именно о Кольцове вспомнил Белинский, когда в очередной раз бросал в 1840 году вызов всепримиряющему гегелевскому разуму: «Бедный Кольцов, как глубоко страдает он. Его письмо (из Воронежа, от 15 августа 1840 года. — *Н. С.*) потрясло мою душу. Все благородное страждет. Одни скоты блаженствуют, но те и другие равно умрут: таков вечный закон разума. Ай да разум!»

Много позднее, в декабре 1842 года, уже после известия о смерти Кольцова, формально еще не подтвержденного, Белинский сообщал Боткину: «Краевский получил еще стихи на смерть Кольцова, но уведомления никакого — когда, как и пр. Все еще как-то ждется чуда — не воскреснет ли, не ошибка ли? Страдалец был этот человек — я теперь только его понял. Мне смешно, горько вспоминать, как перезывал я его в Питер, как спорил против его возражений. Кольцов «знал действительность». Пишет здесь критик о вещах житейских, в частности о предполагавшемся переезде в Петербург, куда Белинский призывал Кольцова, «спасая душу», переселиться из Воронежа. Но последняя фраза явно несет смысл гораздо более широкий: стоит за ней и новое отношение к действительности самого Белинского.

В литературе давно уже высказывалось мнение, что думы Кольцова не только нечто второстепенное в его творчестве, но и нечто для него вредное, сыгравшее для его поэзии роль роковую. Как, впрочем, и все его философствования, результатом которых эти думы являлись. «Прасол Кольцов, — писал критик Ап. Григорьев, — умевший ловко вести свои торговые дела, спас бы нам надолго жизнь великого лирика Кольцова, если б не пожрала его, вырвавшись за пределы, та раздражающаяся действительностью, недовольная, слишком впечатлительная сила, которую не всегда заклинал он своей возвышенной и трогательной молитвой:

О, гори лампада,
Ярче пред распятьем...
Тяжелы мне думы,
Сладостна молитва.

В другой статье он же, говоря о «болезненном действии мысли», указывал на «мучительные думы, так разрушительно подействовавшие на натуру и жизнь нашего высокого народного лирика».

Почти все думы были написаны Кольцовым в период его активных общений с московским литературно-философским кругом в 1836—1837 годах, но и почти все лучшие песни и стихи «нашего высокого народного лирика» написаны одновременно или позднее, то есть период напряженных философских исканий предшествовал поэзии, мысль, устремляющаяся к глобальным проблемам бытия, помогала творческому самоопределению.

Нужно иметь в виду, что Белинский критически оценивал думы в 1846 году. Если воспользоваться четкими философскими определениями, то материалист Белинский оценивал идеалиста Кольцова, а в известном смысле и идеалиста Белинского тоже [1].

Для Белинского вообще характерно было при анализе тех или иных литературных явлений, типов и образов освобождаться от того, что ему казалось иллюзиями в его собственном прошлом. Его нападки на Шиллера в конце 30-х годов — это и обличение собственного «шиллеровского» прекраснодушия в начале и середине 30-х годов — в пору «телескопского ратования». В статье о Гамлете он пишет и о собственном гамлетизме. В религиозно-философских думах Кольцова критик мог найти и находил свои мысли и настроения тех, уже далеких и иных, 30-х годов. В 1846 году, скажем, вопрос о боге, о бессмертии души и т. п. Белинского просто не трогал, как уже решенный им к тому времени в материалистическом духе. Но Кольцова, как и самого Белинского, в конце 30-х годов он волновал.

Были ли, однако, эти религиозно-философские думы лишь вознесением молитв, одна из которых так умилила Григорьева: «Тяжелы мне думы, сладостна молитва». Еще в конце прошлого века один из критиков писал о Кольцове: «Ум его обыкновенно смолкал под бременем

---

[1] Собственно, этот-то идеализм и называет он мистицизмом, не имея в виду, конечно, никакого мистицизма в узком и точном смысле этого слова, с которым связывают веру в возможность непосредственного общения человека со сверхъестественными силами. Никакого мистицизма в этом последнем значении у Кольцова нет, и говорить о нем можно не более чем о «мистицизме», например, того же Белинского в 30-е годы, Н. Станкевича и др.

дум и успокаивался или в тихой молитве, или в благоговейном сознании человеческого ничтожества перед вечными тайнами бытия». Но дело в том, что и в рамках религиозного, идеалистического сознания думы эти были «тяжелыми» — и «тяжелыми» для такого сознания. И если в первой из дум, в «Великой тайне» 1830 года, молитва и дума действительно еще были разведены и противопоставлены, то сама «Молитва» года 1836-го названа думой, то есть «тяжелые» думы возникают по поводу ее, вопросов вроде бы не предполагающей. А Кольцов задает один из самых роковых:

Спаситель, Спаситель!
Чиста моя вера,
Как пламя молитвы!
Но, боже, и вере
Могила темна!
Что слух мой заменит?
Потухшие очи?
Глубокое чувство
Остывшего сердца?
Что будет жизнь духа
Без этого сердца?

Ведь жизнь, по вероучению, есть любовь, ведь бог есть любовь. Но что же жизнь духа, без этого сердца, без любви? Вот какие вопросы ставил Кольцов. «Боже мой, — воскликнул Белинский, — да много ли на свете профессоров и докторов истории, прав, которые бы хоть подозревали и возможность подобных вопросов?!» Недаром Белинский же говорил по поводу этой думы, что «такие стихи могут выходить только со дна души, которая смотрит на жизнь, не зажмурясь», а Станкевич вспомнил их при посещении Михайловского монастыря в Киеве: «Слух онемеет, очи погаснут. И что жизнь без этого сердца?» Думы «Вопрос» и «Человеческая мудрость», образовавшие что-то вроде стихотворной дилогии, есть, наверное, один из первых в нашем поэтическом сознании вопросов о человеко-божестве и богочеловеческом, — проблема, которая получит такое широкое и разнообразное толкование у Достоевского во второй половине XIX века, перейдет к веку XX и станет одной из центральных для молодого Маяковского. Конечно, вопрос этот у Кольцова пока еще только брезжит и в конце концов снимается перед лицом приятия бога; но важно отметить, что он уже поставлен:

Что ты значишь в этом мире,
Дух премудрый человека?

Как ты можешь кликнуть солнцу:
Слушай, солнце! Стань, ни с места!
. . . .
...Ты не хочешь.
Нет... премудрый, ты не можешь!
Да, не можешь, раб пространства,
Лет и времени невольник.
Будь ты бездна сил, идей,
Сам собой наполни небо.
Будь ты *всё,* один и всюду.
Будь ты бог, — и слово — дело!
Но когда уж это *всё,*
Бесконечно и одно,
Есть пред нами в ризе света, —
То другой уж власти нет...

Последняя дума Кольцова называлась «Из Горация» и была посвящена П. А. Вяземскому. Начата эта дума с такой заявки:

Не время ль нам оставить
Про небеса мечтать,
Земную жизнь бесславить,
Что есть иль нет — желать?

Белинский увидел в этой написанной менее чем за год до смерти Кольцова и, по словам критика, «превосходной» думе «решительный выход из туманов мистицизма и крутой поворот к простым созерцаниям здравого рассудка». Мнение это неизменно сопровождает думу и по сю пору. Поскольку «Не время ль нам оставить» — одно из последних стихотворений Кольцова и, во всяком случае, последнее в ряду дум, возникает тем больший соблазн объявить ее для Кольцова итоговой. Следует ли, однако, делать это? В кольцовских стихотворениях-посвящениях остро жило ощущение адресата, другого человека, иного мира.

Мистически-романтическая «Ночь» посвящалась Одоевскому, хотя на этом основании вряд ли стоит приписывать Кольцову мистически-романтическое восприятие мира (впрочем, оно не исключено, но лишь как один из поэтических мотивов — далеко не главных). Но вот представить «Ночь» адресованной Вяземскому трудно. Рационалистическая, воспитанная на просветительстве XVIII века, тесно связанная с принципами классицизма поэзия Вяземского предполагает и включает совсем другое — горацианство. Кольцов почувствовал и выразил именно в такой атмосфере рождающиеся и живущие «созерцания здравого рассудка». Без учета такого отстранения, такой двойной уточняющей локализации (Вяземский — Гора-

ций) вряд ли вполне можно понять и оценить это прославление земной (даже не без эпикурейства) жизни — опять-таки лишь один из мотивов могучей кольцовской музыки, которая могла столь на многое откликаться и столь многое выражать. Совсем незадолго до этой думы Кольцов написал думу «Жизнь»:

Умом легко нам свет обнять;
В нем мыслью вольной мы летаем;
Что не дано нам понимать —
Мы все как будто понимаем.

И резко судим обо всем,
С веков покрова не снимая;
Дошло, — что людям нипочем
Сказать: вот тайна мировая!

Вряд ли Кольцов всего через каких-нибудь два месяца «дошел» до того, чтобы сказать «вот тайна мировая» такими стихами:

И сердца жизнь живая,
И чувств огонь святой;
И дева молодая
Блистает красотой!

Это последние строки думы «Не время ль нам оставить». Кроме того, нужно учесть еще одно обстоятельство. Кольцов, видимо, не считал «Не время ль нам оставить» думой и сам ее так не назвал. Заглавие «Дума» в рукописи поставлено рукою Белинского. Оно довольно точно говорит о философской эволюции самого Белинского, проделанной к 1843 году (стихотворение «Не время ль нам оставить» было напечатано после смерти Кольцова в «Отечественных записках» в 1843 году), но из этого еще не следует, что эволюция Кольцова к 1842 году, когда оно было написано, совершалась подобным же образом. Потому-то последней думой Кольцова, им самим так названной, была дума «Жизнь». Приходится сказать, что и общий характер думы «Жизнь», и обязывающее и обобщающее ее название позволяют именно о ней судить если не как об итоговом, то, во всяком случае, как о программном стихотворении Кольцова — вопросы, в ней поставленные, проходят, начиная от «Великой тайны», по сути, через все думы Кольцова.

Как свет стоит, до этих пор,
Всего мы много пережили;
Страстей мы видели напор;
За царством царство схоронили.

Живя, проникли глубоко
В тайник природы чудотворной:
Одни познанья взяли мы легко,
Другие — силою упорной...

Но все ж успех наш невелик.
Что до преданий? — мы не знаем.
Вперед что будет — кто проник?
Что мы теперь? — не разгадаем.

Один лишь опыт говорит,
Что прежде нас здесь люди жили, —
И мы живем, — и будем жить.
Вот каковы все наши были!..

«Любовь к жизни, — писал о Кольцове Валериан Майков, — во всей ее обширности составляла основу его личности и выражалась в его поэзии».

Думы Кольцова еще одно яркое и убеждающее подтверждение такой обширности.

Подобно этому можно было бы сказать, что любовь к литературе во всей ее обширности составляла основу личности и выражалась в его письмах.

Из писем Кольцова видно, каким мог бы он быть да, в сущности, и был литературным критиком. Прежде всего Кольцов отчетливо представлял себе движение русской журнальной и литературной мысли своего, и не только своего, времени. «Сын отечества» и «Телескоп», «Московский наблюдатель» и «Современник», «Русский вестник» и «Библиотека для чтения», «Маяк» и «Пантеон», «Москвитянин» и «Отечественные записки»... Пушкин и Гоголь, Лермонтов и В. Одоевский, Константин Аксаков и Белинский, Шекспир и Байрон, Вальтер Скотт и Фенимор Купер — круг его раздумий и оценок.

Здесь в полной мере проявилось то, что определил в Кольцове А. Станкевич как «широкую русскую способность откликаться на впечатления жизни». В Кольцове не было и тени заскорузлости и провинциализма. В литературе второй половины 30-х годов XIX века, кроме Белинского, немного было людей, судивших о литературе столь верно. Маститые критики той поры хоть на чем-нибудь да срывались: не на Пушкине, так на Гоголе, не на Гоголе, так на Лермонтове. В своих письмах Кольцов дал десятки критических характеристик — и ни разу не сделал промаха. Так, «в поэзии Жуковского он, — по словам того же А. Станкевича, — уже видел недостаток оригинальной силы и самобытного творчества». И это задолго до известных статей Белинского. И даже Некрасов толь-

ко в 1855 году напишет: «Перечел всего Жуковского — чудо переводчик и ужасно беден как поэт».

Время подтвердило точность не только тех или иных суждений Кольцова, но всей иерархии его эстетических оценок. Проще всего вроде бы предположить, что такая система его взглядов сложилась под влиянием Белинского. Первым, кто признавал здесь громадное влияние Белинского, был сам Кольцов, но он отнюдь не был наивным, глядящим в рот учителю учеником, решительно мог противостоять отдельным суждениям критика. По поводу повести Кудрявцева «Флейта», неоднократно Белинским хвалимой, Кольцов недоумевал: «Да расскажите, бога ради, почему «Флейта» хороша, два раза читал — не понял...» Белинский понял позднее, почему «Флейта» не так уж хороша.

Более того, Кольцов не раз высказывал в адрес самого Белинского суждения смелые, категорические и очень проницательные: «Критика Ваша о «Древних стихотворениях Кирши Данилова» чудо как хороша... Рассказ о Прометее чрезвычаен, только, кажется, вы весьма много отдаете Гёте; у Эсхила он точно такой же, идея та же; разве Гёте облек его в лучшую, свою, немецкую, форму. А если идея во время Эсхила не была так выяснена, как во время Гёте, то здесь, кажется, главное уяснение во времени; человечество — живя и своею жизнью — дало ей такой огромный интерес. Одно нехорошо: ваша эта статья растянулась на четыре номера. Я понимаю эту необходимость, но в другом отношении она вас не оправдывает... С критической статьей, особенно философской, этого делать нельзя».

А вот что пишет поэт критику о том, какой должна быть критика. Речь идет о статье Белинского «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке»: «Одно мне не понравилось: напрасно вы ее расположили в разговорную форму. Разговорная форма необходима в драме, на сцене, в драматических отрывках, но, кажется, уж никак не в критике и ученой статье. Как-то второе лицо останавливает всегда и охлаждает внимание. Видишь каждую минуту в нем миф, который по приказу первого лица иногда затеет новый интерес, потом либо сейчас же откажется или согласится с первым; тогда как первое ежеминутно все ползет вперед, как жизнь в человечестве. По-моему, критика должна высказываться прямо от одного лица и действовать повелительно и державно».

Много позднее Герцен расскажет о своем разговоре с Белинским по поводу такой статьи-диалога: «...все, что ты говоришь, превосходно, но скажи, пожалуйста, как же ты мог добиться, два часа говорить с человеком, не догадавшись с первого слова, что он дурак?» — «И в самом деле так, — сказал, помирая со смеху, Белинский. — Ну, брат, зарезал! ведь совершенный дурак!»

Воронежское предупреждение Кольцова прозвучало, может быть, менее категорично, но едва ли не более серьезно: речь шла вообще о том, чем должна быть критическая статья. Трудно сказать, как влияли на Белинского такие предупреждения, но после 1842 года он перестает писать статьи в «разговорной форме».

В 1840 году Кольцов сообщает Белинскому о довольно странных мнениях Константина Аксакова, касающихся Шекспира, Гомера и Гоголя, как бы предваряя бурную журнальную полемику по этому вопросу, которая разразится между Аксаковым и Белинским через два года и станет одной из самых примечательных страниц литературной жизни 40-х годов.

Кстати, именно Кольцов из первых, если не первый, как теперь сказали бы, поставил вопрос об издании — неслыханное тогда дело — отдельной книгой критических статей, а именно статей Белинского: «У нас подобных изданий еще нет, я полагаю, несколько статей прочесть в одной книге разом — для молодых людей было бы полезнее, чем прочесть сто книг... А у нас, кажется, много еще пройдет времени, пока кто-нибудь начнет [читать] подобные вещи, не как критики, но как отдельно ученые статьи, то есть разбирая лучшие произведения домашней словесности и образцовые произведения других литератур. Да когда это будет? Мы не доживем». И не дожил.

Кольцов развивался стремительно и, может быть, поэтому во второй свой приезд в столицы, особенно в Петербург, все более отступал от принятой с самого начала роли, что, очевидно, многих вводило в заблуждение: сдержанный, почти робкий человек, малознающий и малообразованный, которого счастливая судьба свела с людьми многознающими и многообразованными. Проницательный П. В. Анненков, только один раз видевший поэта, в 1840 году, понял эту особенность его поведения. Осенью на последнем пароходе, отплывавшем из Петербурга в Любек, Анненков и Катков отправлялись в Германию. До Кронштадта их провожали Белинский, Панаев и Коль-

цов: «Как теперь смотрю на малорослого коренастого поэта, со скуластой, чисто русской физиономией и с весьма пытливым и наблюдательным взглядом. Все время проводов он молчал, как бы озадаченный и подавленный умными речами, которые выслушивал с покорным вниманием неофита. Это была как будто обязательная маска, принятая им в литературном обществе, которое так много делало для распространения его известности, потому что и ко мне, совершенно безвестному и нимало не влиятельному лицу кружка (кружка, группировавшегося в начале 40-х годов около Белинского. — *Н. С.*), он подошел после обеда в Кронштадте со словами: «Не забывайте, что вы обязаны нас учить и просвещать». Много было искреннего в его чувстве, которое ему подсказывало подобные слова, но много и в них было также и от привычки, взятой в постоянном обращении с кругом писателей. Она не мешала, однако же, его суждению. По словам Белинского, не было человека более зоркого, проницательного и догадливого, чем Кольцов с его спокойным и покорным видом: он распознавал людей сквозь кору наносной культуры и цивилизации и судил о них очень правильно и самостоятельно».

Положение Кольцова, тянувшегося к культуре, но с самого начала во многом избавленного и от возможности покрыться корой культуры наносной, тем легче открывало ему любую поверхностность и наносность. Слишком органичным и коренным человеком он был, слишком «естественным», чтобы обольститься такой наносной культурой человеком почвы, отнюдь не в отвлеченном смысле этого слова, поэтом «земли». Он действительно имел возможность выходить к самой сути, к самому естеству любого человека, проникая в его человеческую глубь и потому в самом деле оказываясь одним из самых проницательнейших людей своего времени.

А поле наблюдений его все расширялось. В этот свой, 1838 года, приезд Кольцов уже не только посещает литераторов, но и принимает у себя: «По воскресеньям я обедаю у Венецианова, а иногда у Григоровича. Эти обои добрые люди; ко мне ласковы, хороши и, кажется, любят. По вторникам бываю у Гребенки: он ко мне хорош. По средам у Кукольника и у Плетнева. Плетнев ко мне будто неподдельно хорош. <...> По понедельникам вечера у меня, и всех их было два. На первом были Полевой, Кукольник, Краевский, Булгарин, Бенедиктов, Гребенка, Бернет, Прокопович, Пожарский, Шевцов, Са-

харов и моих земляков человек восемь. На другом — Владиславлев, Краевский, Никитенко, Григорович, Мокульский, Венецианов, Туранов, трое Крашенинниковых, Посылин, Бенедиктов, Гребенка, Бернет, Пожарский, Прокопович, Губер, Шевцов, Сахаров и земляков человек пять».

Во-первых, любопытна сортировка людей по принципу отношения к себе и возможности использовать в своих целях: «ко мне хорош», «неподдельно хорош» и т. д. Кольцов, вообще, довольно часто и тонко умеет хитрить и, кстати, откровенно признаваться в таких хитростях и в их причинах. Но ни хорошее, ни ласковое, ни даже неподдельно хорошее отношение не могло скрыть от него истинного характера многих столичных литературных сборов. Казалось бы, скромный провинциальный купец должен был быть преисполнен гордости и удовлетворения от чужих и собственных вечеров, в которых участвуют, конечно, не Гоголь, не Лермонтов, не Жуковский, но все же и Плетнев, и Краевский, и Никитенко: «Вот каково, Виссарион Григорьевич! В Питере живем и добрым людям вечера даем!» В 1838 году Кольцов уже ведет себя иначе и по отношению ко многим литераторам. Не без иронии сообщает он Белинскому и Бакунину о своем новом положении: «Да, новость: я в этот раз вдвое поумнел противу прежнего; так славно толкую, говорю уверенно, спорю, вздорю, что беда. Риск — благородное дело. Я с самыми учеными людьми толкую, спорю, пускаюсь в суждения и убеждаю их на своем мнении. Виссарион Григорьевич, Михаил Александрович, как думаете? — ведь, право, смешно! Чего на свете нет! В первый раз я все больше разыгрывал молчанку, а теперь — дудки. Нет, братцы, лихо говорю; это правда, что оно поподручней; а мне, ей-богу, что-то хочется и самому кой-кого из молодежи одурачить; пусть наши копыты помнят».

Но происходит не просто, так сказать, выравнивание с «важными учеными людьми». Кольцов стремительно идет вперед и быстро уходит вперед от уровня среднего литературного быта и обихода.

Вот какой приговор вскоре выносится и этим вечерам в Питере, и «добрым людям», их участникам: «О душевной жизни вечеров моих и прочих не знаю, что вам сказать. Кажется, они довольно для души холодны, а для ума мелки; в них нет ничего питающего душу; искра божьей святой благодати не проникает. Молчанье в них

играет первую роль; оттого-то, кажется, я и не последний. Тихий разговор по уголкам между двух-трех человек. Кругом диванного стола серьезный разговор о пустоши людей серьезных — не по призванью, а по роли, ими разыгрываемой. На них можно скорее приучить себя к ловкому светскому обращению, а ума прибавить нельзя ни на лепту. Завтра буду у Ишимовой; хочется посмотреть, что есть еще здесь». Что есть что, кто есть кто — становилось ясно.

Недаром Белинский писал позднее: «Когда он (Кольцов. — *Н. С.*) освобождался от замешательства первого представления и сколько-нибудь осваивался с новым лицом, оно интересовало его. Говоря мало, глядя немножко исподлобья, он все замечал, и едва ли что ускользало от его проницательности — что было ему тем легче, что каждый готов был видеть в нем скорее замешательство и нелюдимость, нежели проницательность. Ему любопытно было видеть себя в кругу тех умных людей, которые издалека казались ему существами высшего рода; ему интересно было слушать их умные речи. Много ли наслушался он их, об этом мы кое-что слышали от него впоследствии...

...Кто познакомится в Петербурге с первыми литературными знаменитостями, тому ничего не стоит познакомиться с второстепенными. Сперва он и здесь больше молчал и наблюдал, но потом, смекнув делом, давал волю своей иронии... О, как бы удивились многие из фельетонных и стихотворных рыцарей, если бы могли догадаться, что этот мужичок, которого они думали импонировать своею литературною важностью, видит их насквозь и умеет настоящим образом ценить их таланты, образованность и ученость...»

Кольцов не только по делам своим приехал в Петербург, но удерживали его здесь уже только дела, вернее, одно дело: «Смотря насколько оно растянется, настолько и мое житье здесь подлинеет». И через несколько дней он сообщает о том же: «Дело мое еще не кончилось: проживу в Питере две недели, а может, и больше; но только это будет против моего желания, а разве дело задержит».

Дело задерживало, и снова Кольцову приходилось прибегать к высоким покровительствам и просить о протекции Жуковского, Вяземского, Одоевского. Конечно, это помогали литераторы литератору, но и люди вельможного круга или почти вельможного круга человеку

иного, третьего сословия, купцу, даже мещанину.

Кольцов, конечно, был человеком своего сословия со многими его житейскими привычками и жизненными началами.

Непременная примета старорусского купеческого быта — чаепитие. Купец Кольцов — большой любитель почаевничать. Это прорывается в воспоминаниях и в письмах о нем даже таких людей, как Белинский, не очень-то обращавших внимание на быт. Но Кольцов — купец и в ведении своих дел.

«...Он был точно кремень, — вспоминал Катков. — Не позволял он себе нежничать и сентиментальничать. Только иногда, в заветные минуты распахивалась его душа. А то он даже любил пощеголять своей практичностью и, может быть, даже не без маленькой аффектации, рассказывал, бывало, о разных прасольских своих проделках, о своем искусстве надуть опытного покупщика, продать дороже, купить дешевле.

— Скажите, Алексей Васильевич, — прервал его однажды кто-то посреди таких рассказов, — неужели бы вы и нас надули?

— И вас бы надул. Ей-богу, надул бы. Последним готов поделиться с вами, а на торгу не дал бы спуску, не удержался бы. Лучше после отдал бы вам вдвое, а тут надул бы». Кольцов всегда — с хитринкой, с расчетом, человек очень и очень «себе на уме». Особенно когда он имеет дело с дельцами же, хотя бы и на книгоиздательской почве. Так часто бывало с Краевским, с Владиславлевым. В одном из писем 1839 года, пожаловавшись на многие дурные дела, Кольцов пишет Краевскому: «Теперь вот беда! Нынешний год по нашей торговле был весьма дурен, у нас много рогатого скота упало; то есть подохло, а капитала своего мы имели самую малость: торговали на чужой, пользуясь доверием. Скот подох, деньги, на него употребленные, пропали...» Несколько раньше Кольцов сообщает Белинскому по поводу полученного от Владиславлева отказа в одной из протекций: «На днях получил письмо из Питера от Владимира Андреевича Владиславлева, в котором он пишет: «...Письмо, что вы просили к советнику, я не посылаю, затем, что не у кого взять». Хорошо, пусть не у кого взять; так — положим, конечно, не хочется заняться. Ну, да заставить нельзя — пусть так. Только я ему сейчас надрал славное письмо, говорю: «Мои дела худы, деньги прожил, скот подох, караул! помогите, добрые люди!» Оно немножко

нехорошо конфузить себя чересчур, да почему же перед ними на колено не понизить своих обстоятельств, когда они, сами ставши на него, говорят: «Помилуйте, ей-богу, не виноваты; мне можно обмануть, а другому давши слово... Но ничего... на свете и не таких еще диковинок много».

В такого рода делах Кольцов нередко «на колено понижает» свои обстоятельства.

И тому же Краевскому, и Владиславлеву, и многим другим Кольцов часто жалуется на возможность полицейского преследования по долговым обязательствам в пору, когда дела худшели. Вот письмо Краевскому осенью 1839 года: «Люди не виноваты, что у нас скот подох, — их (деньги. — *Н. С.*) надобно заплатить, а заплатить нечем. Что вы прикажете тут делать? Будь их немного, — тысяча, другая, третья, — я бы тотчас нашелся, как горю пособить, а то их до двадцати. Как перевернуться? Как эту реку перейти, не захлебнуться? Вот мое настоящее горе. Конечно, бог не без милости, человек не без греха, и я бы от этого греха хоть бы ускользнул из города — но что будет со стариком? Положим, можно забыться и для этого на время уехать; да не пустят проклятые кредиторы: вида (вида на жительство, то есть что-то вроде паспорта. — *Н. С.*) — черт их побери! — не дадут, на дороге остановят, в угол прикуют».

В том же 1839 году о том же он писал Владиславлеву, хотя назывались другие денежные суммы — уже две тысячи, а не двадцать тысяч, как Краевскому, видимо знавшему кольцовские дела и то, что две тысячи вряд ли бы составили для Кольцова непреодолимую проблему. Кольцов сообщает Белинскому: «Я писал ему (то есть Владиславлеву. — *Н. С.*): «Хоть дела мои дурны, но все мне нельзя ехать к вам, потому что я должен две тысячи рублей; отдать нечем, и полиция не пустит. Хотел бы, думаю, — да нельзя». Сам Кольцов комментирует Белинскому это свое сообщение: «Конечно, мои дела дурны, да не так еще, как я писал ему. Но что же с ними делать? Ведь надо как-нибудь дощупаться правды, — а у этих людей деньги скорее всего откроют грудь. Я вперед знал: не только рублей две тысячи, а копеек Владиславлев и Краевский не дадут».

Если у таких людей, как Краевский или Владиславлев, возможно, всего скорее «открывали грудь» деньги, то у таких, как Вяземский, Жуковский, Одоевский,

«грудь открывалась» иначе. Но и здесь у Кольцова подчас не обходилось без хитростей.

Конечно, и Жуковский, и Вяземский, и Одоевский были люди благородные, Кольцова ценившие, к нему доброжелательные. Он, естественно, со своей стороны, уважал в них больших литераторов и был им благодарен как человек. Но тем более, читая письма Кольцова, нельзя не видеть, что это пишет не равный равному, что это припадает мещанин к князю, что это бьет челом проситель. Это не совсем обычная хитрость, как то подчас имело место в делах с Краевским. Во всем этом есть свое чувство, даже поэзия и в то же время своеобразные «поэтические» штампы. Вот письмо Одоевскому: «Благодарю ваше сиятельство! Кроме минут священного унынья, если были в моей жизни прекрасные минуты, которые навсегда остались памятными мне, то все они даны мне вами, князем Вяземским и Жуковским: вы могучею рукою разогнали грозную тучу, вы из непроходимого леса моих горьких обстоятельств взяли меня, поставили на путь и повели по нем... Ваше сиятельство, не смею вас просить, но, кроме вас, просить мне некого: что хотите делайте, но еще примите участие в моем положении, еще замолвите слово и разгоните собирающуюся над головой моей тучу, пока она мне не разбила голову. Пока вы за меня, никто против меня».

А несколько раньше Кольцов обращается к Жуковскому, и здесь рисуется чрезвычайно жалостная картина, а положение уже совершенно «понижается на колено»: «Тяжело мне было приходить к вам с моей нуждою; тяжело мне было говорить о ней, тяжело мне было просить вас, особенно в последний мой быт в Петербурге, — просить и в ту пору знать почти, что вам не до меня, знать, что вы заняты больше обыкновенного и как это нужно... И в эту-то пору необходимость меня заставила ходить к вам, мешать, просить вас. Проклятая судьба! До чего ты не доведешь человека? Одно только утешало меня в это время, что не дьявольский умысел, а крайность так велела делать: старость отца, дурные его дела, в которых он запутан, его честное имя — все мое настоящее, а может быть, и будущее богатство. Скажут «плати». А денег нет. И где взять? Негде... Пуще всего еще страшит меня одна мысль: если лишат всего и если случай приведет явиться к вам того человека, которого вы так много обласкали, которому покровительствовали, — придет он к вам, измаянный весь горем, оборванный, зимой

в летнем платье... О, дай бог все претерпеть, но не дожить до этой встречи».

Здесь и «честное имя» отца, и «измаянный горем», и «оборванный, зимой в летнем платье». В реальной жизни явно не было ничего подобного. Можно подумать, что это говорит какой-нибудь бедный приказчик, какой-нибудь, если уж вспомнить литературу, Митя из пьесы Островского «Бедность не порок». Но это пишет человек, ведущий дела на многие тысячи, строящий большой доходный дом, и единственный сын, то есть единственный наследник своего отца.

Позднее Кольцов сообщал Белинскому как раз об этом письме. «Письмо же состояло из двух пунктов; первый: искренне благодарил его за дело, в котором принимал он участие, а другой, — в котором говорил о моих теперешних обстоятельствах и за которые я теперь краснею. Глупо сделал, что писал ему о них: для чего? Слабость. Думаешь, авось или то-то и то не будет ли». Недаром, когда речь шла о новом сборнике его стихов, Кольцов сообщает Белинскому: «Всем большим людям (Жуковскому, Одоевскому, Вяземскому. — *Н. С.*) я говорю: хотел бы, да средств не имею, а другим: погодить хочу, еще прибавлю, тогда уж разом». То есть Краевскому, например, он дает в связи с задержкою сборника одни объяснения, а, скажем, Жуковскому уже совсем другие. Вот в каком тоне обращается Кольцов к Жуковскому в письме от 2 мая 1838 года из Москвы: «Ваше превосходительство, добрый вельможа и любезный поэт Василий Андреевич! Снова нарушаю ваш покой, снова, может быть, в эту минуту я прерываю священных ваших трудов любимые мечты, которыми с давнишних пор воспламенял и теперь воспламеняю мою холодную душу. Не нарушать, молиться б, молиться б мне за них должно...» А раньше он писал Белинскому в Москву: «У Жуковского я был еще раз по своему делу: он ни то ни се. У Вяземского был только раз, он тоже ни то ни се».

Кольцов был в этом письме не слишком-то прав и скоро сам в этом убедился. Ибо и Вяземский и Жуковский как раз были и «то и се», снова самым энергичным образом пуская в ход свои связи в пользу просителя-поэта. Кольцов жалуется Белинскому в письме 14 марта, а буквально на следующий день Жуковский пишет товарищу, то есть заместителю министра государственных имуществ, Николаю Михайловичу Гамалею, письмо, горячо рекомендующее Кольцова, и через три дня в новом

письме Гамалею Жуковский опять усиленно просит за Кольцова. При этом в сложную систему просьб вовлекаются многие люди с многообразными взаимоуслугами и взаимообязательствами. «Данное вами письмо к О..., — благодарит Кольцов Жуковского, — и письмо князя Вяземского имели полное влияние на мое дело». О. — очевидно, сенатор 7-го департамента Петр Иванович Озеров, к которому и позднее обращался по делам Кольцова Вяземский путем многоходовой комбинации. Но при всех успехах Кольцов недаром отмечает, что Вяземский, Жуковский «ни то ни се». «В эту поездку (то есть зимой 1838 года. — *Н. С.*), — делится он с Краевским, — я, кажется, наскучил Василию Андреевичу, что мне заметно очень показалось его на меня неудовольствие. Может быть, я ошибаюсь, дай-то бог, чтобы я ошибся! А все сомненье мучает».

Дело, очевидно, не в том, что Жуковский или Вяземский были невнимательны. Они по-прежнему старательно протежировали поэту. Дело в том, что сам-то Кольцов все более остро, почти болезненно начинает реагировать на необходимость просить, «унижаться», — может быть, даже это слово стоит здесь избавить от кавычек, «хитрить», — и опять-таки, наверное, кавычки чуть ли не излишни. Конечно, это унижение особое — перед людьми, которых он ценил, уважал и которым был искренне благодарен. Конечно, эта хитрость особая, с людьми, которые тебя ценят и уважают. Но, может быть, потому-то тем более мучительно было и унижаться и хитрить. И чем дальше, тем с большей силой это начнет осознаваться, пока не решится он — все, баста, хватит. Но это позднее. Пока поездки в Петербург и Москву с деловой точки зрения себя оправдали. «Дело, — сообщает Кольцов Краевскому, — которое так долго меня мучило и носило по свету, в котором вы так много принимали участие по доброте души вашей, — я был так счастлив, — приняли на себя труд покровительствовать мне его превосходительство Василий Андреевич Жуковский и его сиятельство Петр Андреевич Вяземский, которым я обязан навсегда моею благодарностью, — это дело, наконец, слава богу, кончилось, и кончилось хорошо». В начале июля 1838 года Кольцов вернулся в Воронеж.

ВОРОНЕЖ И СТОЛИЦЫ. ПИСЬМА

«Воронеж, — удовлетворенно писал Кольцов Белинскому по возвращении на родину, — принял меня противу прежнего в десять раз радушнее; я благодарен ему». Причины такого радушия были многообразны и у разных людей свои. Кольцов уже имел славу поэта не только воронежского, но и как бы столичного. За многомесячное, почти полугодовое отсутствие по поводу его столичных пребываний в Воронеже родилось немало сплетен. «До меня люди выдумали, будто я в Москве женился: будто в Питер уехал навсегда жить, будто меня оставили в Питере стихи писать; будто за «Ура!» я получил тьму благоволений. И все встречаются со мной и так любопытно глядят, как на заморскую чучелу».

Ну, в конце концов «женитьба» в Москве дело житейское, а вот «благоволения» за «Ура!» для воронежского общества, конечно, уже выглядели серьезными и действительно придавали поэту реальный вес. Тем более что это самое «Ура!» в Воронеже хорошо знали, ибо оно было связано с монаршими посещениями города в 1837 году, да и написано было тогда же. Вот это «Ура!»:

Ходит оклик по горам,
По долинам, по морям:
Едет белый русский царь,
Православный государь.
Вдоль по царству-государству...
Русь шумит ему: «Ура!»

Ходит оклик по горам,
По долинам, по морям:
Свет-царица в путь идет —
Лаской жаловать народ...
Ей навстречу, на дорогу
Русь валит, шумит «Ура!»;

Ходит оклик по горам,
По долинам, по морям:
Князь наследный, сын царя,
Дня румяная заря... и т. д.

Дореволюционные комментаторы даже высказывают предположение, что Кольцов, передавая стихотворение Жуковскому, прямо рассчитывал на представление царю и на

«благоволения». Сколько мы знаем, «благоволений» не было, так как явно не было и представления. Трудно сказать, рассчитывал ли на них Кольцов. Может быть, и рассчитывал. Во всяком случае, он сообщал Белинскому в феврале 1838 года следующее: «Я ему (Краевскому. — *Н. С.*) отдал «Ура» и «Пора любви»... Жуковскому передал «Ура».

Получается: Краевскому «Ура» отдал, то есть для напечатания в журнале, что тот вскоре и сделал. Жуковскому — «передал». Для государя? Для наследника? Второе даже вероятнее, тем более что предполагавшийся новый сборник стихов поэт хотел посвятить именно цесаревичу. По крайней мере, его искренность здесь не подлежит сомнению. Вообще, судя по всему и прежде всего судя по письмам, политически, в собственном смысле этого слова, Кольцов был абсолютно индифферентен. Даже точнее: он вполне был сыном и своего народа, и своего сословия, и своего времени, и, скажем, его монархизм, опять-таки в собственном и точном смысле этого слова, безусловен, бесспорен и безвопросен. Не забудем, что ведь даже Пугачев провозглашался хотя и народным, но — царем. Так что монархическое кольцовское «Ура!» не было никаким тактическим приноравлением, хотя и писалось «к случаю».

Кольцов не только был в этих своих стихах явно искренен, но и, очевидно, считал их одними из лучших, потому-то он и писал Белинскому, что, отдав Краевскому стихи «Ура!» и «Пора любви» «по старой дружбе», счел отдать лучшее. «Краевский, — почти сразу поделился с Белинским Кольцов, — напечатал «Ура!» с ужаснейшей похвальбой».

Стихи, подобные кольцовскому «Ура!», Белинского в конце 30-х годов не раздражали. Это уже в 1846 году он, конечно же, не включит эти стихи в подготовленный им сборник Кольцова.

«Жуковскому, — сообщал Кольцов критику в 1838 году, — передал «Ура!», он на нее ничего не сказал». В 1838 году такие стихи скорее у Жуковского вызвали настороженность, возможно, даже горечь. Конечно, Жуковский — монархист и автор гимна «Боже, царя храни». Но, может быть, он увидел в таких стихах искательность, может быть, он помнил о «народных» поэтах, удостаивавшихся высочайшего внимания, и боялся увидеть Кольцова в этом ряду. Ведь знаки царского благоволения уже получил, например, Федор Слепушкин, которого Жу-

ковский много лет хорошо знал. Один из современников вспоминал о визите Слепушкина к довольно известному в свое время поэту-сатирику и издателю А. Ф. Воейкову: «...в комнату вошла личность, поразившая меня своим костюмом и вообще своею наружностью. То был плотный, дебелый коренастый русый бородач, остриженный в скобку, с лицом кротким и с тихою улыбкой на лице, одетый в такой кафтан, зеленого цвета, который называется «жалованным», весь в золотых галунах по груди, рукавам, полам и подолу, с поясом из золотых кистей и с такими же кистями на всех застежках. При виде этого золотого человека Воейков очень, очень обрадовался и вскричал: «А! Русский Борнс (то есть Бернс. — *Н. С.*)! Федор Никифорович, как я рад тебя видеть!» И он обнимал и целовал почтенного русского бородача».

На стандартную роль «русского Борнса», «почтенного русского бородача», хрестоматийного русского человека из народа Кольцов не годился и, надо думать, жалованную униформу на себя не напялил бы. Конечно, словом «псевдонародный» всего облика поэта Слепушкина не определить. Но всенародный-то поэт Пушкин, шутливо обыгрывая созвучие, отметил облагодетельствованного в отличие от Пушкина Слепушкина: «...Что это, в самом деле? Стыдное дело. Сле-Пушкину дают и кафтан, и часы, и полумедаль, а Пушкину полному шиш».

Подобно Пушкину, получил «шиш» в смысле благоволений и народный поэт Кольцов. Всего скорее действовала общая фатальная причина, трагическая коллизия, может быть не всегда сторонами осознаваемое, но непримиримое противоречие: поэт и царь. Федор Слепушкин — да. Александр Пушкин — нет. Михаил Лермонтов — нет. Алексей Кольцов — нет.

Но воронежское общество могло думать о тьме благоволений. Отец же тем более мог об этом думать, что дело, веденное сыном в Москве, завершилось благополучно: «Старик отец со мною хорош; любит меня за то, что дело кончилось хорошо: он всегда такие вещи очень любит». Вскоре Кольцов снова сообщает Белинскому: «С отцом живем хорошо, ладно — и лучше. Он ко мне имеет больше уважения теперь, нежели прежде, а все виною хороший конец дела; он эти вещи любит, и хорошо делает; ему, старику, это идет». Кроме того, Кольцов, разрешив дело в Москве, усиленно занялся дома делами, очевидно отцом довольно запущенными. Это прежде всего строительство дома: «Стройка дома без меня и дела тор-

говые у отца шли дурно; теперь, слава богу, плывет ровней».

Скоро землякам поэта, глядевшим на него после приезда из столицы как на «заморскую чучелу», пришлось убедиться, что поэт, внешне во всяком случае, остался тем же «материальным» человеком, опытным хозяином и умелым коммерсантом. Тем более что Кольцов никогда не пытался играть в поэта, человека не от мира сего, и делами своими спустя рукава не занимался.

«Милый Виссарион Григорьевич! Здесь вот он — я. Весь день пробыл на заводе, любовался на битый скот и на людей оборванных, опачканных в грязи, облитых кровью с ног до головы. Что делать? — дела житейские такие завсегда. <...> Ох, совсем было погряз я в этой матерьяльной жизни, в кипятку страстей, страстишек, дел и делишек. <...> Эту-то речь начал я потому: мои земляки решили наконец: если б он был человек что-нибудь мало-мальски похожий на людей, то он должен бы вести себя вот так, вот так да вот так, а то живет себе, как мы, — дурак! Но пусть их говорят, мне же в настоящую пору надобно непременно заняться делом вещественным. Шестимесячная отлучка моя наделала хлопот, многие дела торговли шли уже дюже плохо; вот я и принялся их поправлять да поправлять, да кое-что и пошло своей дорогой».

«Своей дорогой» шли торговые дела. И конечно, отцу очень хотелось, чтобы «своей дорогой» шли и прочие житейские дела и отношения. Он отнюдь не был равнодушен к литературным успехам сына. Конечно, занимала его не собственно литературная сторона. Но внешние знаки признания, да и успех ведения судебных дел, прямо вытекавший, как оказалось, из литературного успеха, располагали к сыну. Располагали они и к гонору и хвастовству, подчас неумеренному. Человек по характеру увлекающийся, часто зарывавшийся в своих торговых делах, Василий Петрович Кольцов и здесь впадал в крайности. «Литературная известность сына, — рассказывал де Пуле, — вскружила отцу голову, о литературной репутации его он очень много, хотя и по-своему, заботился. В своих рассказах об этом увлекался до гипербол, до лжи, быть может, и невольной. По словам Василия Петровича, к сыну его приезжали из Питера курьеры, царская фамилия звала его ко двору, заказывали ему песни, все из проезжавших через Воронеж и навещавших его сына обращались у него в сенаторов и генералов».

Вообще вся, так сказать, внешняя сторона литературного продвижения сына воспринималась, принималась и поддерживалась. Не понималось только, что есть еще сторона внутренняя, что решала-то все она. Внешнюю же, конечно, хотелось закрепить в покое и достатке. Сыну нужно было бы остепениться, заводить дом, семью. Была приискана невеста, по всем стандартам достойная: «Находится девушка, купчиха, хочет быть моей женой; она очень собой хорошенькая: блондинка, высокая, стройная, грациозная, добренькая, хорошего поведения, людей зажиточных, отца-матери доброго, семейство большое, капитала порядочно; приданого много, денег ничего и, кажется, без душевных интересов. Моя мать, отец советуют, но мне самому что-то выйти за нее замуж не хочется; дело разойдется».

Любопытен этот герценовской остроты парадокс поэта: «Но мне самому что-то выйти за нее замуж не хочется». Не в ней дело, конечно, обычной, хорошей девушке, купеческой дочке, — но в нежелании Кольцова подчиниться заведенному порядку и строю жизни, войти в него и, может быть, уже никогда из него не выйти. Дело и разошлось. Один из суливших спокойствие и благополучие вариантов отпал.

«Материализм», «материальность», «бес материализма» — все время возникают в кольцовских письмах этой поры. И дело не только в делах торговли, денежных отношениях, хлопотах по строительству доходного дома. Уже летом 1838 года он пишет Белинскому: «Плоха что-то моя голова сделалась в Воронеже — одурел, малого вовсе, и сам не знаю от чего; не то от этих дел торговых, не то от перемены жизни. Я было так привык быть у вас, с вами, так забылся для всего другого, а тут вдруг все надобно позабыть, делать другое, думать о другом. Ведь и дела торговые тоже сами не делаются, тоже кой о чем надо подумать да подумать. Так одряхлел, так отяжелел, что, право, боюсь, чтобы мне не сделаться вовсе человеком материальным. Боже избави!»

«Материальность» все чаще является у Кольцова обозначением общего строя воронежской жизни, не всегда точно определяемой категорией общего жизненного уклада, знаком всего, что не приемлет ум и душа.

Но, может быть, еще сложнее и драматичнее выглядит дело там, где выступала не материальная, а, так сказать, «духовная» сторона воронежской жизни.

«С моими знакомыми расхожусь помаленьку... Наску-

чили все они — разговоры пошлые. Я хотел с приезда уверить их, что они криво смотрят на вещи, ошибочно понимают; толковал и так и так. Они надо мной смеются, думают, что я несу им вздор. Я повернул от них себе на другую дорогу; хотел их научить — да ба! — и вот как с ними поладил: все их слушаю, думая сам про себя о другом; всех их хвалю во всю мочь; все они у меня люди умные, ученые, прекрасные поэты, философы, музыканты, живописцы, образцовые чиновники, образцовые купцы, образцовые книгопродавцы; и они стали мною довольны; и я сам про себя смеюсь над ними от души. Таким образом, все идет ладно; а то что в самом деле наживать себе дураков-врагов. Уж видно, как кого господь умудрил, так он с своею мудростью и умрет».

Господь умудрил воронежского прасола гениальностью, за которую ему скоро пришлось расплачиваться. «Дураки-враги», во всяком случае, сметкой-то были умудрены, хотя бы настолько, видимо, чтобы понять, что о них «думают про себя» и как над ними «смеются от души». Тем более что Кольцов не все молчал. В нем же все хотели видеть лишь малообразованного и малознающего прасола. В позу, в которую, очевидно, не вставали по отношению к Кольцову ни Чаадаев, ни Бакунин, ни Катков, готовы были стать и вставали «образцовые» воронежские поэты, ученые и философы. А «образцовый книгопродавец» — это явно Д. А. Кашкин.

К тому времени отношения между Кашкиным и Кольцовым расстроились и прервались.

Обиду за отца через много лет высказал и сын — В. Д. Кашкин, к тому времени тоже книготорговец, но уже московский. Сообщая об охлаждении отношений Кашкина и Кольцова, он писал: «Причина этого, насколько можно было догадываться, заключалась в том, что отец был оскорблен отношением к нему Кольцова с того времени, как последний возвратился из своей поездки в Петербург, где его обласкали Белинский и его кружок...» И уже совсем по-детски: «А чтобы сравнить, кто из них больше был образован, отец или Кольцов, то, пожалуй, сравнение будет не в пользу Кольцова... У отца есть ошибки, но они попадаются не часто, тогда как Кольцов почти строчки не мог правильно написать».

Де Пуле, представлявший себе Кольцова после возвращения из Москвы верным учеником Белинского и «пропагандистом» его идей, писал: «В разладе с Д. А. Кашкиным, прежним другом и «ангелом», угадавшим призва-

ние поэта, уже решительно нечем оправдать Кольцова. История этого разлада кладет на него как на человека густую тень, ибо свидетельствует о его неблагодарности и лицемерии, с одной стороны, а с другой — о его заносчивости и комичности в роли пропагандиста, что было тотчас же резко замечено и высказано Кашкиным. Кольцов не мог простить этого бывшему другу — ангелу, прервал с ним знакомство и начал мстить ему по-своему, он представлял его в ложном свете Белинскому, который называет его «добрым, но необразованным человеком», и вычеркнул из своих рукописей, отосланных к Белинскому, все следы, напоминающие об отношении его к Кашкину. Достаточно указать на известное стихотворение «А. П. Серебрянскому». Во всех тетрадях Кольцова, где переписывал он не по одному разу свои стихотворения, оно носит название «Посвящение Дмитрию Антоновичу Кашкину».

«Густую тень» на Кольцова здесь прежде всего наложил сам де Пуле. Дело в том, что позиция и взгляды де Пуле очень характерны как отражение позиции и взглядов на Кольцова и тогдашнего, то есть времен Кольцова, воронежского общества, которое де Пуле еще застал, и общества чуть-чуть более позднего, к которому уже принадлежал сам де Пуле. Так что без большой натяжки можно считать, что во многих случаях оценки де Пуле, его характеристики и определения — это глас воронежского общества, раздававшийся тогда, когда будущий биограф был учеником Воронежской гимназии, и продолжавший раздаваться тогда, когда он сам вошел в воронежское общество в качестве довольно заметного члена этого общества и, по сути, оставался им всегда.

К тому же консерватизм известной провинциальности подкреплялся у де Пуле и консерватизмом общественно-политическим: в Белинском он, подобно многим, видел чуть ли не злого гения поэта, смутившего и «развратившего» «органичный», «непосредственный», «чистый» талант Кольцова, натурального человека, представителя неиспорченного народа, вдруг под чуждым влиянием заявившего непомерные претензии.

Впрочем, и москвич И. С. Аксаков писал: «Признавая несомненный талант Кольцова в первых его произведениях, он (Константин Аксаков. — *Н. С.*) не мог, конечно, не замечать в стихах Кольцова позднейшего периода уже отсутствие той простоты и искренности, той непосредственной внутренней правды, которая в поэзии есть су-

щественнейшее достоинство. Едва ли было бы справедливо обрушивать вину на самого Кольцова. Сам он жалок и истинно несчастлив. Виноваты его развиватели».

Кольцову указывалось: «Знай свой шесток!» Такое указание даже не было проявлением злой воли. Ведь «на своем шестке», если уж до конца воспользоваться сравнением, этот «сверчок» пропел такие песни, что чего же больше и куда же дальше. Не понималось лишь, что пропеть такие песни он мог, только будучи гением, «гениальным талантом», по слову Белинского, но, будучи «гениальным талантом», «гением в высшей степени», — уже по слову Одоевского, он не мог остановиться только на таких песнях.

«В начале 40-х годов (еще при Кольцове), — пишет де Пуле, — сам Белинский таким образом высказывается о людях своего кружка: «...нигде не встречал я людей... с такою способностью самоотречения в пользу идеи, как мы. Вот отчего все к нам льнет, все подле нас изменяется...» Все эти стадии философского развития, переживаемые Белинским часто с мучительной болью, не могли не коснуться Кольцова, и касались, проходили по нем, и тоже, но не так же, как всех, и его изменяли! Кольцов, сын степей, «купчик», «поэт-прасол»... и «огромные требования на жизнь...», «упорное отрицание», презрение «грязной русской действительности...». «Как все это дико для нашего времени! — продолжает де Пуле, — нельзя не пожалеть нашего бедного поэта, попавшего под такую ферулу![1] Если бы Кольцов был вроде тех бесцветных, ничем особенно не заявивших себя дарований, какие (как Клюшников, Красов, Кульчицкий и мн. др.) находились в кружке Станкевича и Белинского, тогда бы сожаление не имело места; эти лица по своей образовательной подготовке все же составляли хор, если не действующих лиц философско-литературного кружка. Но Кольцов не был подготовлен даже и для хора, — и вдруг он принимает на себя одну из видных ролей! Комизм, или муки и страдания — ничего иного не могло дать это неестественное положение».

«Кольцов, — продолжал де Пуле, — ушел от Белинского таким же, каким и пришел, — с тою же суммою сведений, но с огромными требованиями от жизни, разбитый и измученный. Бедный поэт!»

---

[1] Ферула — розга, хлыст *(латин.)*. В данном случае учительская линейка, которой наказывали провинившихся учеников.

Бедный поэт! — он не дотянул до того, чтобы стать в хор Кульчицких и Красовых — «не был подготовлен даже и для хора». И вдруг «принимает на себя одну из видных ролей». Естественно, что в Воронеже такая «роль» была тотчас же «резко замечена» и, видимо, ее даже Кашкин не мог простить бывшему другу.

Действительно, стихи, посвященные Кашкину, уже давно были переадресованы Серебрянскому. Это отвечало всей переориентировке Кольцова еще в конце 20-х — начале 30-х годов от Кашкина на Серебрянского.

Но, конечно, дело было не в «неблагодарности», не в «мщении» и уж тем более не в «мстительности» Кольцова. К тому же при жизни Кольцова эти стихи и напечатаны не были.

Было стихотворение «Письмо к Д. А. Кашкину». И с тем же названием оно оставалось всегда. Некоторые другие стихи — того же времени, обращенные к первому учителю, были переадресованы, когда пришел новый учитель, переадресованы хотя бы потому, что они и в самом деле отражали характер литературных отношений между Кольцовым и Серебрянским в 1829—1830 годах точнее, чем характер таких отношений между Кольцовым и Кашкиным.

Не посуди: чем я богат,
Последним поделиться рад;
Вот мой досуг; в нем ум твой строгой
Найдет ошибок слишком много;
Здесь каждый стих, — чай, грешный бред.
Что ж делать! Я такой поэт,
Что на Руси смешнее нет!
Но не щади ты недостатки,
Заметь, что требует поправки...

«Строгой» ум Серебрянского действительно находил ошибки у молодого поэта, правил и недостатков не щадил, ибо многое тогда Серебрянский знал и понимал лучше Кольцова. Сам поэт сетовал, что в иных условиях все могло быть иначе.

Тогда, клянусь тебе, не шуткой
Я б вышел в люди, вышел в свет.
Теперь я сам собой поэт,
Теперь мой гений... Но довольно!
Я чувствую, мой милый друг, —
С издетских лет какой-то дух
Владеет ею не напрасно!

Кольцов и впрямь тогда был в большой мере «сам собой» поэт. И у Серебрянского были все основания его

учить и наставлять. «Мой гений» — писал тогда же о своих стихах, обращенных к Ставрову, Серебрянский. «Мой гений» — пишет в стихах, обращенных к Серебрянскому, Кольцов. У Серебрянского эта формула была и осталась поэтической фигурой. У Кольцова она — и это уже становилось, хотя и немногим, ясно — такой фигурой не осталась. Все это, оказалось, чревато новым драматизмом отношений.

* * *

Серебрянский был человеком во многих отношениях незаурядным. Его высоко ценил Белинский: «Это был человек замечательный, одаренный от природы счастливыми способностями и прекрасным сердцем. Натура сильная и широкая, Серебрянский, будучи семинаристом, рано почувствовал отвращение к схоластике, рано понял, что судьба назначила ему другую дорогу и другое призвание и, руководимый инстинктом, он сам себе создал образование, которое нельзя получить в семинарии. В его натуре и самой судьбе было много общего с Кольцовым, и их знакомство скоро превратилось в дружбу. Дружеские беседы с Серебрянским были для Кольцова истинною школою развития во всех отношениях, особенно в эстетическом. Для своих поэтических опытов Кольцов нашел в Серебрянском судью строгого, беспристрастного, с вкусом и тактом, знающего дело».

Отзыв Белинского выглядит тем более авторитетным и убедительным, что, видимо, он знал Серебрянского через Кольцова и лично. В одном из писем 1838 года Кольцов пишет Белинскому: «Адрес к нему через меня». Явно такое пишется с учетом возможности прямого обращения. Статью Серебрянского «Мысли о музыке», напечатанную в «Московском наблюдателе» в 1838 году, Белинский оценивал очень высоко и, перепечатав в сборнике стихов Кольцова 1846 года, как бы навсегда объединил эти два имени: в таком составе книга и переиздавалась много раз в XIX веке.

Андрей Порфирьевич Серебрянский, сын бедного священника села Козловка Богучарского уезда Воронежской губернии, действительно был одарен счастливыми способностями: живой и общительный, умный и остроумный, веселый и отзывчивый. Внешние приметы артистизма стройного и красивого юноши являли как бы контраст замкнутому, сдержанному Кольцову: всем



А. В. Кольцов.



П. А. Плетнев.

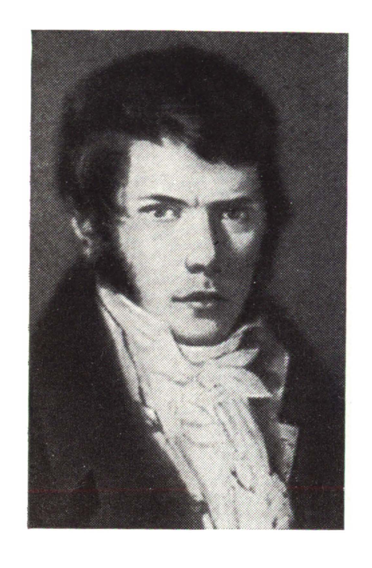
Литературный вечер у Плетнева. Рисунок П. Бореля.



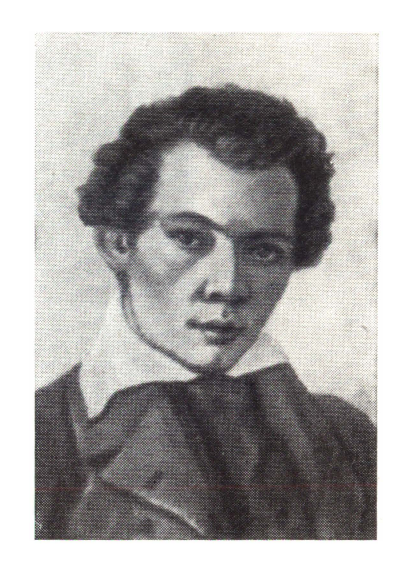
В. Г. Белинский.



В этом доме на Васильевском острове в 1840 г. жил Белинский, здесь у него останавливался в октябре — ноябре 1840 г. А. Кольцов.



П. А. Вяземский.



М. А. Бакунин.



В. А. Жуковский.



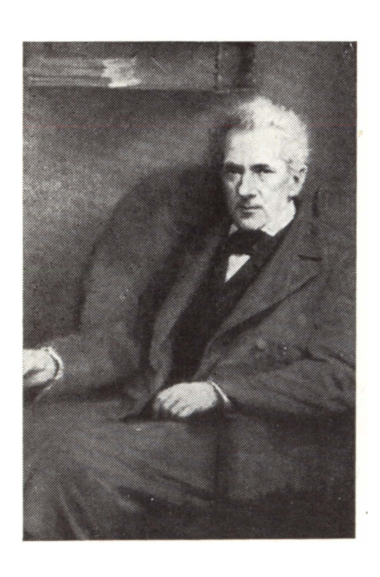
М. С. Щепкин.



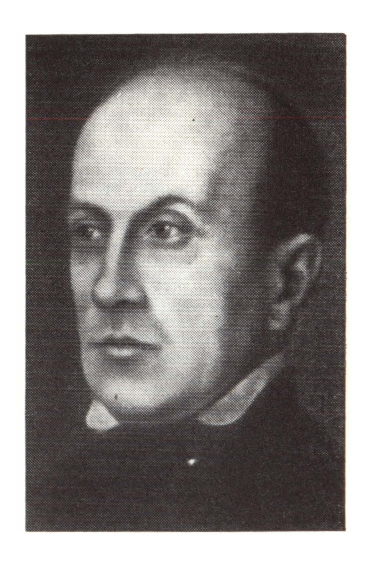
А. А. Краевский.



В. П. Боткин.



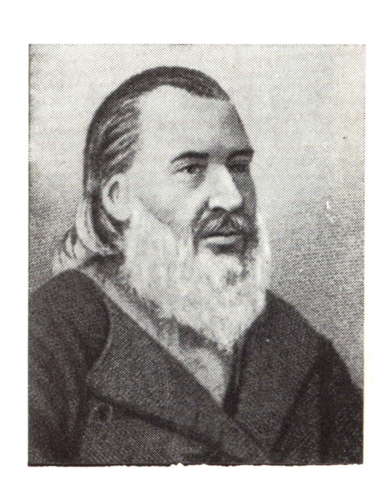
А. В. Никитенко.



П. Я. Чаадаев.



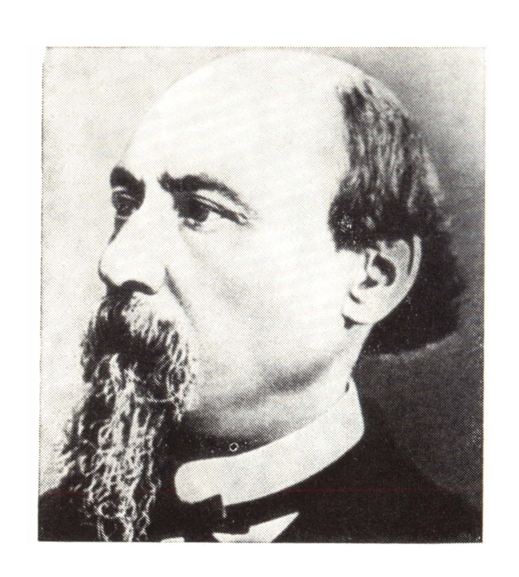
Михаил Юрьевич Лермонтов.



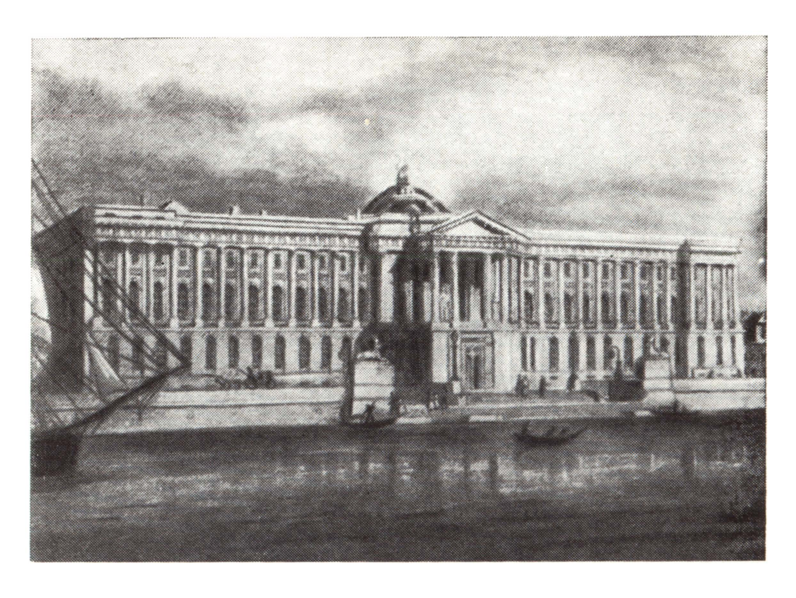
С. Т. Аксаков.



И. С. Аксаков.



Н. А. Некрасов.



Академия художеств в Петербурге. Гравюра. 30-е гг. XIX в.

Ф. Н. Глинка.



Б. Дворянская улица, на которой находился дом Кольцова.

П. С. Мочалов.





Иллюстрация к стихотворениям Кольцова.

СТИХОТВОРЕНІЯ

КОЛЬЦОВА.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА, ЕГО ФАКСИМИЛЕ И СТАТЬЕЮ О
ЕГО ЖИЗНИ И СОЧИНЕНІЯХЪ, ПИСАННОЮ
В. БѢЛИНСКИМЪ.

Въ типографіи Военно-Учебныхъ Заведеній.

1846.

Титульный лист сборника стихотворений А. В. Кольцова с предисловием В. Белинского. 1846 г.



Сестра поэта Александра Васильевна Андронова.



Племянница Кольцова Вера Ивановна Башкирцева (Тимофеева).

Милая сестра моя Анисья Васильевна. благодарю
тебя душевно за письмо оно так полно души
и чувства любви и искренности что я прочел
его несколько раз. такие письма не всегда у нас
выходят из души. это была у тебя прекрасная
минута в которую жила жизнь чудесная
непостижимая тайна души человеческой
в ней в одной сколько жизни, сколько сторон
различных. сколько углов и тайников
добрых и злых. порою именно свет тебе бла-
годать неба осенит ее и цветет упоительно
вся тихою магическою алою, и в эту пору
к чему она ни прикоснется вся освещает
своим божественным светом. самую
ледяную душу согревает теплотою своего
чувства. все помыслы исчезают как
дым от лица огня. бывает другая
пора. пора тяжелая, полная грязных мыс-
лей и грустных дум и замирающей тоски.
и весь свет тогда кажется печальной могилой
злой дух невидимо преследует нас и в эти
дни какие то страшные речи. молитва тяжело
нейдет ни глаз, ни зла. ни муку, и не слабею-
щие силы в твоей груди не может приветственного
сознания осилить это, беда. она в одну мину-
ту погубить нас навсегда. и у нас никогда из-
под его влияния не освободится человек каждую

Автограф письма Кольцова к сестре Анисье Васильевне.



И. С. Никитин.



Памятник на могиле Кольцова



Воронеж. Возложение венков к памятнику поэту в юбилейном 1909 году.



Из иллюстраций к стихотворениям Кольцова.

своим непоэтическим внешним обликом Кольцов противостоял «поэту» Серебрянскому. «Кольцов, — писал де Пуле, — суммируя чужие впечатления и прилагая, хотя и детские, собственные, — был очень некрасивый юноша, — небольшого роста, сутуловатый, белокурый, широкоплечий. Некрасивость лица его несколько стушевывалась от больших, умных и выразительных глаз, которые, впрочем, смотрели как-то сурово и в которых светилось не добродушие, а хитрость и лукавство, точно так же, как и у отца его, которого он очень напоминал как взглядом, так и общим выражением лица. Но нельзя не заметить, что Василий Петрович был красивее сына, как об этом можно судить по портрету его, который, по словам современника, отличается замечательным сходством. Несимпатична была физиономия отца, но еще менее симпатичной казалась физиономия сына, флегматичного, сосредоточенного, медленно говорящего и как-то смотрящего в сторону, а не в лицо собеседника. Таков портрет поэта Кольцова, и таким мы его помним сами. Но это некрасивое и ровно ничего не выражавшее лицо мгновенно преображалось и становилось даже привлекательным, когда широко раскрывались его большие глаза и когда в последних блестели искры таланта или проснувшейся страсти; но в такие минуты Кольцов бывал видим и знаем лишь немногими, близкими к нему людьми».

Именно — немногими. Остальным людям именно Серебрянский должен был казаться и казался поэтом в бесконечно большей степени, чем Кольцов. Вообще авторитет Серебрянского как поэта и успех как чтеца в семинарии были огромными. И много лет спустя в среде воронежского духовенства на вопрос о поэте Кольцове и об отношении его к Серебрянскому можно было получить такой ответ:

«— Ну а как, Иван Семенович (священник И. Авсенев. — *Н. С.*), думаете о поэзии Кольцова?

— Да разве это его поэзия? Вся его поэзия — поэзия Серебрянского.

— На каком основании это вы говорите?

— Да ведь я Кольцова хорошо знал. Когда я был семинаристом, я знал только, что это Кольцов, и только. А когда я женился, он с отцом и матерью был у меня на свадьбе, а потом я у него бывал. Какой это поэт? Ничего в нем поэтического не было. Так был, простой человек.

— Ну а Серебрянский-то?

— Они с Серебрянским не расставались, и Серебрянский постоянно ему внушал. Сам же Серебрянский писал стихи и любил говорить стихами».

Любопытно, что простой, необразованный купец (И. Г. Мелентьев) понимал суть дела много лучше, когда говорил, как «больно» до сих пор слышать, что-де Кольцову стихи правил студент Серебрянский: «А разве семинарист-риторик мог писать такие народные стихи?»

Серебрянский еще в конце 20-х годов стал кумиром семинарской молодежи, а потом кумиром, по сути, всей литературно-артистической молодежи Воронежа. Страстный экзальтированный характер и резкий прямой ум ставили его в особое положение, которое вскоре оказалось и оппозиционным, во всяком случае, по отношению к семинарии. Тем более что брат был отдан из семинарии в солдаты — событие, которое, судя по некоторым материалам, потрясло Андрея Серебрянского. В последние-то свои семинарские годы — 1829—1831 — Серебрянский и помогал Кольцову в его литературном становлении, играя в этом союзе роль лидера, учителя и наставника.

Редакторская работа Серебрянского в основном падает на начальный этап его дружбы с Кольцовым и касается главным образом, а может быть, и исключительно, «литературных» стихов, а не песен.

Гораздо более важен был для Кольцова сам факт общения с Серебрянским, наличие друга, слушателя, читателя, собеседника, судьи. Уже в 1840 году он объяснил Белинскому: «А что я пишу не все хорошо, вы об этом сказали правду... Почему же у меня идут пьесы не все хорошо? Они всегда шли так, но прежде был Серебрянский. Он дрянные рвал, а теперь все идут к вам».

Видимо, потому, что Серебрянский рано почувствовал, по словам Белинского, «отвращение к схоластике», он, уволившись из семинарии в 1831 году, поступает в Московскую медико-хирургическую академию. Чтобы учиться здесь, а Серебрянский учился хорошо, требовался отнюдь не только поэтический склад ума. Тем не менее Серебрянскому уже в 1833 году пришлось уволиться из-за тяжелого положения семьи. Хлебнул горя старший брат. Бедствовала в замужестве за сельским священником и сестра. Осенью 1834 года Андрей снова восстанавливается в Московской академии казеннокоштным (то

есть находящимся на государственном содержании, на коште казны) студентом с желанием, как он написал в прошении, «посвятить себя наукам».

Вообще с годами в Серебрянском, видимо, хотя он и продолжал заниматься поэзией, все более формировался ум ученого, теоретика, философа, может быть, критика. Недаром Белинский писал о статье «Мысли о музыке», что таких статей немного найдется и в европейских, не только русских, журналах. Критик не был пристрастен. Человек совсем другого склада и иного общественного положения, С. Т. Аксаков тогда же сообщал сыну Константину: «В 5-м нумере «Наблюдателя» меня поразила своим достоинством статья Серебрянского о музыке». Это писалось 2 августа 1838 года, а автор статьи в этот день умирал в далекой воронежской Козловке. 3 августа он умер, было ему 28 лет.

Еще в 1836 году Серебрянский перевелся в Петербургскую медико-хирургическую академию. О причине перевода в Петербург мы не знаем, но чахотку свою он под петербургскую сырость подставил. А здоровье было уже подорвано и раньше. «Теперь, — пишет он брату из Петербурга, — хотя бы потекли реки Ерофеича, но тоски моей они не залили бы и не возвратили бы даром утраченного здоровья». Действительно, по народной об этой настоечке поговорке: «Ерофеич часом дружок, а другим вражок».

Но разве один Ерофеич здесь решал дело? Бедность и бедность. «Жаль, что нечем тебя повеселить: много желаний — ни одного не исполняется. Хотел бы послать тебе книг, табаку... Но сам с пустой табакеркой». Это брату Ивану в его солдатчину. «Здоровье мое все хуже и хуже — так что теперь я уже не надеюсь на выздоровление, а по крайнему истощению сил от долговременной болезни я уже не умею и думать о продолжении моих медицинских занятий». Это — в конференцию академии. Просьба об увольнении.

Заниматься было нельзя. Уезжать было не на что. Здесь-то Кольцов и помогал, помогал делами и деньгами. Белинский писал о Кольцове: «В дружбе он не знал расчета и эгоизма. Грубая и грязная действительность, в среду которой втолкнула его судьба, как неизбежной жертвы, требовала от него и поклонов, и унижения, и лжи, и всех изворотов мелкого торгашества, но он и тут умел сохранить свое человеческое достоинство. <...> Всегда готовый одолжить близкого человека, он избегал вся-

кого случая одолжиться им; его пугала одна мысль внести расчет в чистоту дружественных отношений, и с этой стороны он доходил до ребячества. Как все люди с глубоким чувством, он больше всего боялся сделать из чувства комедию и потому медленно и робко сходился с человеком, но, раз сблизившись, он умел любить, умел быть преданным без уверений и фраз».

Летом 1838 года Серебрянский усилиями Кольцова был перевезен в свою Козловку: «Серебрянский, — сообщает Кольцов Белинскому, — доехал до двора, но очень болен; кажется, проживет не больше двух месяцев, а может, я ошибаюсь». Кольцов действительно ошибся: двух месяцев Серебрянский не прожил.

В октябре Кольцов писал Белинскому: «Серебрянский умер. Да, лишился я человека, которого любил столько лет душою и которого потерю горько оплакиваю. Третьего августа был роковой день его жизни... Много желаний не сбылось, много надежд не исполнилось... Проклятая боль! Прекрасный мир души прекрасной, не высказавшись, скрылся навсегда. Да, внешние обстоятельства нашей жизни иногда могут подавить и великую душу человека, если они беспрерывно тяготят ее и когда противу них защиты нет. На плодотворной почве земли хорошо человек удобрит свою ниву, посеет хлеб, но не сберет плода, если лето выжжет корень: роса зари ему не помочь: ей нужен в пору дождь, а этой-то земной благодати и капли не сошло в его жизнь; нужда и горе сокрушили тело страдальца. Грустно думать: был некогда, недавно даже, милый человек — и нет его, и не увидишь никогда, и все вокруг тебя молчит, и самый зов свиданья мрет безответно в бесчувственной дали».

Это письмо уже не бытовое письмо-сообщение, а как бы целое стихотворение, соревнующееся с собственно стихотворениями и написанное в чисто кольцовской манере. Может быть, потому и пишется оно позднее, более чем через два месяца: не немедленная информация о смерти друга, а стихи-реквием. В этом же письме Кольцов посылает Белинскому стихотворение «Стенька Разин» («если эта пьеска вам понравится, мне бы хотелось ее посвятить памяти Серебрянского»), но стихами звучит и вся эта часть письма. Так, сравнение не остается простым сравнением из жизни природы. Здесь, в письме, — тоже удивительное восприятие органики жизни, и ее целостности, как и в стихах «Песня пахаря», «Урожай» или «Косарь». Потому и пишется: не «на пло-

дотворной почве» или не «на плодотворной земле», а «на плодотворной почве земли». Земля есть самость, сама по себе существующая и живущая субстанция. «Роса зари ему не помочь: ей нужен в пору дождь, а этой-то земной благодати и капли не сошло в его жизнь». Опять-таки капля благодати не простое сравнение с каплей дождя. Безыскусность, цельность, слиянность начала человеческой жизни и природного начала таковы, что их не определишь ни одним привычным литературным определением: сравнение, метафора и т. д. А казалось бы, чисто психологическое состояние человеческое, душевное движение материализуется, как неаукнувшийся оклик в чистом безоглядном поле: «...и все вокруг тебя молчит, и самый зов свиданья мрет безответно в бесчувственной дали».

Отношения между Кольцовым и Серебрянским были от начала знакомства и до смерти Серебрянского самыми тесными. В пору жизни Серебрянского в Москве и Петербурге шла активная переписка. И ее уничтожила случайность. Письма хранились у одного из братьев Серебрянского на Вологодчине и в 1865 году погибли во время пожара.

Но дружеские взаимоотношения и постоянная литературная помощь Кольцову со стороны Серебрянского оказались чреваты и своим драматизмом.

В феврале 1837 года Андрей Серебрянский написал служившему в Чугуеве брату письмо. Через тридцать лет «Санкт-Петербургские ведомости» в № 88 за 1867 год напечатали в виде корреспонденции из Воронежа отрывки из него. Письмо обвиняло Кольцова в плагиате. Серебрянский сообщал, что автор дум «Великое слово», «Божий мир» и «Молитва» он, Серебрянский, а Кольцову там принадлежит лишь несколько стихов.

Почти сразу возникли сомнения в подлинности письма. Вряд ли основательные. М. Ф. де Пуле подтверждал: «Подлинник этого письма мы видели в 1865 году, на короткое время, но воспользоваться им, например, сделать извлечение, не могли, зная почерк Серебрянского, мы можем удостоверить, что письмо это действительно писано им». Кроме того, позднейший издатель академического Кольцова А. И. Лященко резонно заметил: «Лица, признававшие его подделку, должны были допустить, что подделыватель знал первоначальную редакцию «Молитвы», знал, что в первой редакции «Великое слово» было озаглавлено «Великая истина», то есть допустить,

что «подделыватель» знал такую творческую историю их, которую знал только Серебрянский.

Кольцов действительно рос, во многом и под опекой Серебрянского, не по дням, а по часам. Отношения, первоначально сложившиеся как отношения литературного учительства и покровительства со стороны Серебрянского, постепенно изменялись. Мы помним, что еще в анонимном отклике на сборник 1835 года говорилось: «Рука зоила не поднимется на бедного мещанина». Сравнительно недавно установлено, что автором этого взывавшего к снисхождению отклика был Серебрянский. Сам Кольцов тогда подхватывал подобные характеристики: «Я не поэт, я мещанин».

В 1840 году он пишет Белинскому о своих стихах: «...надобно смотреть на них не со стороны мещанина, а со стороны обыкновенного человека. Людям немного толку, что я мещанин, а надо, чтобы книга стояла сама за себя, без уменьшения и увеличения; а с ограничением — толку немного». Зрелый Кольцов все более снимает с себя ограничения. Становление поэта, развитие в великого поэта сопровождается становлением человека, развитием мещанина в человека.

Серебрянский, еще в 1835 году просивший читателя как бы о снисхождении к бедному мещанину, почти о пощаде, в том же позднейшем письме брату пишет: «Кольцов — поэт, и не мелочной, как мне кажется, он не на шутку поэт, хоть и не умеет распорядиться своим талантом». Серебрянский и помогал Кольцову «распорядиться» его талантом.

Тем более что с самого начала для Кольцова было характерно стремление искать учителей и советчиков. В этом смысле он очень напоминает Фета, неизменно обращавшегося за помощью, за критикой, за советом к Тургеневу ли, к Владимиру ли Соловьеву или к Николаю Страхову. Может быть, сама органичная, природная, стихийная сила их, столь схожих в этом даровании, искала какие-то организующие упорядоченности, сдерживающие начала. Сказал же Пушкин, если верить Краевскому, о шири в стихах Кольцова, подчас рассыпающейся во фразах.

Но дело не только в, так сказать, редакторской помощи Серебрянского. При достаточно замкнутом характере Кольцова Серебрянский был своеобразной отдушиной, в которую устремился его эмоциональный мир, в которой находился выход постоянной работе ума: «Вместе мы с

ним росли, — напишет Кольцов, — вместе читали Шекспира, думали, спорили». В этом качестве фона, катализатора, адресата, побудителя роль Серебрянского для Кольцова была огромна, может быть, решающа: «Вот почему онемел было я совсем (то есть после смерти Серебрянского. — *Н. С.*) и всему хотел сказать «прощай...». Меня ведь не очень увлекала и увлекает блестящая толпа; сходки, общество людей, конечно, хорошо, — но если есть *человек,* то так, а без него толпа немного дает. Опять, я такой человек, которому надобны сильные потрясения, а иначе я нуль: никто меня не уничтожит с другой душой, а собственно мою уничтожит всякий».

Этот кремень-человек, может быть, как никто, выяснилось, нуждается в «другой душе». Серебрянский был такой «другой душой». Степень близости оказывалась, очевидно, такой, что многое в словах, в настроениях, в думах взаимопереливалось, вместе находилось, сообща формулировалось. Серебрянский, вероятно, находил у Кольцова свои мысли, может быть, даже свои выражения их. Именно ум, «мысль» как главную особенность и силу Серебрянского подчеркнул и Кольцов: «Он чудную имел мысль».

Но имел ли место плагиат?

Может быть, только два типа художников — писателей и поэтов — в такой мере чаще всего отвечают подобным обвинениям. Совсем уж второ- и третьестепенные и гениальные. Талант же обычно довольно оригинален. «В искусстве, — заметил однажды в разговоре с Эккерманом Гёте, — едва ли не главенствующую роль играет преемственность. Когда видишь большого мастера, обнаруживаешь, что он использовал лучшие черты своих предшественников».

В середине прошлого века критик Н. Страхов, хотя и не без полемических целей, определяя особенности пушкинского творчества, озаглавил разделы своих «Заметок о Пушкине» так: «Нет нововведений», «Переимчивость», «Подражания».

Жуковский, конечно, мог предъявить права авторства на одну из самых изумительных формул русской поэзии, которую мы знали как пушкинскую, — «гений чистой красоты»: ведь, создав ее, он дважды до Пушкина, в стихах «Лалла Рук» и «Я музу юную, бывало», ею воспользовался.

Знаменитое пушкинское обращение «Что в имени тебе моем?» принадлежит элегику Салареву.

Вступление к «Обвалу»:

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы, —

есть перифраза стихов В. Филимонова «К Леоконое». Без опоры на всю толщу русской поэзии Пушкин, конечно, не был бы Пушкиным, создателем русской национальной поэзии. Его поэзия гениальна и потому, что она как бы плод мощного, всенационального коллективного усилия.

Кольцовская песня была бы невозможна без опоры на мощный пласт русской песни. Кольцовская дума не состоялась бы без опоры на тот философский пласт, который образовали мысли, и настроения, и писания Н. Станкевича, В. Белинского, Вл. Одоевского. И — особенно до 1838 года — Серебрянского. Серебрянский, конечно, должен был находить и находил в думах Кольцова свое, но все же думы-то эти были кольцовскими. Кольцов эти думы: «Божий мир», «Великое слово» и «Молитва», на преимущественно свое авторство которых претендует в письме брату Серебрянский, печатал при жизни Серебрянского. И, судя по всему, никаких протестов это не вызывало. А сделать это было нетрудно: Серебрянский в это время жил в Петербурге, Кольцов — в Воронеже. Таким образом, лишь один раз прорвалось у Серебрянского раздражение в письме брату — в глухую провинцию: «Ты знаешь, что это уже не мое: имя Кольцова будет под ним стоять, а с меня и того довольно, что Пушкин покойник хвалил это до чрезвычайности. Притом же все это в душе моей, след. оно (стихотворение. — *Н. С.*) мое». «Кольцов сам... как перестал писать ко мне перед Рождеством более чем за месяц, да и доселе ни одной йоты! Это потому, я думаю, что он получил от меня и последнюю пьесу, которую он ждал: ибо с того дня, как я ее отослал, он больше ни слова. Значит, я больше ему не нужен».

Речь идет о «пьесе», то есть о стихотворении, которое, очевидно, Серебрянский редактировал и правил (не стихи же самого Серебрянского Кольцов ждал). На такую правку и суд Кольцов, по его многократным словам, отдавал Серебрянскому все.

Ну, что до перерыва в переписке, то он был для Кольцова делом обычным, и со многими, и по разным причинам. Серебрянский здесь посетовал горько, и го-

речь эту можно понять, но объяснил причину перерыва пристрастно и несправедливо.

Конечно, можно многое оправдать тяжелым, болезненным состоянием нервного человека. Но не все. Да и в этом письме есть и восхищение Кольцовым-поэтом, и явно любовь, несмотря на обиду, к Кольцову-человеку. Письмо заканчивается: «Нет, не утерпел! Пишу и Кольцову».

В чем же дело?

Не таился ли в, казалось бы, безукоризненных дружеских отношениях поэтов своеобразный сальеризм?

Пушкин написал трагедию «Моцарт и Сальери» не об отношениях же только Моцарта и Сальери. И может быть, даже не только об отношениях художников. С. Булгаков однажды сказал, что зависть такая же спутница дружбы, как ревность — любви. Первоначально Пушкин и назвал свою пьесу «Зависть». Но отношения таланта и гения позволили коллизию, казалось бы, банального завидования перевести в план конфликта с целым миропорядком нарушенной справедливости. Сальери у Пушкина, еще по характеристике Белинского, человек действительно с «талантом, а главное — с замечательным умом». И когда мы здесь говорим о сальеризме, то имеется в виду прежде всего это отношение таланта и замечательного ума к гениальности.

Серебрянский ничуть не претендует на кольцовскую песню, но там, где нужна «сила и глубина», ум, «мысль», то есть в думе, там он, пусть в тишине и в тайне, про себя, и в крайнем случае сквозь зубы и брату, пытается утвердить свое авторство («К тому же все это в душе моей»). Кольцов постоянно, и особенно Белинскому, твердит, что сделал и как много сделал для него Серебрянский, но нигде ни тени сомнения в собственном авторстве у него не возникает.

Вот что он пишет Краевскому по поводу посланных для печати дум, в том числе и дум «Великая истина» («Великое слово»), «Мир божий» и «Слеза молитвы» («Молитва»): «Другая речь. Посланные к Януарию Михайловичу «Молитва», «Великая истина» и еще семь пиес — скажите, пожалуйста, будут где напечатаны? Они пишут ко мне, что им непонятно в «Великой истине», начиная с «Свобода, свобода» до «Но слово: да будет». Я разумел здесь просто чистоту души первого человека в мире, потом его грехопадение и что через этот грех в буйной свободе человеческой воли — раз-

росшиеся разнообразные страсти. <...> а потом искупленье не вполне. Если они стоят быть в «Современнике» — поместите, а нет — куда угодно вам, отдайте!»

Кольцов продолжает писать думы, как раз наиболее значительные, и после смерти Серебрянского.

Наконец, он всячески пытается после смерти друга дать ход собственным стихам Серебрянского, пребывая к тому же в твердой уверенности в их высоком достоинстве. Истинно: «Он же гений, как ты да я».

Кстати сказать, Пушкин, никогда не ошибаясь в определении характера и достоинства литературных произведений, с которыми имел дело, кажется, склонен был к преувеличениям, когда речь шла о друзьях. Особенно это касается Дельвига. Но дело не только в добром отношении к близкому человеку. Отношения Пушкина и Дельвига похожи на отношения Кольцова и Серебрянского и, во всяком случае, хорошо их поясняют. Когда-то эти отношения глубоко объяснил критик А. Дружинин: «До сих пор еще многие из наших литературных ценителей не произнесли своего окончательного приговора по поводу дарований Дельвига, и в особенности его влияния на талант Пушкина. <...> Дельвиг точно не был поэтом первоклассным, — скажем более, он даже и не обещал быть замечательным поэтом. В этом человеке, как во многих юношах нашего времени, творческие способности были гораздо слабее способности к анализу, способности чисто критической и почти всегда вредной для поэзии... Он был силен для замысла, слаб для исполнения, беден как художник, но велик как ценитель... Счастливы литературные круги, имеющие своих Дельвигов, — блажен поэт, имеющий в лучшем своем друге испытанного путеводителя».

Подобно Пушкину, Кольцов имел в своем друге такого «путеводителя», и, подобно Пушкину, он склонен был общую оценку друга-наставника переносить на его стихи. Стихи Серебрянского были посланы Кольцовым Белинскому, и, видимо, впервые им был вынесен великим критиком русской поэзии приговор прямой, жесткий и категоричный: слабый, плохой поэт. «Нетерпеливо жду услышать о стихах Серебрянского? — восклицает Кольцов в письме Белинскому. — Ужели он в самом деле был плохой поэт?»

Но смерть Серебрянского в большой мере разрешила и определила отношения Кольцова с Белинским. Именно

потому окончательно такие отношения установились даже не в момент личных общений, когда Кольцов был в Москве, а путем переписки, когда поэт уже находился в Воронеже.

Смерть Серебрянского оставила Кольцова в полном одиночестве. И не просто в хороших дружеских отношениях здесь дело. Были у Кольцова, хотя и немного, близкие люди и тогда и позднее. Речь идет о своеобразном творческом вакууме, возникшем вокруг Кольцова после смерти Серебрянского. Ему нужен, необходим был другой человек, о таком человеке он и пишет, выделяя это слово курсивом: «если есть *человек,* то так», «никто меня не уничтожит с другой душой, а собственно мою уничтожит всякий». И таким человеком, такой другой, то есть второй (Кольцов обычно по-южнорусски употребляет слово «другой» в этом значении), «душой», «таким человеком» становится для Кольцова отныне и до конца Белинский.

Характерная деталь. Все письма Кольцова и ко всем заканчиваются дежурной вежливой фразой вроде «любезный и почитающий». И к Белинскому до поры до времени тоже. С середины 1839 года весь тон писем к Белинскому, и к нему единственному, меняется. А вот как выглядят окончания этих писем, вот как звучат эти последние «прости» у обычно замкнутого и сурового Кольцова: «Любящий вас, как никого больше изо всех живых. Алексей Кольцов...», «Смертельно вас любящий, ваш Алексей Кольцов», «Всею душою любящий вас, больше, чем любящий, Алексей Кольцов», «Как я люблю вас — об этом ни в конце, ни в начале нечего больше и подписывать: люблю я вас, как больше никого на свете не могу. Алексей Кольцов».

Решающую роль сыграло какое-то письмо Белинского. Письма Белинского Кольцову погибли, и только на основе писем-монологов Кольцова можно восстановить характер диалога. Отношения нащупывались постепенно и даже настороженно, особенно со стороны Кольцова. В начале 1839 года он пишет: «Хотя я и давно замечал в вас более во сто раз, чем в других, но все-таки боялся: душа темна, не скоро в ней дойдешь до смысла.

Недавно сколько людей мне клялись в том и в том; а кто из них на опыте откликнулся мне? Никто. Вы — не они. Но все-таки, согласитесь сами, между нами многого недостает; и как я ни посмотрю пристрастно даже к себе, а все разница велика. Людей не соединяет один на-

ружный интерес, а если и соединяет — надолго ли? <...> Последнее письмо много сомнений решило. В нем я прочел то, что словами выяснить нельзя. Ваше душевное сожаление порадовало меня; оно было повторено мною с вашим чувством вместе: ни по известию, ни по слуху, ни по просьбе, а так просто само вошло в душу и сказалось в ней».

Через некоторое время поэт получил от Белинского новое письмо. Очевидно, в этом письме критик вполне оценил Кольцова, определил и место, которое занимал Серебрянский, их поэтическую несоизмеримость и невозможность даже малейших сравнений (почему Кольцов здесь и восклицает: «Ужели он в самом деле был плохой поэт?»).

Объяснение Белинского явно было таким, что, может быть, сам Кольцов именно тогда стал осознавать, что же он такое есть: «Если не обманут я дружески и если вы ко мне не пристрастно великодушны, то или я дурак, или я бессовестно обманут всеми». Похоже, что это письмо все окончательно определило и установило в их отношениях: «Да, Виссарион Григорьевич, вы совершеннейший колдун. Еще не было в жизни мучительнее состояния, как в прошлом годе. Плохое, мучительное дело, больной Серебрянский; смерть его все довершила. Если вы не понимали прежде... Но нет, не может быть, вы и тогда понимали много. Скажите же, в одну минуту разломать то, что крепло пять лет, — мою любовь к нему! Его прекрасная душа, желания, мечты, стремления, ожидания, надежды на будущее и все вдруг. <...> Вот почему онемел было я совсем и всему хотел сказать «прощай», и если бы не вы, я все бы потерял навсегда. <...> Не поддержите вы меня в Москве — я бы ни одной строки не состряпал. Но все я сомневался, захотите ли вы меня держать на помочах или нет. Сами знаете, ведь об этом нельзя ни умолить, ни упросить: когда душою не хочется — и дело решено. И вот ваше письмо совершенно меня обрадовало; здесь вы пророчески узнали мою потребность, чего я ждал от вас долго молча и, слава богу, дождался наконец. Я весь ваш, весь, навсегда! И пьес моих вы хозяин полный: никуда, кроме вас, не пойдет ни одна...»

Позднее, уже в августе 1840 года, Кольцов пишет Белинскому: «Не шутя и не льстя, говорю вам, давно я вас люблю, давно читаю ваши мнения, читаю и учу; но теперь читаю их больше и больше, и учу их легче, и по-

нимаю лучше. Много они уж сделали добра, но более делают и, — может быть, я ошибаюсь, — но только мне все думается, что ваши мнения тащат быстро меня вперед. По крайней мере нет у меня других минут в жизни, кроме тех, когда я читаю их».

* * *

Казалось бы, отношение определилось со стороны Кольцова не только как отношение любви и преданности, но и как отношение ведомого к ведущему, ученика к учителю. Так это и было понято воронежским обществом. И Кашкин, и гимназические учителя, и семинарская профессура, то есть воронежская интеллигенция, готова была принять и принимала Кольцова в виде купца, прасола, песенника, но не приняла его в качестве интеллигента — поэта. Она готова была допускать все это до определенного предела, но вставала на дыбы, как только такой, ей-то, конечно, известный предел был преодолен. Именно потому, что эта интеллигентность в известном смысле уже далеко превосходила ее собственную, Кольцову она прощена не была. Духовная жизнь Воронежа именно подлинную духовность-то и отвергла. Как только Кольцов оказался выше ее уровня, она сделала все возможное, чтобы объявить его до ее уровня не добравшимся. В полный ход пошла классическая формула — «зазнался».

«Он узнал, — пишет сын Д. А. Кашкина, — что он великий человек, гений и т. п. Понятно, как это отразилось на всех его прежних приятелях, если принять во внимание его крайний недостаток в образовании и развитости... Из этого будет достаточно понятно, почему отношения отца (человека очень самолюбивого и гордого) изменились к Кольцову... Да немало при этом помогала ему (Кольцову. — *Н. С.*) и новая, отуманившая его мысль, что он человек необыкновенный, что такие родятся в миллион один, что дух его возвышен, до которого обыкновенные смертные подняться не в силах, что он, одним словом, избранник. Этого, мне кажется, достаточно все-таки очень мало развитому Кольцову, чтобы додуматься до того, что его некому понять не только в Воронеже, но и в Петербурге ему место только за самым почетным столом, то есть в кружке Белинского и Пушкина...»

Такие взгляды и настроения очень полно выразил

опять-таки де Пуле: «Литературная известность... вскружила ему голову, в положении кабинетного литератора поэт Кольцов был неузнаваем... Началась эта метаморфоза с Кольцовым с 1836 года, а вполне определилась в 1838 году... Факты в том, что Кольцов преобразился в тогдашнего «литератора», пропагандиста идей Белинского, что он хотел всех учить, стал заносчив, что над ним смеялись, что он от такой неудачи выходил из себя... для обычной и пресловутой хитрости нашего поэта здесь не могло быть места, ибо он имел дело с людьми более его образованными, не менее его умными, знавшими его до мозга костей, которых мудрено было одурачить хитростью и ложными похвалами». Кольцов «одурачил» Белинского и Жуковского, Бакунина и Боткина, но воронежское образованное общество он не «одурачил» — не на тех напал.

Чаще других Кольцов встречался здесь с преподавателем гимназии Иваном Семеновичем Дацковым. Выпускник Харьковского университета, ученик профессора И. Я. Кронеберга, Дацков был в Воронежской гимназии преподавателем латинского языка. Но он и вообще интересовался литературой, сам немного писал. А вот записи в его дневнике. Они касаются второго тома «Отечественных записок» за 1840 год. В журнале уже сотрудничал Белинский. Однако критические материалы Белинского, по распространенной практике тех лет не подписывавшиеся, чаще всего относили к редактору журнала Краевскому.

«18 марта 1840 года. Но что меня особенно поразило в этом томе, так это «Умолкший поэт» Кольцова. Столько пустословия я еще не предполагал в нем. Эге! Да он запел песню, на которой споткнулись Тимофеев и прочая пишущая челядь. Что ни слово, так дичь, да еще какая!.. Что ни говори, а он несколько перенял меланхолическое мычание быков, с которыми он часто ведет беседу».

Это дневниковая запись губернского учителя Дацкова. А вот и критическая статья столичного журналиста Л. Баранта: «Какая хлопотня (речь о сборнике 1846 года со статьей Белинского. — *Н. С.*) и сколько хлопот о бессмертии скромного продавца баранов, который, гоняя их по степи, слагал на досуге изрядные песенки».

И снова Дацков: *«28 марта 1840 года.* Вечер провел у именинника Степана Яковлевича (речь идет о гимназическом математике Долинском. — *Н. С.*), где пробыли поч-

ти до трех часов. Там встретился я с Кольцовым, который, почитая «Отечественные записки» за верх мудрости человеческой, судит и рядит обо всем со слов их редактора Краевского. Досадно, что он пускается как глубокомысленный критик судить о том, что выше и его понятий, и его круга знаний, и вслед за Краевским (то есть Белинским. — *Н. С.*) повторяет пошлую нелепость».

А вот воспоминания Ивана Аксакова: «...мне случалось слышать, как, пожимая плечами, рассказывали, что Кольцов также изволит повторять целиком фразы... вроде *прекраснодушия*... это уже начинает становиться смешным».

Дацков: «*29 июня 1840 г.* В 8 часов отправился на бульвар слушать полковую музыку. Гулянье было очень незавидное: не на ком было остановить даже внимания. Тут же встретился со мною Кольцов, с которым у меня бездна противоположных мнений о различных предметах. Долго проговорили мы с ним, наконец я зашел и к нему. Он прочитал мне несколько своих новых пиес, в которых много прекрасных мыслей. Еще он прочитал мне несколько сонетов чудака Мартовицкого, где под корою шероховатою и грубою можно встретить иногда самые глубокие мысли».

Конечно, у Кольцова с Дацковым должна была быть «бездна противоположных мнений». Эта бездна определялась и тем, что Кольцов был автором «Отечественных записок», а Дацков — рьяным подписчиком «Библиотеки для чтения», и тем, что для Кольцова божеством был Пушкин, а Дацков преклонялся перед Кукольником.

Невольно вспоминается бессмертный гоголевский поручик Пирогов, который хвалил Пушкина, Булгарина и Греча и говорил с презрением и остроумными колкостями об Александре Анфимовиче Орлове. Да что литературный герой (и все же только поручик Пирогов), когда уже литературный критик, и критик во многом замечательный, Николай Полевой, конечно, знавший цену поставщику бульварщины начала века А. А. Орлову, убежденно писал о двух основоположниках русской литературы: в поэзии — о Пушкине и в прозе — о Булгарине. Смоделированная Гоголем ситуация бессчетно повторялась. Вот и образованный Дацков говорит с презрением об Алексее Васильевиче Тимофееве и хвалит глубокие мысли Алексея Васильевича Кольцова и «чудака» Мартовицкого. Впрочем, как видим, для Кольцова-то было немало прибережено и «презрения» («что ни слово, так

дичь!»), и «остроумных» колкостей («Что ни говори, а он несколько перенял меланхолическое мычание быков, с которыми он часто ведет беседу»).

Так писал и, очевидно, пусть и не в глаза Кольцову, говорил один из людей, которые, казалось бы, по положению своему, занятиям, образованности и должны были бы понимать поэта. Да разве он один.

Де Пуле, уехавший после окончания гимназии из Воронежа, вернулся туда в 1848 году, то есть всего через шесть лет после смерти Кольцова и, как вспоминал сам он, под живым впечатлением биографии Кольцова, написанной Белинским. Будущий биограф Кольцова, друг и биограф Никитина и вообще историограф культурной жизни Воронежа на протяжении многих лет, де Пуле тогда же занялся разысканиями; «не с одним или двумя лицами, и не случайно, велись у нас речи в продолжение нашей жизни в Воронеже (до 1866 года). В беседе же с нашими друзьями речь о Кольцове, о его судьбе была одною из любимейших. Множество мнений и отзывов приходилось нам слышать и стороною...»

Сам де Пуле называет пристрастными и несправедливыми и отзывы Дацкова, и, очевидно, совсем уж злобные рассказы Д. А. Кашкина, которым ему доводилось внимать. И все это не год и не два, а на протяжении почти пятнадцати лет после смерти поэта.

Уже в начале 60-х годов сестра поэта Александра Васильевна писала: «Воронеж и родные Кольцова давно укоряются всеми в равнодушии к его памяти и в жалком памятнике, который стоит над его могилой. Не имея права ни обвинять, ни оправдывать в этом равнодушии моих сограждан, я, как сестра покойного Алексея Васильевича, не могу не сказать несколько слов против обвинений, касающихся нас, родных его». Во всяком случае, уже хотя бы в попытке сказать об общей ответственности сестра была не совсем не права: «Несомненное сочувствие к покойному брату моему стало высказываться только в самое последнее время». Когда усилиями губернатора М. И. Черткова начался сбор средств на памятник, то сестра передала шестьсот рублей серебром («Нам положительно известно, что пожертвование Александры Васильевны не ограничится заявленной суммой», — писал де Пуле: он ведал этим делом). А ведь всех денег было собрано немногим более тысячи, и первый взнос был в сто рублей. Конечно, шестьсот давала богатая сестра, но и сто — не бедный человек: все-таки

наследник престола. Дело не в простой арифметике, но, кажется, руководило А. В. Кольцовой (Андроновой) не простое желание откупиться.

«В первое время, примерно до половины 50-х годов, когда уже начали улегаться страсти, во всех отзывах о Кольцове лиц, с которыми нам приходилось говорить о нем, поражала одна общая черта — раздражение против него, насмешка над его неудавшейся ролью пропагандиста, при столь скудном, как у него, образовании: таково было мнение целой массы образованных людей, а не двух-трех лиц» (де Пуле).

Да, здесь обкладывали крупно, плотно, всем городом, всем обществом, «миром».

«А здесь я, — пишет летом 1840 года Кольцов, — за писание терплю больше оскорблений, чем снисхождений. Всякий подлец так на меня и лезет: дескать, писаке-то и крылья ощипать. Это меня часто смешит, как какой-нибудь чудак петушится».

Тем более стремились подрезать крылья «писаке» чиновники, а Кольцову с этой категорией людей постоянно приходилось иметь дело. И может быть, тем более тяжело иметь, чем разумнее, честнее и безукоризненнее он старался эти дела вести. Чем лучше, тем хуже. Арендовав в очередной раз землю, Кольцов не может добиться контракта. «Контракт не утверждают, — жалуется он князю В. Ф. Одоевскому, — жмут, тянут, волокут. Словом, крайность! Чувство души, здравый смысл — одна игра слова, насмешка над истиной. Другие нынче стали добродетели, другие пороки. Кто безличен, бессилен — мошенник, плут. А если есть то и другое у кого, головы рви с плеч — прекрасный человек, честный человек и даже очень умный! Прежде я очень злился на старика отца своего, что он при небольшой торговле так много положил дел на мои плечи; а вот теперь и мной начато первое дело, начато со всею аккуратностью человека опытного и испытанного, без крючков и задирок. Что же вышло? Еще хуже».

Правда, Кольцову старался помочь губернатор Н. И. Лодыгин, но даже губернаторская добрая воля и помощь далеко не всегда могли решить дело. «Вот сцены, которые со мной бывают всякой почти день». И дальше Кольцов представляет эту сцену.

На нее интересно посмотреть не только как на один из фактов биографии поэта, но и как на один из образцов его уже не поэтического, а драматургического творче-

ства. В сущности, ведь именно так и предлагает сделать сам Кольцов, создавая в своем письме целую драматическую миниатюру с экспозицией и диалогом: «Посмотрите: я проситель-мещанин; честный советник дело мое тянет, как проволоку. Как быть? Подумал и пошел бить челом управляющему: стою, дожидаюсь выхода его знатности. Его знатность изволили выйти, подойти ко мне и достоили сказать [1]:

— Что ты?

— К вам с просьбою.

— О чем?

— Мое есть дело у вас, другой год контракт не утвержден.

— Контракт не утвержден?

— Да-с.

— А отчего ж это?

— Не знаю.

— Не знаю! То-то, не знаю! Ходите по углам да закоулкам сначала, плутуете, мошенничаете, а как дело — и лезете ко мне.

— Н. И., позвольте вам сказать: я ходить по углам ходок самый плохой.

— Знаю я вас, все вы одно поете.

— Посмотрите на дело: мое дело, я уверен, скажет вам обо мне совсем другое.

— Что мне твое дело: у меня есть куча их.

— Дел много, но все ли они одного качества?

— Контракт — и все равно одни.

— Но мой контракт другого рода.

— Отчего ж он не утвержден, когда другого рода?

— Оттого, что все другие утверждены, а мой нет.

— Ты хочешь сказать мне, что ты ходил больше всех по углам, да не успел?

— Точно, с моим делом я был в одном угле, но быть в нем никому не стыдно (т. е. у губернатора).

— Ну, если ты там был, мы опять его туда пошлем.

— Как вам угодно, прощайте.

— Прощай.

Обидно, черт возьми, показалось мне незаслуженное оскорбление, и такого рода! Грустно стало на душе», — резюмирует сцену Кольцов.

И эта «сцена» написана, хотя, конечно, уже после «Ре-

---

[1] Я сознательно расположил этот диалог в форме драматического диалога. — *Н. С.*

визора», но еще задолго до появления драм Островского. И она переходит в следующую, как бы разворачивается новый акт, очередное действие.

«Время идет, а дело сидит. Стой. Сем пущусь на спекуляцию. У управляющего я видел человека: он мне немного знаком, пойду к нему, попрошу его: не поговорит ли он ему обо мне.

— Дома?

— У себя-с.

— Доложи, пожалуйста.

— Сейчас, пожалуйте.

— Здравствуй, Кольцов, что ты?

— Вот что, вот что, пожалуйста, помогите.

— Хорошо. Принеси-ка мне свою книжку, — я поеду к нему завтра, передам ее, расскажу о тебе, поговорю о деле. А ты дня через два и ступай к нему прямо, — он сам был попечителем гимназии, науку любит и кой-что знает».

Книжка стихов, очевидно, оказывалась иной раз для Кольцова своеобразным пропуском, служила и делам, была средством представиться. «Да дайте, — пишет Кольцов в Москву, — подателю сего моих книжонок двадцать, я все ими сорю кое-кому». В данном случае «кое-кем» и был Н. И., о котором рассказывает в письме Вл. Ф. Одоевскому Кольцов, то есть Н. И. Карачинский, управляющий Воронежской палатой государственных имуществ. Одно время он действительно занимал пост попечителя Тамбовской гимназии. И вот проситель-поэт с книжкой стихов является, предваренный рекомендательным разговором к «любителю науки»: «Прихожу.

— Что, о деле?

— Да-с.

— Да что, твое дело получено от губернатора, да только он изволил написать немножко щекотливо.

— Мне губернатору нельзя же приказывать, как писать.

— Оно так, только твое дело пойдет в департамент.

— Зачем же, позвольте узнать?

— А вот зачем: губернатор написал щекотливо, так пусть нас департамент разберет.

— Но мое дело не стоит, кажется, посылать, и в нем, сами видите, плутовских штук, как вы называли сначала, совсем нет.

— Положим, и справедливо, положим, и здесь кончить можно, да не хочу, а пусть идет в департамент.

— Скажите ж, для чего его длить, когда его кончить можно здесь?

— А для того, что я хочу здесь все перевернуть кверху ногами.

— Если так, извините, я вас больше и просить ни о чем не смею».

Спрашивается, много ли нужно переменять для того, чтобы эта сцена вошла в драму Сухово-Кобылина, например в «Дело», или в любую из сатир Щедрина. А ведь все это сороковой год.

Но сцены эти разыграны не в театре, а в жизни. «Вот какого рода пытки, — заключает Кольцов, — я должен испытывать то и дело».

И хотя эти сцены с Карачинским в своем роде сцены «художественные», художественных преувеличений здесь нет. Недаром, очевидно, сам этот Карачинский будет в 1859 году убит своими крепостными крестьянами. Ну, допустим, что Карачинский был, даже в своем роде, исключением. Но, по сути, в такие отношения часто вставали к Кольцову и не деспотичные бюрократы, и не темные купцы, а «образованные» люди или, как говорит биограф, «люди весьма образованные, которые, познакомившись с Кольцовым, тем и ограничили свои к нему отношения, — не из спеси какой-то (ее не было и тени в этих людях), а потому, что между истинно образованными, но не занимающимися литературой людьми и «полуобразованным самоучкой», как называет Белинский своего друга, не было никаких общих интересов».

Нет, не только купеческий быт мог иметь в виду Кольцов, когда писал Белинскому: «С людьми, с которыми живу, никак не сойдуся: они требуют, чего нельзя им дать; чего хочу — у них нет... И время от времени я с ними все дальше и дальше расхожусь. Боже мой, до какой степени я с ними не в ладу! Наружной брани нет, да без нее грустно. Этот слой народа низок, гадок, пошл до несказанной степени, а выйти из него ни дороги, ни сил нет. Иногда затеваешь думать о чем-нибудь порядочном, чтобы оно продолжило дорогу выйти на простор, — нет силы больше для выполнения. Тоска, как собака, грызет меня. Что-то будет. Но уже хуже, ей-богу, не будет ничего, потому что и так уж худо. Ничего не радует, ничего совершенно. Москва! вот когда я постигаю твое блаженство, вот когда я вижу, чем жизнь твоя прекрасна. Но мне не быть счастливым никогда. В Москве не жить мне век».

Конечно, Москва здесь реальный город. Но Москва здесь и явно большее — знак совсем другой жизни, иной, лучшей и высшей, чем любая реальная, хотя бы и московская, жизнь. Отсюда этот, как потом у чеховских трех сестер: вопль: «Москва!» Но, может быть, отсюда же и обреченное, стихотворной строкой прозвучавшее:

Но мне не быть счастливым никогда.
В Москве не жить мне век.

Главное и, как увидим, чуть ли не единственное обаяние и всю прелесть Москвы составлял для Кольцова тогда еще в ней живший Белинский. В отличие от образованного воронежского общества с Белинским-то «общие интересы» обнаруживались все явственнее. Де Пуле и стоявшие за ним воронежские круги не случайно называют Кольцова пропагандистом, особенно пропагандистом Белинского. В Воронеже Кольцов не молчал и со всей страстью пропагандировал Белинского, его статьи, его издания, оказывался как бы своеобразным агентом журналов Белинского и его информатором, и даже ходоком по делам.

Так, Кольцов находился в добрых отношениях с одним из своих земляков — Александром Васильевичем Никитенко. Никитенко — сын крепостного, выкупленный еще в 1824 году, кстати сказать, при содействии К. Ф. Рылеева, уже с 1836 года был профессором Петербургского университета и цензором. Позднее Белинский о нем будет писать, а еще позднее они с Белинским будут сотрудничать в некрасовском «Современнике» (достаточно благонамеренный Никитенко — в качестве официального редактора журнала).

В 1838 году Никитенко хлопочет у Смирдина о новом сборнике Кольцова, а Кольцов хлопочет у Никитенко о статьях Белинского: «С вами ужасно хочет познакомиться Виссарион Григорьевич Белинский, теперешний издатель «Московского наблюдателя». Его сильно теснит цензор в Москве, и он хотел просить вас, чтобы вы ему позволили кой-какие статьи посылать цензоровать в Петербург, особенно одну прекрасную статью переводную из Марбаха (перевод В. П. Боткина. — *Н. С.*). Он так почему-то посумнился пропустить. Такая статья была бы в теперешнее время полезна в журнале. И я ее из Москвы было послал вам, но она уже не застала вас (Никитенко уехал на родину в Острогожск. — *Н. С.*). Если вы позволите Белинскому беспокоить вас такими прось-

бами, то вы бы для него сделали весьма много добра».

В самом Воронеже малотиражный и довольно труднодоступный по характеру своих материалов «Московский наблюдатель» не выписывал никто. Кольцов оказался единственным и, судя по письму Никитенко, даже полномочным представителем журнала: «Вчера говорил знакомому полковнику о нем: он хотел подписаться, а я, как получу, отдам его в книжную лавку: пусть книгопродавец раздает его в чтение, этим я все-таки с ним ознакомлю многих».

Во всем Воронеже Кольцов, наверное, лучше кого бы то ни было представлял положение дел в русской журналистике того времени и уж тем более подлинную в ней иерархию явлений, которую он выстраивает с абсолютной точностью, определяя метким и образным народным словом: «А добрый Плетнев прислал первый номер «Современника», хотя он и легонек, но все ему большое спасибо за него. Прошлый год «Записки» я все получал от Андрея Александровича (то есть за 1839 год, когда Белинский еще не начал там сотрудничать. — *Н. С.*), и они мне много сделали добра, славный журнал, есть что читать в нем и есть над чем задуматься. У нас их нынче получают немного больше, а все никак не уверишь людей, что «Библиотека» гадость: по привычке хвалят и читают ее, — да и только. Русь, раз покажи хороший калач из пазухи, долго будет совать руку за ним по старой привычке. «Сына отечества» у нас совсем нет; стар муж деньги начал собирать, а время еще немного — и на покой. Зато уж драма за драмой, водевиль за водевилем дождем валит. «Сквозь старое решето скорее мука сеется», — говорят мужики».

Но дело не только в понимании того, что хорошо, а что плохо. Кольцов, вероятно, мог бы быть отличным журналистом, как тогда часто называли издателей, и потому, что был наделен замечательным тактом действительности, чутьем на конъюнктуры. Он подробно объясняет Белинскому, почему хуже, чем могла бы, прошла подписка на «Отечественные записки». («В прошлом годе был неурожай, и сей год: другой бы и степняк-помещик и житель городской выписал журнал, да людей надо кормить, да купить хлеб, а денег нет»), почему идет «Библиотека для чтения» («ради Брамбеуса; он много захватил кредиту своими грязными остротами». Они приходились по людям как раз»), почему читатели не отказываются от «Сына отечества» («ради Полевого, которого по

старой дружбе — стариков много еще и теперь — любят»), и заключает: «Народ же как ни дурен, но имеет свое время, силою же в один час его не переделаешь».

С приходом Белинского в «Отечественные записки» Кольцов с тем большей страстью становится «пропагандистом» журнала, что и себя почитает его, как говорили раньше, «постоянным и непременным» сотрудником, явно стремится идти в ногу с журналом и вообще ощущает себя и свое творчество, при всей вроде бы его уникальности, в литературном процессе, в авангарде этого процесса: «Лучше «Отечественных записок» для меня места не надобно. Дай бог только удержаться в них и не отстать: чертовский журнал! Я так и смотрю в нем на свои пьески: не торчит ли какая вон? Горячо пошел работать в них родной наш разум. Дай-ка мне еще распахнуться в нынешний год, а на следующий покос пойдет добрый».

Де Пуле называет отношение Кольцова к Белинскому «раболепным». Очевидно, так думали и чиновники, и преподаватели гимназии. И купцы. «Им казалась чем-то болезненным в Кольцове эта страсть к пропаганде крайних идей Белинского, выразившихся, например, в известном письме его к Гоголю, идей, которые в устах Кольцова переходили в отрицание всех основ русской жизни; болезненным явлением потому они называли эту страсть, что Кольцов не стеснялся ни местом, ни временем».

Пассаж этот во многих отношениях примечателен и для характеристики воронежского и даже — шире — русского общества, и для уяснения отношений, существовавших между Кольцовым и Белинским. Любопытны самые нелепости и ошибки этого пассажа. Ведь «крайние идеи» Белинского выразились, например, в письме к Гоголю, то есть в 1848 году, а Кольцов умер в 1842 году.

Между тем эти нелепости и ошибки воронежского биографа не случайные оговорки и не простые ошибки памяти. Память, правда, русскому обществу действительно во многом отшибло после 1848 года, а ведь именно в этот год де Пуле возвращается в Воронеж. Но речь не только о Воронеже. 1848 год — год французской революции, год революции в Германии, год венгерского восстания, но соответственно и потому же 1848 год — и год небывалых репрессий со стороны контрреволюции на Западе, год усиления реакции в России, год, когда меры по обузданию литературы и печати вылились в создание всезапрещающего бутурлинского комитета и ужесточение цензурного устава. Россия, умевшая отвечать на любое

такое декретирующее дело дискредитирующим словом, еще раньше назвала этот устав чугунным. Короче, в русской общественной жизни началось так называемое «мрачное семилетие».

Белинского, как символ неблагонамеренности, с ожесточением демонстрируя благонамеренность, ругал и отвергал обыватель, и прежде всего, конечно, обыватель образованный; обыватель-писатель и обыватель-читатель здесь-то уравнялись, наконец, в положении, ибо писать было нельзя (имя Белинского было запрещено в печати), читать тоже было нельзя (Достоевский, в частности, и за чтение письма Белинского к Гоголю отправился на каторгу, да и то в виде милости: она заменила первоначальный приговор к расстрелу). Обыватель мог только говорить, и он, как всегда, говорил. Конечно, горячо и искренне осуждая Белинского, а вместе с ним и Кольцова, как человека, «раболепно» подчинившегося авторитету Белинского.

Уже и раньше в самом характере таких осуждений Белинского и Кольцова было много общего. «Стал ваш журнал и особенно вас сильно ненавидеть «Москвитянин», — сообщает Кольцов в Петербург московские новости из Воронежа. И не случайно из Воронежа: «У нас, в Воронеже, живет один его сотрудник, бывший товарищ по университету Погодина, довольно ученый человек, убитый судьбою, чудак с старыми понятиями, претензиями и похвалами на их молодое время и с бранью на все новое, особенно на философию, — хоть они прежде всего и корчат из себя уродов-философов. При встрече с ним он прежде всего об вас ни слова, а теперь только слова о «Записках», ну и беда — брань без конца. И на вас пуще всего. И знает уж почему-то, что вы выгнанный студент, дурной самой жизни молокосос, неуч, а взялся говорить о людях порядочных, умных, воспитанных, образованных».

Но дело не в чудачествах, не в дружеских симпатиях к Погодину его старого приятеля некоего Баталина — речь не о нем. Потому что и через много лет тот же голос консервативного воронежского общества слышится и в словах представителя уже другого поколения — де Пуле: «Малый запас сведений» Белинского и «неохота к медленным трудам» не могли не отразиться на Кольцове. Если в литературном обществе Белинский многим не уступал сведениями, то нельзя отрицать, что в современном ему русском обществе очень много было людей,

серьезнее его образованных, нельзя не пожалеть, что он далеко не мог сравниться с ними».

И здесь дело не только в голосе воронежского общества. Русское общество в целом и часто в лице очень разных, прежде всего, конечно, консервативных своих деятелей, многократно изрекло в адрес Белинского подобные обвинения.

Так, в свое время немало брюзжал по поводу «необразованности» Белинского А. В. Дружинин.

Лишь через несколько лет «западник» Дружинин поймет: «Если б он (Белинский. — *Н. С.*) стал заниматься русской литературой лишь после прочного курса наук на хороший иностранный манер, — мы, может быть, дивились бы его эрудиции — но любовь к своему родному уцелела ли бы в нем с его настоящею силою? Не одна врожденная, горячая преданность ко всему родному, но самые обстоятельства многотрудной и часто горькой жизни развили в Белинском ту любовь, о которой мы теперь пишем. Эти обстоятельства направили горячие инстинкты будущего критика в данную сторону, сосредоточили их и не дали разбросаться в многостороннем энциклопедизме».

Но все это Дружинин напишет уже в 1860 году. В тридцатые же и сороковые годы, особенно в Воронеже, осуждение Кольцова неизменно подкреплялось и усиливалось обвинениями в адрес Белинского, и наоборот, а уж после 1848 года тем более. К осуждениям Кольцова добавлялось многое такое, чего, может быть, в иных условиях и не добавилось бы. Тем не менее об отрицании Кольцовым «всех основ русской жизни» вспоминается, очевидно, верно. Ведь здесь уже действительно на первый план выступали личные впечатления. Отсюда и точное ощущение такого отрицания, как «страсти», и слова о том, что Кольцов «не стеснялся при этом ни местом, ни временем».

Нужно иметь в виду только, что когда речь в связи с Кольцовым идет об отрицании «основ», то вряд ли стоит говорить о политическом радикализме как таковом. Это было именно отрицание самых «основ», «основ» в гоголевском смысле как отрицание всего уклада жизни пошлой, бездуховной, «материальной», по постоянному слову самого поэта.

«В нашем материальном городке, — рассказывает Кольцов князю Вл. Ф. Одоевскому о вечере, проведенном у графини Евдокии Петровны Растопчиной, извест-

ной в свое время поэтессы, — после этой пошлой толпы людей и дрянных женщин, такая встреча невольно погружает душу в сладкое упоительное забвение; заботы, горе, нужды как-то принимают другой образ, волнуют душу, но не рвут, не мучат ее».

Потому же так близки Кольцову лермонтовские утверждения и лермонтовские отрицания. Ведь такие отрицания и у Лермонтова, как и у Гоголя, оказывались отрицанием «основ». Следовательно, дело здесь было не в Белинском, а прежде всего в самом Кольцове. И не только критик влиял на поэта, но и поэт на критика. Появлялись взаимодействия, взаимовлияния, взаимоотдачи.

Надо сказать, что Кольцов раньше понял и принял Белинского, чем Белинский Кольцова: «Я ваш давно, но вы мой (!) еще недавно». Ясно, что теперь уже не только Белинский владеет Кольцовым, но и Кольцов овладел Белинским.

Еще в 1837 году критик писал своему родственнику Д. П. Иванову, что он готов назвать в обществе своим другом «какого-нибудь» Кольцова.

Теперь, в 1840 году, он называет себя другом Кольцова прямо, ему самому. «Во втором письме вы назвали меня своим другом, — спрашивает поэт, — не насмешка ли это? Верю от души, что вы надо мной смеяться не захотите; но, Виссарион Григорьевич, надо быть здесь особенно откровенным... Друг — дело великое: я только сознаю все значение этого слова, но овладеть и усвоить его у меня в душе сил таких и столько нет... Если бог мне даст устроить свои дела, приеду в Петербург, поживу с вами; тогда увидите лучше, и я уж покажусь вам весь в распашку, с хорошими и дурными сторонами». Замкнутый Кольцов готов был показаться Белинскому «весь в распашку». И потому он принял Белинского «всего в распашку».

Принял, может быть, в отличие от всех, кто с Белинским когда-либо имел дело, раз и навсегда, в целом.

Тургенев недаром называл Белинского центральной фигурой эпохи. Естественно и справедливо, мы видим наследников Белинского и продолжателей дела Белинского прежде всего в Чернышевском и Добролюбове. Сами они это осознавали отчетливо и подтверждали горячей пропагандой идей Белинского, его имени, его образа — достаточно вспомнить цикл статей Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литерату-

ры», который отведен в большей своей части именно Белинскому.

Но вот — критик другой позиции, другого лагеря, других журналов — Аполлон Григорьев. По сути, единственным русским писателем, к которому он прилагал слово «гениальный», был Пушкин. И единственным критиком — Белинский: «гениальный человек», «призванный».

Примечательна, однако, не только широта творческого диапазона Белинского, но, может быть, еще более сам характер развития его, неостановимость стремления. Наверное, лучше всего характеризуют Белинского собственные же его такие слова: «Благо тому, кто, отмеченный Зевеса любовью, неугасимо носит в сердце своем Прометеев огонь юности, всегда живо сочувствуя свободной идее и никогда не покоряясь оцепеняющему времени или мертвящему факту — благо ему...» «Ты любишь горестно и трудно»: Пушкин для меня написал этот стих», — не раз говорил Белинский. Недаром так часто прилагали к нему слова «великий искатель».

В этом постоянном движении вперед Белинский был близок разным людям, сходился и противостоял, сближался и расходился часто как раз вследствие характера каждого очередного этапа этого движения. Герцен одну из главок своей книги «Былое и думы» назвал «Ссора с Белинским и мир». Из-за чего? Из-за того, что «Белинский — самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца, проповедовал тогда индийский покой созерцания, теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни перед каким моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и не самобытные, в нем не было рабости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста».

Речь идет у Герцена как раз о самом конце 30-х годов, о периоде примирения с действительностью.

«Знаете ли, что с вашей точки зрения, — сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, — вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать.

— Без всякого сомнения, — отвечал Белинский и прочел мне «Бородинскую годовщину» Пушкина.

Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел

между нами. <...> Я прервал с ним тогда все отношения».

Рассказал Герцен и о восстановлении отношений, и о том, как и почему это произошло: Белинский отказался от примирения: «Через несколько месяцев после его отъезда в Петербург в 1840 году приехали и мы туда (Белинский уехал туда в октябре 1839 года, Герцен приехал в мае 1840 года. — *Н. С.*). Я не шел к нему. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна, он понимал, что нелепое воззрение у Белинского была переходная болезнь, да и я понимал, наконец, он натянул своими письмами свидание... в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о «Бородинской годовщине», Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне: Ну, слава богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать... ваша взяла; три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор... С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука об руку».

Все это говорит о последовательности Герцена в отстаивании своей позиции, но отнюдь не о понимании Белинского именно тогда в его целом, в его движении.

Да, в ту пору его «воззрение» действительно было «переходным», но «нелепым» не было, и сам Белинский никогда «вздором» его не считал.

Одним из наиболее близких Белинскому людей в конце 30-х годов был Константин Аксаков. Все меняется с начала 40-х годов, с новым периодом в деятельности Белинского, с переездом его в Петербург для сотрудничества в «Отечественных записках». Уже в январе 1841 года Кольцов сообщал Белинскому из Москвы в Петербург: «Аксаков приехал из Питера и говорит, что подписка на «Отечественные записки» идет хорошо и равняется подписке на «Библиотеку». Дай-то бог! Я был третьего дня у Аксакова. Он мне говорил, что Павлов Николай Филиппович получил от кого-то письмо из Питера, в котором пишут к нему, что вы от сотрудничества в «Отечественных записках» отказались; почему — неизвестно... Кажется, это сказки; но для чего они выдуманы, не знаю. Аксаков это сказал мне с какой-то тайной радостью. Друзья, друзья! Сердечные друзья!..»

А ведь Аксаков действительно мог быть твердым и верным в дружбе, мог решительно отстаивать Белинского перед своей недолюбливавшей того семьей. Но и в

дружбе здесь все решали непосредственно общественные позиции и взгляды... В 1842 году раскол между К. Аксаковым и Белинским вылился и в острую журнальную полемику.

Кольцов был единственным человеком, который с самого начала принял Белинского в целом, со всей его эволюцией, с кризисами и взлетами, с остановками в пути и новыми движениями вперед. Понял в его безусловности, то есть безотносительно к тем или иным взглядам и мнениям в узком значении этого слова, к которым часто сводился для иных своих друзей Белинский и которыми он для них ограничивался. Кольцов и здесь понял великого критика Белинского, как он понял великого поэта Пушкина — в качестве некоего космоса, целого мира, могучего и даже стихийного явления, в качестве откровения и пророчества: «Апостол вы, а ваша речь — высокая, святая, речь убеждения».

Был ли хоть один человек во всей России, который мог сказать и сказал бы тогда и так о Белинском?

Но именно такой поэт, как Кольцов, должен был и здесь увидеть и увидел не срывы, метания и противоречия, а цельность, последовательность и безусловность. Именно это, а никакое не «раболепие» позволяло ему всегда и на каждом следующем этапе становления Белинского, на каждом очередном витке развития великого критика принимать его, его понимать и отдаваться в его власть. Вполне, впрочем, сохраняя и трезвость ума, и способность критического подхода.

Показательно и то, что сближение с Белинским Кольцова произошло именно в 1838—1839 годах. Конечно, играли свою роль и внешние обстоятельства: новый приезд, как раз в 1838 году, Кольцова в Москву, смерть Серебрянского и т. д. Но, думается, главными были причины внутренние, духовные и, так сказать, философские. Характерно также, что непосредственные предельно дружеские отношения и откровения уясняются опосредованно, при всей эмоциональной отдаче, теоретически и очень в духе 30-х годов — в переписке.

Именно в конце 30-х годов сам Белинский предстал перед Кольцовым во всем величии философской мысли. Для сравнительно ограниченного взгляда на первый план выступало тогда примирение Белинского с действительностью, мешая видеть тот умственный переворот, который оно действительно сопроводило. Много лет прошло, пока Плеханов показал, что искания Белинского этой по-

ры в их целом были громадным шагом вперед в развитии всерусской мысли: «...в лице нашего гениального критика русская общественная мысль впервые и смело взялась за решение той великой задачи, которую поставил девятнадцатый век перед всеми мыслящими людьми Европы... Белинский является центральной фигурой во всем ходе развития русской общественной мысли. Он говорил о своих единомышленниках: «Наше поколение — израильтяне, блуждающие по степи и которым не суждено увидеть обетованной земли. И все наши вожди — Моисеи, а не Навины». Он был именно нашим Моисеем, который если не избавил, то всеми силами стремился избавить себя и своих ближних по духу от египетского ига абстрактного идеала... Белинский был самой замечательной философской организацией, когда-либо выступавшей в нашей литературе...» Может быть, как никогда ранее оказался критик готов и к прочтению самых великих созданий мирового искусства. Достаточно сказать, например, что в 1838 году написана статья «Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета». Понимание вселенского значения Шекспира у Белинского было и раньше, например в «Литературных мечтаниях», но это было именно ощущение, проявившееся в самых общих характеристиках: «Шекспир — царь поэтов» и т. п. Статья Белинского о Гамлете — новое слово в мировом освоении Шекспира. Почему?

Вначале сам Белинский отправляется от того определения Гамлета, которое дал еще Гёте в своем «Вильгельме Майстере» и без которого с тех пор, кажется, не обходится ни один разговор о Гамлете: сознание долга при слабости воли. Но Белинский поставил свой анализ Гамлета на совершенно иные, философские основания. Он увидел в Гамлете этап в развитии абсолютного духа, стадию на пути движения мировой идеи, реализующейся в лучших представителях человечества, и потому же дал совсем иную психологическую характеристику Гамлету: «Слабость воли, но только вследствие распадения, а не по его, Гамлета, природе... От природы Гамлет человек сильный».

Замечательный советский шекспировед, профессор М. Морозов, писал, что именно Белинский первый ощутил не только распадение героя, но и обретение им новой, мужественной силы: «...со времени статьи Белинского, сумевшего впервые почувствовать динамику образа Гамлета, старый и, пользуясь шекспировским эпите-

том, «покрытый плесенью» вопрос о том, слабый или сильный человек Гамлет, получил совершенно иное решение. Да, слабый в начале трагедии, но сильный в ее конце».

Здесь точно отмечено, что образ Гамлета рассмотрен Белинским в его динамике. Неточно лишь одно: для Белинского развитие Гамлета — это не развитие слабого человека в сильного, а развитие сильного человека: «Его страстные выходки в разговоре с матерью, гордое презрение и нескрываемая ненависть к дяде — все это свидетельствует об энергии и великости души». Сама слабость Гамлета — это слабость сильного человека: «Он велик и силен в своей слабости, потому что сильный духом человек и в самом падении выше слабого человека в самом его восстании». Вообще философ Белинский удивительно умел схватывать и объяснять именно диалектику характеров, слабость сильного человека, как он это сделал с Гамлетом. И силу слабого человека. Так он вскоре сделает с лермонтовским Грушницким, показав, как последний вроде бы сильный поступок этого человека прямо вытекает из слабости его характера. Наконец, следует сказать, что вряд ли бы Белинский так проникся духом шекспировской трагедии без великого русского Гамлета — Павла Степановича Мочалова, который вскоре станет одним из самых преданных друзей и самых горячих поклонников Кольцова. Ведь уже название статьи Белинского есть некое уравнение: «Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета».

«...Благодаря Мочалову, — писал критик, — мы только теперь поняли, что в мире один драматический поэт — Шекспир, и что только его пьесы представляют великому актеру достойное его поприще и что только в созданных им ролях великий актер может быть великим актером».

Таким образом, Кольцов именно тогда получил от Шекспира потрясение громадной силы. Явно не было человека, кроме Кольцова, чьи впечатления от Гамлета, от игры Мочалова в этой роли, от статьи Белинского об этой драме так наложились бы друг на друга и слились в некую цельность. А Кольцов узнал статью еще до напечатания и, по поручению Белинского, всячески пытался устроить ее в журнальном Петербурге, вводя Белинского в дела с большим умом, тактом и удивительной проницательностью. Когда осенью 1840 года выяснилась возможность для приехавшего в Москву Кольцова побывать и в Петербурге, Белинский откликнулся на нее восторженно

и с нетерпением. «Как приедет в Москву Кольцов, скажи, — просит от Боткина, — чтобы тотчас же уведомил меня; а если поедет в Питер, чтобы прямо ко мне и искал бы меня на Васильевском острову, на Малом проспекте, около 4 и 5 линии, в доме Алексеева, из ворот направо, во 2 этаже. У меня теперь большая квартира, и нам с ним будет просторно». Все это отнюдь не простое приглашение погостить, да и не способен был Белинский на такие, из вежливости, приглашения. «Кольцова расцелуй, — пишет он Боткину же через месяц, — и скажи, что жду не дождусь его приезда, словно светлого праздника». Вот чем становился к этому времени для Белинского Кольцов, о котором он еще несколько лет назад, еще в 1837 году, писал — «какого-нибудь Кольцова». «Словно светлого праздника» ждет он его теперь. И не он один. «Катков, — продолжает критик свое письмо, — умирает от желания хоть два дня провести с ним вместе. Скажи, чтобы приезжал прямо ко мне, нигде не останавливаясь ни на минуту, если не хочет меня разобидеть». И снова настойчиво объясняет: «Мой адрес: на Васильевском острове, на Малом проспекте, между 5 и 6 линиями в доме Алексеева, из ворот направо, во втором этаже направо».

Но прежде чем Кольцов действительно появится на Малом проспекте, чтобы, сворачивая направо, разыскивать в доме Алексеева петербургское жилье Белинского, он двинется в Москву. В столицы вели разнообразные тяжебные дела, продолжающиеся и новые. Но и литературные тоже. Маленькая книжка стихов Кольцова, вышедшая в 1835 году, давно разошлась. Да ведь и представлен он был в ней скупо. С той поры немало написано. К новому изданию побуждали много и многие. И сам поэт подходит к такому изданию по-новому. Оно для него уже не первое робкое появление «мещанина-поэта» под крылом стороннего покровительства, а ответственное заявление поэта-человека. «Несмотря, что я осенью буду в Питере, — сообщает Кольцов Белинскому еще в весеннем письме 1840 года, — однако ж поспешу Вам послать мою тетрадь и, как вы желаете, напишу все — худое и доброе: они что у меня, что у вас — все равно; а может, из них еще сыщется и путное. Вышлю вам письмо, какое вы говорили. Но только будут вас просить при сборе книги выбирать вещи одни добрые, а кой-какие слабые, хотя бы они и были напечатаны, в книге

мещанина, а со стороны обыкновенного человека. Людям не печатать; и надобно смотреть на них не со стороны немного толку, что я мещанин, а надо, чтобы книга стояла сама за себя».

Стоял «сам за себя» Кольцов и еще в одном отношении. Ведь к началу сороковых годов литературный доход становился все более обычным делом. Тем не менее Кольцов отвергает возможность действовать через книгопродавца, а хочет издать книгу полностью на свой счет. «Другая моя просьба: подождать продавать ее книгопродавцу. Больно мне бы не хотелось ее продавать с молотка; авось, бог даст, я соберусь с деньгами и тогда пошлю или привезу вам их. На свои деньги без поклонов напечатать лучше; будет польза — хорошо, не будет — не беда. Книга же, думаю, теперь соберется порядочная, листов в пятнадцать печатных. А к осени-то еще что-нибудь напишу».

На этот раз Кольцов явно должен был поехать в Москву и Петербург в гораздо более спокойном и свободном положении по отношению и к оставляемому дому, и к предстоящим делам. И собирался он там пробыть в этом положении довольно долго. Так рассчиталось еще в апреле. «Видите ли, — пишет он Белинскому в конце этого месяца, — у меня вышли перемены: вместо апреля я поеду в Москву к сентябрю. Поживу там осень, и к вам. Время будет свободнее, и дела торговли в ту пору у нас меньше, и я могу побыть дольше, даже до масленой, а если б уехал в апреле, то лишь в одной Москве я лишь хлопотал бы поскорей о деле — и вон».

Конечно, это пишет человек достаточно независимый, располагающий для жизни в обеих столицах и временем (речь идет почти о полугоде: от сентября до масленицы, то есть до весны) и деньгами (помимо прочего, он безотносительно к собственно коммерческой стороне дела хочет на свой счет издать книгу в пятнадцать печатных листов).

Вообще положение его в доме по масштабам и характеру ведения дел, ответственности и самостоятельности принимаемых решений фактически было положением как бы второго хозяина. Потому-то на вопрос: «Получал ли он жалованье?» — хорошо знавший семью Кольцовых современник (И. Авсенев) удивился: «Помилуйте, какое жалованье? Да он сам всем распоряжался». Тем более что по складу характера, практическому уму, силе воли с течением времени он не только умел противостоять отцу,

но и, очевидно, ломать сопротивление того. А Василий Петрович Кольцов был человеком старорежимных правил, строгих и жестких, и, конечно, ничуть не изменял им в угоду литератору-сыну.

Характерен относящийся еще к 1837 году эпизод, о котором рассказал математик воронежской гимназии Степан Яковлевич Долинский, входивший в кружок молодых гимназических преподавателей, в котором нередко бывал и Кольцов. Кружок этот чаще других собирался у общительной и гостеприимной супружеской пары Добровольских, Ивана Антоновича и Эмилии Егоровны: читали, танцевали, музицировали, но в основном все же играли в карты. Любопытно, что Кольцов решительно предпочитал таким сборам персональное общение, навещая ли других, принимая ли у себя. Однажды под предводительством Добровольского компания явилась к Кольцову. «Поэт их принял в большой передней комнате, обставленной простыми окрашенными стульями, и усадил их в передний угол, уставленный образами. Гости и хозяин уселись, вооружились трубками и начали беседу. Неизвестно, долго ли и о чем беседовали они, окруженные фимиамом Жукова табаку, наполнившего всю комнату, но беседа их была прервана появлением Василия Петровича. — «Мой батенька!» — сказал поэт, обратясь к гостям. Взглянув на последних, Кольцов-отец громко проговорил: «Вот с рожнами забрались под иконы!» — отвернулся и, не сказав более ни слова, прошел в следующую комнату. Алексей Васильевич сконфузился и сказал в оправдание отца: «Извините, господа, старика, — у него свои взгляды».

Ничто не говорит за то, что Василий Петрович хоть в какой-то мере принадлежал к тому типу купцов-безобразников, которых так хорошо знала русская жизнь и знает русская литература от Островского. Но это был типичный, вполне в духе Островского, патриархальный глава семьи во всем строе домашней жизни, властный и нетерпимый. «Он, — позднее напишет сын, — самолюбив, хвастун, упрям, хвастун без совести. Не любит жить с другими в доме человечески, а любит, чтобы все перед ним трепетало, почитало и рабствовало».

Надо сказать, что Кольцов-младший не трепетал, не боялся, а если и почитал, то уж никак не рабствовал. Очевидно, суммируя многие рассказы очевидцев, в частности и сестер Кольцова, об отношениях отца и сына, де Пуле рассказывал: «Старик чудил и подчас дурил. Взду-

малось ему однажды купить партию свиней, откормить их или продать на убой. «Батенька! не покупай свиней, — говорит Алексей Васильевич отцу, — дело выйдет дрянь». — «Молчи! Это мое дело, а не твое, ты знай обрабатывать свои дела, а я стану свои». Долго спорили, но отец настоял на своем, — и операция со свиньями, дорого стоившая, принесла громадный убыток. Она была тем неприятнее для Алексея Васильевича, что ему же пришлось ее и разделывать: Василий Петрович к ней охладел по слабости ли сил, или же увлекся чем другим, — неизвестно. Долгие и горячие споры происходили между отцом и сыном. Сын был уже не подросток, знал дело, был человек с большим умом и известностью; старик это понимал, а потому сам вызывал сына на дела, на совет и на спор, хотя и не всегда поступал по совету сына. В этих совещаниях или столкновениях сходились почти две равные силы, две крепкие натуры... Поэт наш не раболепствовал перед отцом, а когда нужно, говорил ему не только правдивое, но и резкое слово. «Что твои дела! — не раз укорял он отца, — твои дела только заедают мой барыш». Конечно, эти укоры не сладки были отцу, но он их выслушивал, зная, что поставит все-таки на своем, или же отделывался ворчаньем и такими фразами: «Как же! вашему брату нельзя не поспорить! Вы все по-книжному, по-печатному, народ грамотный — ума палата!..» Крепко поспорят отец с сыном, не без уязвления один другого, но потом ничего, опять лад. По-прежнему зовет отец сына Алексеем, иногда даже Алексеем Васильевичем, даже говорит ему «вы», хотя это последнее случалось тогда, когда Василий Петрович был еще не в духе».

Когда Кольцов-младший отправлялся осенью 1840 года в Москву и Петербург, то имел в виду и литературные дела. И их же имел в виду Кольцов-старший, отправляя сына и горячо поддерживая его. Увлекающийся, с гонором, старик хотел утвердить положение и удовлетворить самолюбие. Ведь вся история предшествовавшего литераторства сына, помогавшего в нелитературных тяжбах, за это говорила. «Приняв дела, уладил их, — прокомментирует сын, — и как был Жуковский, он дал мне большой вес, и старик ради дел, по необходимости, дал мне больше свободы, нежели хотел».

И, снова отправляя сына в столицы, старик давал ему большую свободу, в частности, очевидно, и материальную. По сообщению ближайшего приятеля Василия Петровича купца Мелентьева, отец поэта рассказывал тогда, что сын

«написал такой важный песенник, за который вызывают его в Питер и обещают ему царскую награду и что хотя поехать в Питер и отпечатать там песенник будет стоить немалых денег, да их и не жаль, потому что такое дело, что даст большой капитал». Собственные дела Кольцова-отца в Воронеже не были в таком уж хорошем состоянии, но все же (особенно после того, как в результате поездки в Москву сына завершится еще одна тяжба) сравнительно укрепились в положении, которое позднее поэт так опишет Белинскому: «Отец мой от природы с сильною физическою природою человек, жил в приказчиках, приобрел кое-что, сделался хозяином, наживал капиталу семьдесят тысяч рублей три раза и проживал вновь, в последний раз прожился — и осталось у него много дел. Он их кое-как затушил, а окончить было нечем. Они пали на меня; в восемь лет я их поуладил... Выстроил дом, приносит доходу до шести тысяч в год, да еще у нас девять комнат, за собой. Кроме того, у него осталось до двадцати тысяч».

Младший Кольцов достаточно уверенно ехал в Москву и Петербург наследником своего отца, уверенно писал и об издании своей книги. Вряд ли он повез с собой большую денежную наличность. Если верить де Пуле, то все обстояло следующим образом: «Старик говорил о необходимости денежной помощи сыну, но в это время не только денежные, но вообще торговые дела его находились не в блестящем порядке. Мы уже не раз говорили, что кредит его был не мал, но не в такой степени было его умение вести свои дела, или точнее — доводить их до конца. Во всяком случае, торговые обороты можно считать десятками тысяч (недаром в другом месте де Пуле, сравнивая Кольцова с такими литераторами-купцами, как журналист Николай Полевой или поэт Иван Никитин, говорит, что перед ними Кольцов был богачом, а ведь де Пуле был близким приятелем Никитина. — *Н. С.*), но наличных денег никогда у него не было и десяти тысяч. Постройка же большого дома и бесконечные тяжебные дела в соединении с разными взысканиями по долговым обязательствам на значительную сумму окончательно потрясли финансовые фонды Василия Петровича. Книжка, обещавшая принести капитал, являлась как нельзя более кстати».

Вряд ли Кольцовы рассчитывали на книжку как источник капитала, недаром Кольцов-сын и пишет Белинскому: «На свои деньги без поклонов напечатать лучше:

будет польза — хорошо, не будет — не беда». Очевидно, точнее де Пуле, когда сообщает о форме материального обеспечения сына — очень уж она наглядна: «У Василия Петровича не было наличных денег, но была возможность другим путем помочь сыну, — и он действительно ему помогает. В сентябре 1840 года Алексей Васильевич собрался ехать в столицы. Отец отпустил его и поручил ему продать в Москве два гурта (300 голов) быков, стоимость которых, по тогдашней ценности, составляла двенадцать тысяч рублей».

Так началось последнее путешествие Кольцова в российские центры: Москва — Петербург — Москва. Началось осенью. А вот как оно заканчивалось через несколько месяцев. Уже в январе Кольцов сидит в Москве без денег. Войдя в житейские отношения Белинского, в частности занимаясь делами его оставленного в Москве брата Никанора, которому Белинский, сам почти постоянно нуждавшийся, не мог помогать регулярно, Кольцов пишет: «Дарья Титовна больно нуждается в деньгах и просит вас прислать ей хоть двадцать пять рублей. Я бы дал свои, да теперь у меня денег нет; я живу койкак займом, а отец не шлет ни копейки». В январе же, сообщая, почему он не может еще раз «махнуть» в Питер, пишет: «Как прохватил меня голод, я и присел — и хорошо сделал».

Насчет голода, конечно, сказано фигурально, так как незадолго до этого он сообщает младшей сестре Анисье о покупках книг и нот: «Все ли получили посылки? Я послал с Карпом Петровичем Капканщиковым (воронежским купцом. — *Н. С.*): «Герой нашего времени», две книги; Пушкина, 3 часть, «Ламермурскую невесту» Вальтер Скотта; «Гец» Гёте, драму; писанную (то есть рукописную. — *Н. С.*) драму Шекспира «Ричард Второй». Боткин послал ноты; тетрадь, музыка Шуберта; мой «Соловей», из Питера кое-какие разные, не помню, сколько нот, трубкою сверток. Ноты посланы, обе посылки, на имя Андронова (то есть мужа сестры Александры. — *Н. С.*). Теперь еще для тебя купил песни Пушкина, «С богом в дальнюю дорогу» и «Лесной царь» Гёте, музыка Шуберта и еще кой-какие пустяки. Хотел купить школу для пения Варламова, да дорога: 28 рублей просят, а денег нет; выпишу из Воронежа».

Вряд ли это сообщает прямо голодающий человек, но, во всяком случае, 28 рублей на музыкальное пособие для него сейчас уже невозможны. «Вы спросили, — пишет он

Белинскому через две недели, — зачем, имея крайность, не обратился я к Боткину? Обращался и взял. Но, Виссарион Григорьевич, ненадежны чужие деньги, горько душе быть в долгу. Не с наслаждением берешь их и с грустью тратишь. Отравлены они ядом, и он уничтожает в них всякое значение. О, я выразумел теперь качество чужой монеты, займа, чужого обеда: да, я знаю теперь, отчего он плохо в желудке варится и расстаивает здоровье».

Что же произошло в эти несколько месяцев — с тех пор, как Кольцов в сентябре отправился во главе стада в 300 бычьих голов в Москву?

Мы почти ничего не знаем об осеннем пребывании там Кольцова, но случилось что-то такое, что помешало ему с действительной выгодой совершить эту торговую операцию. Де Пуле подозревает даже и какой-то падеж скота. Так или иначе, предполагаемых сколько-нибудь больших денег у поэта явно не оказалось. Возможно, их отсутствие помешало начинать и продолжать затею с изданием книги. К тому же нужно было на протяжении многих месяцев жить в Москве, переезжать из нее в Петербург и обратно, да и тяжебными хождениями заниматься и там и там. «...Ухнуло разом 12 тысяч — громадный капитал в тогдашнем положении Кольцовых! Как бы то ни было, но старик Кольцов дал полный простор своему негодованию и бранил сына чуть ли не на каждом перекрестке. Он упрекал его в неумелой продаже и в кутеже» (де Пуле). В кутежи, наверное, отец и сам не верил. Кольцов-сын был не из кутил. Хотя при случае и сам выпить мог и других подпоить умел. Что до неумелой торговли, то, кажется, к 40-м годам привычная торговая хватка действительно все больше изменяла Кольцову, и это его все меньше огорчало. «Вы думаете, — пишет Кольцов Белинскому, возможно удивившемуся или могущему удивиться некоторым кольцовским хозяйственным неладам, — я теперь и сам дрянной хозяин, занимаюсь любимым мне делом. Не делай упущений по торговле, а много, много посвяти себя я одной торговле, — и у меня давно уж был бы большой капитал: но сам бы я ни к черту не был уж годен. Я, верно, приобретаю часть, а четыре упущаю — и не жалею, бог с ними!»

Кольцов был замечательно цельный человек. Но его цельность все больше диктовала другое — посвятить себя делам одной литературы. Нет, не для торговли и не для кутежей рвался Кольцов из Воронежа. В 1840 году

окончательно назрел кризис, перелом, готовилось решение о разрыве со все более нетерпимым Воронежем. Разрыве полном, окончательном, бескомпромиссном. Разрыве внешнем и разрыве внутреннем. Во всем и со всеми. В Белинском Кольцов как раз и видел того человека, который все отринул во имя высших целей: «Счастливы вы, Виссарион Григорьевич, что вошли в этот мир прекрасный и святой и живете в нем широко и раздольно, и выносите с собою из него так много святых божественных истин, и так одушевленно передаете их нам». И видимо, потому же Белинский Кольцова мог к такому разрыву призывать и побуждать: прежде всего вон из Воронежа — в Москву, в Петербург.

Летом, в августе 1840 года, Кольцов пишет Белинскому из Воронежа перед самым почти отъездом в Москву, пишет так, что невольно думаешь, читая это письмо купца Алексея Кольцова, о лучших у Островского монологах молодой купчихи Катерины Кабановой; такой образ стремящейся на волю души встает из них, такой совсем уж без пути назад порыв, такой горькой полупесней, полусказом это вылилось.

Катерина: «Свету-то так рада сделаешься! А вставать не хочется, опять те же люди, те же разговоры, та же мука. А об жизни и думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо... нехорошо! И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны! Не пойду туда! Нет, нет, не пойду! Придешь к ним, они ходят, говорят, а на что мне это?»

Кольцов: «Люди так меня мучат, так отнимают время, что — целые дни проходят — я ничего не думаю, ни о дне завтрашнем, ни о дне настоящем. И, боже мой! — какие люди глупые, пошлые, чванные и многоречивые разговоры; курьи ли выражения, свиньи ли длиннопения, — не знаю. А время все-таки берут; и оно уходит, и уходит невозвратно. Вот и сегодня: и выбрал праздник, и очистил дело, и запер дверь: нашелся человек, отпер ее — и несколько часов ушло: насилу отделался. Не отпереть — стучат дьявольски; и как-то эти меня разговоры начали сильнее тяготить, так что иногда в голове становится кружение».

Много ли нужно исправлять для того, чтобы это письмо могло оказаться монологом в драме Островского?

Катерина, во всяком случае, была избавлена от «образованного» общества. К Кольцову же часто стучались не только малограмотные приказчики для выяснения торго-

вых дел, но и любители умных разговоров и литературных бесед.

«У нас, — сообщает Кольцов Белинскому, — есть уездное училище, а в училище есть уездный смотритель; зовут его Николай Лукьянович господин Грабовский. Он человек известный: два года назад издал «Историческую картину религии», с французского (две части, цена 10 руб.). Подписка была объявлена на всю Россию, посвящена архиерею. Остальные экземпляры разыгрываются теперь в лотерею насильно, то есть, ко всем исправникам, городничим посланы билеты: раздай да и хвать: не раздаешь, свои деньги плати, — не велик барин какой-нибудь исправник».

Письмо у Кольцова не просто письмо, но рассказ, очерк, фельетон на тему «добровольного» распространения обязательным российских лотерей. И прежде всего сцена: «Два дня назад вечером я уморен был насмерть. Смотрю, лезет Грабовский.

— Здравствуйте.

— Мое почтение.

— Я к вам.

— Очень рад.

— Не просто, с просьбой.

— Готов выполнить, если смогу.

— О, что до этого — без сомнения можете.

— Готов служить.

— Дело вот в чем.

— Хорошо.

— Вчера я читал ваши стихи в «Сборнике».

— Благодарю.

— Вы, как видно, посвятили себя на белые стихи.

— Да-с.

— А, по-моему, рифмованные стихи как-то лучше.

— И я так же думаю.

— Что же вы сами не пишете?

— Не умею.

— И полноте, вам захотеть — вот и все.

— Выполню ваше желание, попробую как-нибудь.

— Впрочем, они и без рифм очень хороши.

— Покорно благодарю.

— Вы не изволили читать-с мой перевод — «Историческую картину религии»?

— Нет, еще не читал.

— Разве вы прозы не любите?

— Не только не люблю, сроду не читаю.

— Напрасно-с вы это делаете, а проза дело хорошее.

— Знаю».

Окончания письма Кольцова нет, но уже и в приведенном отрывке — полное представление о литературном визите ученого человека, даже и журналиста: с 1838 года и по 1845 год Грабовский — первый редактор «Воронежских губернских ведомостей», в которых, впрочем, Кольцову не досталось ни строчки — ни во здравие, ни за упокой: после смерти поэта никакого некролога в них не появилось.

«Пророчески вы угадали мое положение, — пишет Кольцов Белинскому, — у меня у самого давно уже лежит на душе грустное это сознание, что в Воронеже долго мне не сдобровать. Давно живу я в нем и гляжу вон, как зверь. Тесен мой круг, грязен мой мир; горько мне жить в нем; и я не знаю, как я еще не потерялся в нем давно. Какая-нибудь добрая сила невидимо поддерживает меня от паденья, и если я не переменю себя, то скоро упаду. Это неминуемо как дважды два четыре. Хоть я и отказал себе во многом, и частью живя в этой грязи, отрешил себя от нее, но все-таки не совсем, но все-таки я не вышел из нее».

Прежде всего выходом казался отъезд из Воронежа. Какие здесь существовали варианты? Чего хотели и что предлагали его друзья?

Внешне предложения выглядели почтенно, достойно и соблазнительно. «В это время, — писал Белинский уже в позднейшей о поэте статье, — Кольцову было сделано из Петербурга предложение принять управление книжною лавкою, основанною на акциях. Другое предложение было сделано ему А. А. Краевским — принять на себя заведывание конторою «Отечественных записок». Первое предложение было ему совершенно не по душе».

Кольцов смотрел на дело гораздо более трезвыми глазами, чем, например, Белинский. Здесь-то поэт в отличие от критика был гораздо более критичен и аналитичен, что Белинский вскоре после смерти Кольцова поймет и о чем напишет в письме Боткину.

Белинский точно и, как признался сам Кольцов, пророчески угадал его положение и потому «перезывал» его в Питер, но рисовалась Белинскому, очевидно, достаточно идиллическая картина (честная, благородная торговля книгами), в создании которой он, впрочем, и сам был готов энтузиастически поступиться последней копейкой. Кстати сказать, ни одно из книжных издательских дел

непрактичному Белинскому так никогда и не удастся. Остатки подобных идиллических представлений сохранились и в статье критика о Кольцове: «С последней поездки в Москву эти минуты уныния, апатии и тоски стали являться чаще. Одна надежда облегчала их. По отстройке дома он думал сдать отцу приведенные им в порядок дела по степи, а самому заняться присмотром за домом и открыть в нем книжную лавку. Это значило бы для него примирить потребность своей натуры с внешнею деятельностью».

Мы увидим, что сам Кольцов вряд ли мог хоть сколько-нибудь серьезно думать о таком примирении с «внешнею деятельностью». Знавший действительность Кольцов не питал никаких иллюзий и насчет петербургской книготорговли, и, математически все рассчитав, представил другу истинное положение дел: «А чтобы быть мне хорошим книгопродавцем, — едва ли я им буду. Конечно, прежде, может, так, а теперь начать труд не по силе, особенно в Питере. На книжную торговлю я смотрю теми же глазами, как и на всякую; и чистая аксиома: где торговля, там и подлость. Будь человек святой — и тот сделает низко, а сделавши раз, почему не продолжать? Конечно, есть исключения: например, Василий Петрович Боткин. Он — не сравнение со мною. Он вырос, у его отца были средства порядочно учить, — выучился. Торговля шла правильная, капитал большой, а большой капитал в деле торговли вещь великая. <...> А маленькая торговля и небольшой капитал — и с ничего и подниматься в гору; похвальное дело, но трудное дело, и я на опыте уж это знаю. Здесь собраться с силами надо человеку, работать неутомимо пять лет, а ступать нога за ногу — десять. <...> Вот основная причина, отчего ваши петербургские книгопродавцы — все мошенники. Им другими и быть нельзя, они всю торговлю начали сами, а не их отцы и деды, и начали с ничего; следственно, сначала они думали, как бы приобрести мало-мальски, а преобретая — время прошло много: поздно перемениться. И подличая сначала, но привычке должно уж подличать до конца. Если и я начну торговать, — будь у меня пять тысяч, дай мне Андрей Александрович (Краевский. — *Н. С.*) пять тысяч, вы две тысячи, всего — двенадцать тысяч — в двенадцать тысяч что за лавка в Питере? На что иметь хорошего молодца, платить восемьсот рублей? За лавку семьсот, капитал триста рублей, содержание на себя тысяча пятьсот, всего три тысячи три-

ста — следственно, надо с двенадцатью тысячами добыть в год по тридцати копеек процентов на рубль, кроме барышей. А если иначе сделать, — будет выгоднее, и лавка пойдет и капитал умножится».

Кольцов прекрасно знает, как нажить деньги, хотя бы и занимаясь книготорговлей: «Например, сначала делать так: привезти своих пять тысяч, взять у Андрея Александровича тоже пять тысяч, у вас две тысячи, заниматься самому, приказчика не иметь; через год вам денег ни копейки не отдать, входить во всякие дряни, позволять себе все, — и лавка пойдет славно, и капитал вырастет. И так делают многие. Но я решительно на это не способен и делать так не могу и не мастер; поэтому и буду худой книгопродавец. Обмануть же Андрея Александровича я ни за что не соглашусь, я его уважаю не этою стороною души, а вас, милый мой Виссарион Григорьевич, — и говорить нечего! Моя любовь к вам другая. Боже сохрани! Лучше пропади я пропастью, чем обмануть вас!»

Очевидно, и в Петербурге, когда Кольцов жил у Белинского, тот его «перезывал» из Воронежа, потому что Кольцов, как бы продолжая разговор, пишет: «Даже жить в Петербурге, быть книгопродавцем — значит быть Поляковым (книгопродавец Поляков у Кольцова — неизменный символ мошенничества, так как и лично обманывал поэта в пересылке некоторых изданий. — *Н. С.*); иначе — нельзя. Каковы люди, таков и купец. Он не сам по себе гадок и плут, а его так вам вырабатывают люди, с которыми он имеет сделки. Кто в Питере честен? Кто в Москве честен из них? Никто. Что ж я за звезда, что один между ними буду честен? С кем же я буду дела вести, как не с ними? Они плуты — ну и я должен быть плут. А мне плутом быть — до смерти не хочется».

Другим вариантом переезда в Петербург была возможность стать заведующим конторой «Отечественных записок». Краевский, делая такое предложение, вряд ли руководился только, так сказать, благотворительными целями. Делец и коммерсант, он должен был вполне оценить в Кольцове умного, точного, энергичного и опытного работника. У Краевского было, видимо, немало тому доказательств. Выразительным подтверждением является письмо Кольцова Краевскому, посланное уже после осеннего петербургского пребывания из Москвы. По просьбе Краевского Кольцов нанес в Московскую контору журнала что-то вроде инспекционного визита, о котором и до-

кладывает: «По желанию Вашему третьего дня был я с Василием Петровичем Боткиным в конторе «Отечественных записок». Она на Кузнецком мосту; но только вход в нее не прямо с улицы, а надо взойти в вороты и перейти сначала целый двор, не очень чистый, с одной стороны, и над крыльцом ее, вместе с вывескою «Контора журналов», — «Здесь диктируют сукна». Это не очень ловко. <...> За маленькой прихожей довольно большая чистая комната. На стенах разные большие и маленькие картины, очень порядочные; прилавки и шкапы сделаны очень хорошо, журналы за стеклами в порядке, на столе записные книги и счета, как следует». Все это отмечено точным и быстрым взглядом хозяина, умеющего наблюдать за делом и за порядком его ведения.

«За комнатой конторы еще другая большая хорошая комната, где живет сам Кони. Приказчик у него немец, дурно говорит по-русски. Кони тоже; говорят много и охотно, хоть слова их и с трудом понимаешь; и что-то мне показалось, что Кони и его приказчик или такие от роду немцы-чудаки, или часто попивают винцо, лица у обоих довольно красны. Более любят говорить не об «Отечественных записках», а об «Литературной газете», что этот журнал с нового года будет издавать г. Кони и журнал будет очень хороший. Большая вывеска на улице очень велика и наглазна, только сделана не в пользу нашу: на ней, после верхнего слова *Контора,* в другой строке во всю длину доски огромными словами: *«Литературная газета»,* потом небольшими словами в одну строку ниже *и «Отечественных записок» и «Русского пантеона»,* потом в нижней самой строке: *и всех других российских журналов.* А по-моему, кажется, следовало бы написать: *Контора «О. Записок», «Л. Газеты»* и *«Пантеона»* — это было бы лучше, и ваш журнал был бы на первом глазе. Кроме этого, о г. Кони слышал я от многих мнение не очень хорошее...» Затем Кольцов дает Краевскому ряд советов по ведению московской конторы.

Ф. А. Кони, отец знаменитого юриста А. Ф. Кони, действительно приступил в начале 40-х годов к выпуску своих изданий и вскоре стал довольно заметной фигурой в русском журнально-литературном мире. Но интересны здесь не настороженность и предвзятость по отношению к нему Кольцова (она, очевидно, быстро рассеялась: во всяком случае, позднее Кольцов и писал Ф. А. Кони, и напечатал у него несколько стихотворений), а опять-таки цепкий и хваткий хозяйский глаз на вывеску (рекла-

ма!), на приказчика (не пьяница ли?), на «общественное мнение» (что говорят люди?).

Краевский вряд ли бы прогадал, обзаведись он таким заведующим конторою. Сам Кольцов в письмах отделывался вежливыми фразами о соблазнительности такого предложения, о готовности на него откликнуться, если бы не обстоятельства: «...Взять контору «Записок» это дело другое, на это дело можно решиться скорее. Есть на первый раз уже основание небольшое, но прочное, без употребления своих денег. Брать две тысячи пятьсот на расходы (очевидно, сумма, предложенная Краевским. — *Н. С.*) — пока сумма порядочная, и если бы меня выпустили из Воронежа, это дело бы я на себя с великою охотою взял.

Вы спросите: кто не выпустит меня из Воронежа? Полиция. Вы говорили: вам отвечать откровенно и искренне; я так и должен вам говорить, хоть и не хочется до смерти. Ничего нет хуже, как говорить искренне о своих грехах. Мы должны с отцом до двадцати тысяч рублей [1]. Хоть, может быть, сумма эта для уплаты долгов и соберется, но на это надо время и надо, чтобы я и отец мой оба вместе хотели сделать так. А так как я поеду жить в Питер против его воли, пустить же он ни за что волею не согласится, то как я уеду, а какому-нибудь векселю придет срок, он и скажет: «Я не должен по нему, а сын, а он в Питере — пошлите туда». Что было в прошлую мою поездку? Приезжаю домой, зовут в полицию, просят по одному векселю три тысячи; но хорошо, в пору приехал, уладил с ним, и деньги заплатили, а то бы вексель был послан в Москву».

Но и позднее, после возвращения из Москвы, когда дела с полицией полностью уладятся, Кольцов ни на какой переезд в столицу для такой работы у Краевского не пойдет. Потому-то в одном из писем он отзывается о предложении Краевского уже и прямо пренебрежительно: «Краевскому писал я прежде, что дела мои дурны: он на это со всем тоном великого мецената зовет меня к себе управлять конторою журнала «Отечественных запи-

[1] То есть деньги вложены Кольцовыми в различные торговые операции, находятся в обороте, а с отдачей их они явно тянут, о чем писал Кольцов Белинскому, поясняя, как только и могут благополучно вершиться торговые, хотя бы и книгами, дела. Потому и говорит Кольцов о таких делах как о «грехах», впрочем, в торговле обычных: «Векселедатели он и я, и кое-где и один я (ряд дел молодой Кольцов вел совсем самостоятельно. — *Н. С.*)».

сок», из мальчика просит пойти в работники; удачная будет перемена».

Сколько-нибудь всерьез он вряд ли для себя это предложение рассматривал.

Не забудем, а об этом, видимо, подчас его столичные друзья забывали, что сам Кольцов был купцом, пусть и при отце, но — хозяином, самостоятельно ведшим дела. Стать под чье-то начало, превратиться в наемного работника для него было невозможно. Недаром почти тогда же, в марте 1840 года, благодарность П. А. Вяземскому прерывается фразой: «Вы своим покровительством отвели от меня тучу, которая, может быть, навсегда бы уничтожила меня и перевела бы из незавидной моей сферы в последний круг людей — рабочих».

Да, он работает, но он хозяин, а не рабочий; он нанимает, но сам не наемный. В письме Белинскому Кольцов, поясняя положение приказчика у хозяина, по сути, поясняет свое возможное положение у Краевского, а уж цену-то Краевскому как работодателю он знал и с этой стороны понимал его много лучше эксплуатируемого Краевским Белинского: «Приказчиком же мне быть — я тоже не гожусь. У меня тысяча примеров на глазах, самый паршивый хозяин не годится быть приказчиком, а приказчик и незавидной может быть порядочным хозяином. Жить у хозяина — надо деньги заслужить, я должен наняться весь, а не половина; а человек, делая одно и другое, — что за человек?» Тем более что Кольцов-то хотел делать именно одно и другое (литература), а еще точнее, одно — литературу.

Даже Белинский только после смерти Кольцова поймет до конца, почему тот так сопротивлялся вроде бы выгодным, спасительным предложениям и «горько-смешными» назовет собственные ему возражения: «Кольцов знал действительность. Торговля в его глазах была синоним мошенничества и подлости. Он говорил, что хорошо быть таким купцом, как ты (письмо адресовано Боткину. — *Н. С.*), но не таким, как tuus pater[1]. Одна мысль о начатке нового поприща унижений, пролазничества, плутней приводила его в ужас — она-то и усахарила его. У Иванова (иногороднего) дела идут отлично, но потому, что он — Иванов, честный и добрый малый, но Иванов, а не Кольцов».

---

[1] Tuus Pater — твой отец *(латин.)*.

Дело в том, что книгопродавец и управляющий конторой «Отечественных записок» Андрей Иванович Иванов как раз и пошел тем благополучным путем, который прочили Кольцову его друзья, и Белинский тоже, и сам Белинский в своих «Литературных и журнальных заметках» это засвидетельствовал и, так сказать, увековечил Иванова как некий образец и положительный пример: «Всей русской читающей публике известно, как г. Иванов начал свое книгопродавческое поприще: скромно, почти без всяких средств, кроме собственной деятельности, расторопности, усердия и честности, — начал с управления конторою «Отечественных записок», и вот теперь он уже едва ли не лучший русский книгопродавец. Он комиссионер почти всех провинций России, и его оборот уже весьма значителен. А спросите его, как он достиг этого? Очень просто: надобно было только поступать честно с своими корреспондентами. Например, житель провинции высылал к нему деньги на покупку книг: он денег этих не брал себе, не бросал письма в корзинку с ненужными бумагами и не оставлял корреспондента своего без денег, без книг и без ответа на многократно повторяемые письма; он по первой же почте отсылал требуемые книги по настоящей их цене, а вместе с ними и счет, и отчет, и расчет... Очень хорошо было бы, если бы на Руси развелось поболее таких книгопродавцев, как г. Иванов». «Впоследствии, — пишут новейшие комментаторы критика, — Белинский изменил свое мнение об А. И. Иванове».

Не Белинский изменил мнение об Иванове, а жизнь сокрушила идиллическую картину честной чичиковщины, сам Иванов, «добрый и честный малый», изменился, и в 1847 году Белинскому придется говорить о «мошеннике» Иванове, а Краевскому отбирать у Иванова ведение конторы. Здесь-то знавший действительность Кольцов ставил не только точные диагнозы, но и долгосрочные прогнозы.

Чего же хотел Кольцов, вступая на новую и, как оказалось, последнюю свою ступень? Пожалуй, правильнее начать с того, чего он не хотел.

Он не хотел жить в Воронеже. «Боже сохрани, если Воронеж почему-нибудь удержит у себя еще недолго, — я тогда пропал». Это в письме Белинскому. Но, не говоря уже о письмах Белинскому, даже в письме Вяземскому, вроде бы только деловом и одновременно благодарственном, прорвалась жалоба: «Жить в Воронеже все скучнеет, безлюдно, материально — грязь общества и дур-

ное направление мнений, неприязненность людей давят душу и теснят в делах дневных потребностей. Оставить бы его — да впереди еще темнее».

Впереди — еще темней. Ведь сам по себе переезд в Москву и Петербург для Кольцова не очень много значил. Да и смотреть на них он научился трезвым и критическим оком. Тем более что после распада кружка, когда-то связанного с именем Станкевича, и после отъезда Белинского в Петербург московская духовная атмосфера для него пообесцветилась. «Москва в литературной жизни, — сообщил Кольцов Белинскому в 1841 году перед самым отъездом в Воронеж после довольно долгого в первопрестольной пребывания, — совсем устарела, выжилась. Может, и есть кружки молодых людей; но я их не знаю. В ней остались один Василий Петрович (Боткин. — *Н. С.*), запрись он, и последние обломки старого, талантливого, горячего, вдохновенного кружка — как не бывало: все рассыпется врозь, и едва ли когда опять соберется. Кажется, никогда. Конечно, эти люди все будут работать, всяк у себя; но они будут сами по себе лишь хороши, а все новое в него уже не войдет: оно или соберется особенно, если будет из кого собраться, или, не давши плодов, проживет свою жизнь материальной жизнью, что, кажется, в наше время и сделать всего легче».

К славянофильским образованиям, центром которых начала становиться Москва, Кольцов остался в лучшем случае равнодушен, хотя, как свидетельствовал Иван Сергеевич Аксаков, поэт иногда и бывал у Аксаковых на субботних сборах-обедах. Кольцов же из первых чутко уловил начало раскола в отношениях Константина Аксакова с Белинским, решительно заняв сторону Белинского и даже, пожалуй, подливая масла в огонь. Некоторые явно недоброжелательные в адрес Белинского жесты со стороны К. Аксакова буквально ставили Кольцова на дыбы, и он сообщал о них Белинскому. Все симпатии Кольцова переселились в Петербург, но тоже в той мере, в какой они были связаны с Белинским: «Да, милый Виссарион Григорьевич, где вы — там для меня жизнь всегда теплее, а где вас нет — другое дело. Чем больше проходит время, тем больше эта истина доказывается опытом. Я теперь ясней начал чувствовать, как целый мир иногда сосредоточивается в одном человеке. Кажется, скоро придет время, что вы для меня замените всех и вся. Моя душа часто начинает говорить про это, и никуда не просится жить, как к вам». В целом же, не то что раньше,

Петербург для Кольцова гораздо менее интересен: «Питер меня, — пишет он Белинскому после последнего своего посещения столицы, — в нынешнее мое житье в нем меньше привязывал: мало я в нем оставил, меньше он во мне».

Кем Кольцов не хотел быть?

«Я не хочу быть человеком богатым — и никогда не буду. Не хочу быть никогда женатым и, может быть, не буду». В другом письме: «Чиновником я никогда не буду. Эта должность не по мне».

В жизни Кольцова на рубеже 30—40-х годов наступал период удивительной внутренней сосредоточенности; недаром же он пишет Белинскому: «Мы здоровы, если не телом, то, слава богу, душой». Глубокое душевное здоровье вело Кольцова к необходимости какого-то нравственного самоочищения. Подобно Гоголю в его письмах, которые писатель соберет и опубликует еще при своей жизни, Кольцов в своих письмах, которые с трудом соберут и опубликуют много лет спустя уже после его смерти, вершит некий строгий самосуд. И чем ближе к концу, тем эта потребность пробивается сильнее и звучит настоятельнее. И ищет внешнего суда. Правда, в отличие от Гоголя, который хотя и в форме личных писем, обратился позднее в «Выбранных местах» как бы ко всем сразу, Кольцов обращается к избранным судьям и видит таковых в двух своих друзьях: в Белинском и в Боткине, к этому времени вставшем для него рядом с Белинским. Он допрашивает их о себе сам настоятельно и исповедально.

Белинского: «Вы говорите в письме много от души и искренне, но не сказали всего о моих недостатках; эти заметки всего нужнее и, пожалуйста, скажите мне их прямо и откровенно; лучше этого вы ничего мне не скажете. Я теперь самую горькую истину полюбил всей душой. Самый желудок мой переменился — вместо сладкого варит лучше горькое; маслины прежде я терпеть не мог, с одной рвало меня, а ныне я обжираюсь ими и глотаю по полусотне, и если бы попались на эти зубы устрицы, и с ними бы церемониться не стал. Кислое, горькое, соленое, уксусное сделалось моим любимым кушаньем». Прямые вроде бы гастрономические перечисления у Кольцова легко переходят здесь в метафору. Знать пусть горькую, соленую правду о себе самом, — вот что ему нужно. Почему, зачем?

Почти через год он упрашивает о том же Боткина,

впрочем, в письме, адресованном уже в пору болезни, одновременно и Боткину и Белинскому: «Теперь к вам, Василий Петрович! Я писал вам письмо большое, подробное, все, что у меня за душою было и жило долго: про мои намерения, и про мои опасения, и про себя самого. Такое письмо я только и мог написать вам или Виссариону Григорьевичу; никому больше на свете: ни брату, ни жене. Горькое было у меня время, горько вам во всем и сознался. Но вы, милый Василий Петрович, поскупились ответить мне на все, на что я просил ответа. Слова нет, тяжело вам о многом сказать прямо — щекотливо. Я вас поставил в самое затруднительное положение. Но я об этом и писал, от вас-то и требовал, и от вас-то я могу все выслушать и легко снести неприятное; что бы вы дурно про меня ни сказали, это все бы только значило, что вы сказали мне не в укор, а в похвалу, а чем бы прямей и решительней, тем бы было для меня приятнее и легче. Видите ли, у меня сделалась нечаянная перемена во всем, и я, так сказать, оторопел. Мне сделалось нужно броситься в другую сферу; но прежде нужно же сознать свои силы и свои недостатки. Упавши раз, и то никак не поднимусь, но упавши другой раз, — значит, наповал. Вот почему мне нужно знать о самом себе именно от вас, и потому от вас, что я к вам обоим неограниченную имею любовь и доверие, а между своими чиниться в крайности ничего: что плохо, то и наружу прежде всего».

Еще не были опубликованы «Выбранные места» и уж тем более посмертная «Авторская исповедь» Гоголя, но, говоря гоголевским словом, для Кольцова «приспевает время, когда жажда исповеди душевной становится сильнее и сильнее». И много ли нужно изменять в этих письмах Кольцова, чтобы ощутить тот «торжественный тон» и «необыкновенный слог», который и отличит, по словам Гоголя же, его книгу писем? Речь, конечно, не о том, что Кольцов пойдет по гоголевскому пути, так сказать, идейно, но он хочет «броситься в другую сферу». Он уже явно не вмещается в традиционные свои жанры — песню и даже думу. Его ум, его дух ищет новых горизонтов, других определений и иных форм выражения. Именно письма Кольцова в их совокупности и в их становлении говорят о том, чем он был, и особенно о том, чем он мог стать.

Ощущение известной исчерпанности старого своего пути все чаще начинает прорываться у Кольцова. Еще

в апреле 1840 года он пишет Белинскому: «Ведь, знаете, иногда напишешь хорошо, иногда и дурно. Особенно: как-то получил от вас письмо, где говорите вы, что из присланных нескольких пьес вам ни одна не понравилась. Еще ничего — не нравится одна, две, три; а пять, десять — дурно, и мне шибко стало грустно».

Но дело в том, что все это легло на собственные внутренние сомнения, им ответило: «Мне самому сдается, что прежде я писал лучше, а теперь почему-то пишу хуже, и этой зимой вновь начала эта мысль изменяться; вы же мною теперь так владеете, что ваше слово — приговор. А ведь неловко, черт возьми, так долго сидевши, не написавши почти ничего еще дельного, — и выписаться... Худая посылка к самому себе». Вообще со своим критическим даром Кольцов очень мог и на себя оборотиться.

Кольцов постоянно пишет Белинскому, как он ему верит, как для него дорого всякое его, Белинского, слово, каждый его совет, любая его поправка. Но из этого еще не следует, что он «рабски» внимал такому слову, что всегда следовал таким советам и поправкам. Получая их, часто и довольно решительно возражал и вообще цену себе знал. «После десяти дней я собирался писать каждый день к вам, — обращается он к Белинскому. — Но так пришло ко мне время хорошо, такая полная жизнь вдруг посетила мою грудь, что я подобной не видал давно, давно... Мне не хотелось упустить эту пору, — за карандаш и начал кропать стишонки. Их все посылаю с этим письмом к вам; прочтите, увидите, что время шло у меня не даром».

Фраза «не хотел упустить эту пору» поясняет одну особенность кольцовского творчества, самого творческого процесса. В его даровании, особенно до поры до времени, было очень много природного, стихийного. К тому же Кольцов — лирик, песенник, а лирика давно названа поэзией мига; она, особенно в известной своей части, действительно одномоментна. И есть тип лириков, в которых это общее свойство лирической поэзии наиболее концентрированно выражено, очень полно заявлено в самом творческом акте. Яркое воплощение такого типа в русской поэзии — Афанасий Фет. Именно такими качествами, как стихийность, природность, музыкальность, его лирика особенно близка Кольцову, восторженным поклонником которого Фет был. Это видели самые разные критики. Уже рецензент первого сборника Фета 1850 года, Л. Мей, сам

известный поэт, отмечая «чисто русский оборот мысли и речи», упрекнет все же автора в чересчур сильном влиянии на некоторые его стихи именно Кольцова. Любопытно, что много позже в своей «Повести в повести» Чернышевский, хотя и с пародийным заданием, будет соединять стихи Фета и Кольцова, явно ощущая их родственность.

Лирический талант Фета, песенный талант Кольцова таковы, что здесь многое делалось «нутром». И потому это такой труд, что он нуждался, может быть, еще более, чем в самопроверке, в проверке со стороны. Кольцовское творчество «нутром» проверялось здесь «головой».

«Поправки — дело дьявольское, — пишет он Белинскому. — Что написалось, то давно забылось. Насильно же заставить жить тот момент, который давно не в груди, — вещь трудная». Правда, при этом сами чужие поправки Кольцовым часто отвергаются, в свою очередь, правятся, вообще принимаются критически и всегда с большим достоинством. Цену своим стихам Кольцов знал. Это ничуть не противоречит уже в год смерти данному им объяснению собственного таланта. Речь идет о материальной стороне дела, о способности обеспечить себя литературным трудом, но переходит и в более общую характеристику: «Положить надежду на мои стишонки — что за них дадут? И что буду за них получать в год? — пустяки: на сапоги, на чай — и только. Талант мой, — надо говорить правду в решительное время, — талант мой пустой; несколько песен в год — дрянь. За них много не дадут. Писать в прозе не умею...»

Все это не уничижение паче гордости. Но теперь с каких-то новых высот он считает, что талант, только в песнях проявившийся, талант «пустой». Он действительно думал о переходе в «другую сферу», и весь путь его, духовный и писательский, вел к такому переходу. Но... «прозой писать не умею».

Такие слова отнюдь не означают повторения за шесть лет до этого сказанных: «За дурное письмо не ругайте, потому что проза со мною еще при рождении разошлась самым неблагородным образом». Может быть, подобно мольеровскому Журдену, он действительно не подозревал, что уже несколько лет пишет прозой и умеет ею писать. Так или иначе, но дошедшие до нас письма Кольцова — это уже том великолепной прозы! Речь, конечно, не о литературно-журнальной скорописи, в которой упражнялись некоторые воронежские знакомцы Кольцова, в частности и упоминавшийся Дацков. «Дацков, — писал, выражая,

видимо, лишь воронежскому обществу ведомые настроения, де Пуле, — был большой театрал и приобрел некоторую известность театрального рецензента: статьи его о воронежском театре помещались в «Репертуаре» и в местных губернских ведомостях. Кольцов был также большой любитель театра и очень часто посещал сценические представления местной труппы, особенно тогда, когда появлялись столичные знаменитости, как это было летом 1840 г., когда приехал Мочалов. Кольцов знал лично, по Москве, Мочалова, любил его как человека и артиста и смертельно хотел что-нибудь написать о его представлениях, но при его неумении писать прозой он и приступить к этому боялся... А Дацков пишет, да еще как бойко, да не об одном Мочалове, а и о других актерах, например о Рыбакове, знаменитом провинциальном трагике, которого очень ценил сам Мочалов. Кольцов очень часто выслушивал и перечитывал театральные рецензии Дацкова, которыми переполнен его дневник, — и горькая зависть запала в душу поэта!»

Итак, Кольцов, позавидовавший губернскому рецензенту Дацкову. Но ведь сам Кольцов писал Белинскому: «Глупое положение нашей братьи-рифмачей: вот теперь и хочется написать о Павле Степановиче статейку, а чертовы размеры не дают хода прозе».

За этим признанием действительно стоят серьезные вещи, но уж никак не желание блеснуть рецензией у Грабовского в «Губернских ведомостях», считая Дацкова своим соперником. Да и самая «статейка» о Мочалове вряд ли бы стала обычной театральной рецензийкой. Кольцов действительно был большим театралом. И в пору пребывания в столицах, и в Воронеже. «Театр у нас есть, да такой гадкий, что тошно в нем быть: мужчины бесталанные, а женщины и безобразные. Играют все одни и те же трагедии, драмы, комедии, водевили, оперы, мелодрамы, балеты и всякие другие вещи. «Ревизоры» свои и «Гамлеты» — нипочем. И сборы идут хорошие. Как можно звонким риском да и в пору у нас много выигрывать!». Да, Кольцов, научись он бойкому рецензентскому перу, вряд ли бы преуспел в роли воронежского театрального критика.

Весной 1840 года появился в Воронеже Мочалов: «Двадцать третьего апреля приехал к нам Павел Степанович Мочалов с женою и раз уж, вчера, двадцать восьмого, играл «Скопина-Шуйского», тридцатого будет играть «Коварство и любовь», второго мая — «Смерть или

честь», шестого — «Гамлета», потом «Отелло», «Короля Лира», «Ненависть к людям». И у нас в Воронеже большой праздник; у театра шум и давка. Он собой пробудил наш сонный город. Я не был на «Скопине-Шуйском», не буду и на «Коварстве и любви», а потом все раза буду и вперед уверен, что он мою холодную натуру разогреет... Мука жить в тихом матерьяльном городе одному, сиротой».

Кольцов и на игру самого Мочалова мог смотреть резко критически, и его оценки не были простым дифирамбом, как не была таким дифирамбом и статья о Мочалове в роли Гамлета, которую написал Белинский, проследивший за игрой великого актера (из девяти представлений Белинский был на восьми) с точностью стенографа и рассказавший о ней со страстью соратника и соучастника, то негодующего, то восхищающегося. Крайне неровная игра почти всегда отличала Мочалова. «Осенью, 26 сентября, — писал Белинский в своей статье, — мы в седьмой раз увидели Гамлета, но едва могли высидеть три акта, и только по уходе короля со сцены были вознаграждены Мочаловым за наше самоотвержение, с каким мы долго дожидались от него хоть одной минуты вдохновения».

В 1841 году Кольцов дожидается в Москве бенефиса Мочалова, хотя, кажется, минут истинного вдохновения так на этом бенефисе и не дождался: «Ромео и Юлия» на бенефис Мочалова, наконец, сыграли, и я видел. Мочалов был нестерпимо дурен, из крайности переходил в другую; на бедного Ромео натягивал и Карла Моора, и Гамлета, и бог знает что, — хоть бы одно место было хорошо. Наконец, и роли не знал. Юлия — Орлова была в кой-каких сценах очень хороша: в окне с няней, в первый раз, и в другой — с Ромео, у Лоренца в склепе. Чудо как хороша! А в других сценах изысканна, неестественна и не хороша. Орлов — Лоренцо был гадок. Няня до подлости гадка. Самарин в Меркуцио очень хорош. Славин в Парисе — дерево. Усачев в Бенволио — пень. Щепкин — отец Юлии, кой-где был хорош, но горячился — и роль сошла плохо; и он решительно от нее отказался навсегда. И все другие были гадки. Театр был полон».

Кольцов тем более пристрастен, что «Ромео и Джульетта» — любимая его шекспировская вещь, а в Мочалове, как и в Щепкине, он видит не просто хорошего актера, но одно из самых коренных явлений искусства. Во всяком случае, когда он пишет о главных залогах столичной

жизни, то называет именно их: «И самый Питер и Москва много своим величеством способствуют силам человека: а о театре уж и говорить нечего: здесь Мочалов и Щепкин люди необходимые».

Кольцов был в дружбе со Щепкиным и ощущал особую близость к Мочалову, может быть, потому, что видел немало схожего в своей с ним судьбе и в характере дарования. Невольно думаешь о двух типах поэтов (непоэтическом облике Кольцова — «мещанского поэта», каким его долго полагали те же земляки, на фоне «поэтического» Серебрянского), когда видишь у Белинского сравнение двух типов актеров: Каратыгина и Мочалова: «Да, Мочалов все падал и падал во мнении публики... ей представился другой идол — изваянный, живописный, грациозный... Вот тогда-то раздались со всех сторон ее холодные возгласы: Мочалов — мещанский актер, — что за средства — что за рост — что за манеры — что за фигура — и тому подобные».

Потому-то, очевидно, демократ Белинский и шел на бенефис Мочалова — Гамлета с особым чувством: «Нас занимал интерес сильный, великий вопрос вроде — «быть или не быть». Торжество Мочалова было бы нашим торжеством, его последнее падение было бы нашим падением. Мы о нем думали и то, и другое, и худое, и хорошее, но мы все-таки очень хорошо понимали, что его так называемые прекрасные места в посредственной вообще игре были не просто удачею, не проискриванием тепленького чувства и порядочного дарования, но проблеском души глубокой, страстной, волканической, таланта могучего, громадного, но нимало не развитого, не воспитанного художническим образованием, наконец, таланта, не постигающего собственного величия, не радеющего о себе, бездейственного. Мелькала у нас в голове еще и другая мысль, что этот талант, сверх всего сказанного нами, не имел еще и достойной себе сферы».

Нет, конечно, не обычную театральную рецензию из зависти к Дацкову или на зависть Дацкову имел в виду Кольцов, когда думал о «статейке», посвященной Мочалову. Недаром и думалось о ней во время бесед Кольцова с самим актером в пору, когда окончательно расходились пути критика Гамлета — Виссариона Белинского и переводчика Гамлета — Николая Полевого, людей, с которыми был так близок исполнитель Гамлета — Павел Мочалов. Ведь уже наступали тоже в своем роде «роковые сороковые» годы прошлого века и уже шел первый из них:

«Я объяснил Павлу Степановичу, — пишет Белинскому Кольцов, — что эта ссора началась совсем не по личностям, как он думал, а лишь из раздора внутренних интересов, на чем одно остановилось, с того другое пошло писать и что пора прошла неопределенности, намеков, восклицаний и недоумений; что настало время решительных положений внутренних интересов, — какие они в настоящую пору, как их толкнут и каковы они быть должны». Вот в каком контексте думал о своей «статейке» Кольцов.

Письма, то есть прежде всего письма к Белинскому, оказались той лабораторией, в которой происходило становление новых начал. Они и создаются, по сути, уже как литературные произведения: «...о чем собирался говорить, сказал на страничке, и совсем не так сказал, как хотел. А если бы вы знали, сколько было сборов писать к вам: сперва бумаги купил, перо час чинил, комнату запер, чтоб никто не помешал, и вот чем кончаются эти сборы — пустяками. Хоть врать бы что-нибудь еще — и того не умею. О музы! дайте хоть вы своих небесных слов и мыслей, чтобы кончить это начатое с такой заботою письмо и так ведённое печально кончить не смехом, а чем-нибудь другим: возвышенным, выспренним и важным. Не стыдитесь, музы, прилететь в вонючее Зарядье: теперь ночь, и никто из людей солидных вас не увидит...»

Кольцов в шутку, но не случайно, создавая вроде бы частное письмо, обращается к музам. И уже не только поэтическая Эрато должна была бы помогать ему в письмах, но и драматические Мельпомена с Талией, и муза — хранительница критиков, если бы такая была предусмотрена античностью, и, наконец, покровительница эпоса Каллиопа. Да, Некрасов не случайно называет письма Кольцова драгоценным памятником рукописной нашей словесности. Трудно не увидеть в письмах Кольцова и эпическую гоголевскую манеру в ее прямом, высоком значении и в обратном — ироническом, с тягой и в том и в другом случае к развернутому «гомеровскому» эпическому сравнению.

Особенно часто появляется у Кольцова что-то вроде маски, своеобразный, чисто гоголевский народный сказ с экивоками, отступлениями и повторами. Речь совсем уже не пушкинская.

1841 год. Письмо Белинскому: «Вот когда, наконец, собрался я к вам писать. Некогда было, скажете, недосуг, занят; ничего не бывало: ничего почти не делал, ничем не был занят, время все проходило как-то глупо,

сквозь руки. Какая-то лень холодная, пустая, убийственная овладела мной. Скука, пустота, грусть и черт знает что еще не лежит во мне. Какое-то состояние самое несносное, самое гадкое, ничего не делаешь — и делать ничего не хочется. Движешься, ходишь, бродишь, смотришь на все равнодушно, спокойно — и только ищешь двери, чтоб скорей вон».

Проще предположить прямое влияние Гоголя. Надежда увидеть Гоголя питала Кольцова, когда он предпринимал и последнюю поездку в Москву: «Гоголь в Москве, — пишет он в апреле 1840 года в Петербург Белинскому, — однако Павел Степанович (Мочалов. — *Н. С.*) его не видал. Досадно, черт возьми, если он скоро опять улетит в Италию и я его не увижу; а уж если он поедет туда — скоро не воротится». И уже перед самым отъездом в Москву: «Да если б бог дал увидеть Гоголя! Застану ль? Нету ль в Москве? И не знаком, а уж пойду к нему: хочется быть у него, да и только».

Увидеть Гоголя так Кольцову и не пришлось, а Гоголь был предметом любви и надежд Кольцова. Но само влияние Гоголя на Кольцова было особым. Творчество обоих художников возникало на почве очень органичного восприятия народной жизни, обоим очень близко лиро-эпическое, народно-песенное начало. И еще одно. Известно, что творчество Гоголя порубежно: Гоголь, особенно ранний, вяжет в одну две славянские струи, две русские стихии, как раньше говорили — великорусскую и малорусскую. Не столь отчетливо, но и кольцовское творчество многое приняло в себя от украинской жизни, быта, поэзии. Надо думать, что кольцовская поэзия, в частности своими стихотворными размерами, которые обычно возводят к классической поэзии, и характером внутренних рифм, созвучий, которые тоже обычно связывают с русской песней, многим обязана и песне украинской. «Стихосложение малороссийское, — писал Гоголь, — самое выгодное для песен: в нем соединяются вместе и размер, и тоника, и рифма. Падение звуков в них скоро, быстро; оттого строка никогда почти не бывает слишком длинная. Рифмы звучат и сшибаются между собою как серебряные подковы танцующих. Верность и музыкальность уха — общая принадлежность их. Иногда встречается такая рифма, которую, по-видимому, нельзя назвать рифмою, но она так верна своим отголоскам звуков, что нравится иногда более, нежели рифма, и никогда бы не пришла в голову поэту с пером в руке».

Вот характеристика, многие стороны которой не имеют отношения к русской народной песне, но очень подходят к песне кольцовской. Кольцов, конечно, не совсем поэт с пером в руке, он — песенник.

Но, естественно, не только эта русско-украинская стихия роднит его с Гоголем. Кольцов недаром собирал не только русские, но и украинские песни и даже сам, видимо, пытался писать в духе украинских народных песен. Ведь целые районы Воронежской губернии были украинскими. Любопытно, что само воспоминание о воле жило здесь у сравнительно позднее закрепощенного крестьянства сильнее; недаром крестьяне-украинцы здесь, даже находясь в крепостной зависимости, называли себя подданными.

Позднее Кольцов явно встает на гоголевский путь во многих своих исканиях, духовных и художественных, и идет по этому пути не только за Гоголем, но и вместе с ним.

Весь этот мощный опыт, уже заявленный в письмах Кольцова, требовал иных форм, нежели песня или даже дума. И Кольцов остро ощущал, какие опоры здесь нужны, какая основа здесь должна быть подведена, каким требованиям здесь должно ответить. «Все всего сила создать не может... Будь человек гениальный, а не умей грамоте, ну — не прочтет и вздорной сказки. На всякое дело надо иметь полные способы». Талант Кольцова для своего выражения в новой сфере, куда он так устремился, хотел иметь такие «полные способы». Отсюда его тяга уже не просто к литературному, так сказать, образованию, но к энциклопедической осведомленности, к универсальному освоению мира. Отсюда этот кольцовский разворот: «Нет голоса в душе быть купцом, а все мне говорит душа день и ночь, хочет бросить все занятия торговли — и сесть в горницу, читать, учиться. Мне бы хотелось теперь сначала поучить хорошенько свою русскую историю, потом естественную, всемирную, потом выучиться по-немецки, читать Шекспира, Гёте, Байрона, Гегеля, прочесть астрономию, географию, ботанику, физиологию, зоологию, библию, евангелие». Наконец, нужны были совсем иные и новые жизненные впечатления. Не воронежские или околоворонежские, даже не московско-петербургские. Речь идет о замахе на всю Россию: «...И потом два года поездить по России, пожить сначала год в Питере». И в другом письме: «Если б воля — поехал бы по России, проездил бы хоть год. Вот чего всей душой хотел бы я».

Через много лет ищущий свой и новый путь Александр Блок скажет: «Нужно любить Россию, «нужно проездиться по России», писал перед смертью Гоголь...» Для Кольцова новый его духовный путь прямо связан и с новым реальным путем — «по России».

«Вот мои желания и, кроме их, у меня ничего нет». Кольцов вступал в ту пору пушкинской мудрости, о которой поэт сказал: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». «Мне уж нужен больше покой, а не жизнь разнообразная», — напишет Кольцов Белинскому.

И в Петербург он отправился не для того, чтобы заниматься делами книготорговли или обеспечить место заведующего журнальной конторой у Краевского. Делалась решительная попытка полностью изменить свою жизнь и добиться «покоя и воли». И только для этого и во имя этого, завершив ряд операций, отцовских и собственных, получить по договоренности с отцом постоянное обеспечение. «Если успею себя обеспечить, — пишет он Белинскому, — то я житель Питера, а не успею, то без средств я никуда не ездок. Суждено чему быть — пусть будет, а назначено сиднем сидеть — сяду: я не виноват — доля. И хотелось — да не смогнулось».

Дел было, собственно, два: одно в Петербурге. Оно и было, очевидно, таким, которое он вел сам, и деньги, в случае выигрыша которого, он получал как собственные. Уже подводя итоги поездки в марте 1841 года, Кольцов пишет Краевскому: «Дела мои через поездку в Москву и Петербург на этот раз нисколько не улучшились, а значительно похужели. Дело, которое было в Питере, я проиграл, и с ним проиграл я все, как оказалось теперь. Дело, которое было в Москве, я выиграл, но оно ничего мне не дало, кроме только улучшило отношения мои с полицией, — по крайней мере она меня теперь не будет теснить. Иск был в пять тысяч: он на время сложен. А выиграй я дело в Питере, я бы за него сейчас в Воронеже взял денег десять тысяч; дело мое и деньги были бы мои». Находясь в Воронеже в руках Карачинского, оно уже совсем потеряло шансы на выигрыш: «То дело, — сообщает Кольцов Одоевскому, — по которому я ездил в Петербург и которым беспокоил вас много раз, совершенно изгажено... Можно было бы его и теперь еще поправить, если б в нашей палате был управляющий хороший человек. А то, вы знаете уж его. Что я об нем вам говорил; он таков и есть; и дела идут по-прежнему; не лучше, а хуже. Жаль, что я не выпросил у вас к нему

письмо; я б сходил бы к нему раз шесть, посмотрел бы этому праведнику в глаза поближе. Но, знать, бог им судья. Кто болен от природы, того вылечить видно совсем нельзя».

С проигрышем петербургской тяжбы не приходилось рассчитывать ни на мало-мальски независимое положение, ни на поездки по России, ни на занятия, ни на жизнь в Петербурге. «Проигрыш дела, — объяснит Кольцов Белинскому из Москвы свое восемнадцатидневное молчание, — также сильно подавил меня, хоть я и молчал, и он-то был больше причиною моего молчания. У меня, вы знаете, было другое дело в Москве. С первых дней приезда я занялся им, оно переменило было свой ход. Надо приложить силы и время, — и десять дней как не было. Теперь оно кончено, и, слава богу, хорошо. Письма князя Вяземского имели полный успех: без них я бы ничего не сделал: и хлопоты и труды пропали бы напрасно».

Эта успешная московская операция улучшила общесемейное положение Кольцовых, но лично Кольцову мало что давала, во всяком случае, вне Воронежа. Вне Воронежа он находился полностью в руках отца, который оставил его без средств. Почему?

Отец, видимо, никогда ранее в деньгах, судя по всему, не отказывал: деньги эти были как бы общими. Потому-то отказ на этот раз буквально потряс сына. «Да, нынче отец и мать, видно, хороши по расчетам. Однако ж эта новость и особенно эта непризнательность меня срезала глубоко». До Воронежа разными путями, очевидно, дошли слухи о том, что Кольцов намерен порвать со старым образом жизни и хочет уехать из Воронежа, слухи доходили разнообразные, в том числе, видимо, и нелепые. В семье возникла большая настороженность. «Ты, друг мой, ужасно меня обидела, — объясняется Кольцов с младшей сестрой Анисьей, — говоря, что я куда-то определился и тебе не сказал. Отцу и матери извинительно так судить, — я им сам много подал примеров так думать; но тебе грех, сестре, думать, чтобы я от тебя скрывался».

«Я, — сообщает Кольцов Белинскому, — писал к отцу по окончании дела (которое кончилось, как вы знаете, хорошо), чтобы он прислал мне денег. Старик мой говорит: «Денег нет тебе ни копейки, а что дело кончилось хорошо, мне все равно — хоть бы кончилось и дурно. Мне шестьдесят восемь лет, и жить осталось меньше, чем вам. Я даже слышал, что ты хочешь остаться в Питере:

с богом, во святой час, благословенье дам, а больше ничего». Я прочел сии радостные строки и сказал: «Вот те, бабушка, и Юрьев день!»

Разрешая остаться в столице без денег, отец, в сущности, категорически потребовал возвратиться в Воронеж. В пору, когда дух поэта созревал для выхода на иные и высшие круги, все возвращалось на круги своя: семья, Воронеж, торговля.

Семья: «Вот пришло время: и дом, и родные невзлюбились наконец».

Торговля: «Проклятое звание, как я узнал его короче. Что я? Человек без лица, без слова, безо всего просто. Жалкое создание, несчастная тварь, которая годится лишь на одно: возить воду да таскать дрова — вот и все. И что еще хуже: жить дома, в кругу купцов решительно я теперь не могу, в других кругах — тоже».

Воронеж: «Боже сохрани, если Воронеж почему-нибудь меня удержит у себя еще надолго — я тогда пропал».

Как загнанный в угол тосковал Кольцов в Москве, не зная, что делать: «Хочешь забыться — и не можешь, о чем-то думаешь — и ничего не думаешь в то же время. Собираешься писать, сядешь, возьмешь перо и держишь его в руках, как дурак палку. Не то чтобы хотел письмо написать получше, нет, хоть бы как-нибудь, и слово с пера нейдет; до чего это доведет, не знаю, а только жизнь проходит невыносимо тяжело. Прежде пилось, а теперь и пить не хочется: гадко, все потеряло интерес...»

Кольцов возвращался в Воронеж тогда, когда и в столицах-то ему уже тяжело становилось жить, и совсем не только материально. «Конечно, — пишет он Белинскому, — есть люди, с которыми я сошелся и у которых порою я могу быть свободно. Жить могу с вами и еще кой у кого бывать — и только. Да, и только. А другие люди, и их много, — они, по-своему, добрые люди, их винить нельзя, — и быть у них тоже нельзя».

Интересно то, что и Кольцов оказался чуть ли не единственным человеком, с которым мог ужиться Белинский. В 1840 году почти полтора месяца пребывания Кольцова в Петербурге (он находился там с 5 октября по 26 ноября) это подтвердили. «Кольцов, — пишет Белинский Боткину в письме от 25 октября, — живет у меня — мои отношения к нему легки, я ожил немножко от его присутствия. Экая богатая и благородная натура!» И после отъезда Кольцова почти в перекличку с его словами, хотя и не к нему, а опять-таки к Боткину, скажет: «Многих

людей я от души люблю в Петербурге, многие люди и меня любят там больше, чем я того стою; но, мой Боткин, я один, один, один! Никого возле меня... Когда приехал Кольцов, я всех тех забыл, как будто их и не было на свете. Я точно очутился в обществе нескольких чудеснейших людей... И вот опять никого со мною, опять я один, — и пуста та комната, где еще недавно мой милый Алексей Васильевич с утра до ночи упоевался чаем и меня поил». «Кроме тебя, — скажет он Боткину в 1842 году, уже после смерти Кольцова, — я мог бы жить с Кольцовым. Да где его взять?»

В 1842 году Кольцова уже негде было взять. А зимой 1840 года он возвращался в Воронеж. «Если б вы знали, как не хочется мне ехать домой — так холодом и обдает при мысли ехать туда. А надо ехать. Необходимость — железный закон».

И в другом — последнем — московском письме Белинскому: «Я еду домой. И эта поездка много похожа на ловлю сурков, их из земли выливают водой, а меня нужда посылает голодом».

Первого февраля 1840 года Кольцов на занятые деньги отбыл в Воронеж.

И СНОВА ВОРОНЕЖ. КОНЕЦ

Домой он вернулся одновременно угнетенным и взбешенным. В свое время Белинский, рисуя картину положения поэта в семье, писал: «Возвращаясь домой, он встречает не ласку, не привет, а грубое, дикое невежество, которое никак не может простить ему того, что он хочет быть человеком и в этом отношении уже резко отличился от невежественных животных в человеческом образе. Но у него есть книги,

Много дум в голове,
Много в сердце огня! —

и он закрывает глаза на грязную действительность, не замечает презрения, не видит ненависти. Презрение, ненависть!.. За что же?.. Кому он сделал зло, кого обидел? Не жертвует ли он лучшими своими чувствами, благороднейшими своими стремлениями этой грязной и сальной действительности, чтобы тяжким трудом и скучными хлопотами в чуждой ему сфере способствовать материальному благосостоянию своего семейства! Но увы! Удивляться этому презрению и этой ненависти без причины, значит не знать людей. Сойдитесь с пьяницей, сами оставаясь трезвым человеком: он невзлюбит вас. Неряха никогда не простит вам опрятности, низкопоклонник — благородной гордости, негодяй — честности. Но еще более невежество не простит вам ума и стремления к образованности».

Эта выразительная и точная зарисовка из области общих человеческих отношений не совсем точно накладывается на реальную картину отношений в кольцовской семье, особенно до поры до времени. До по́ры до времени Кольцов-сын совсем не был в семье изгоем, встречавшим не ласку, не привет, а грубое и дикое невежество. Кольцов неоднократно пишет до 1841 года о хороших отношениях с отцом и, кажется, ни разу — о плохих, а уже в пору ссоры объяснит Белинскому: «Прежде он боялся полиции и потому любил меня до излишества».

Летом 1838 года под живым впечатлением от московской философской атмосферы Кольцов сообщает Белинскому о том, как он приобщал отца Василия Петровича

к философской проблематике: «Старик отец со мною хорош: любит меня за то, что дело кончилось хорошо: он всегда такие вещи очень любит. Мы ездили с ним вместе на степи; дорогою я взялся ему все доказывать, рассказывать философски, рассказал как умел, и он со мною совершенно во всем согласился: даже согласился, что он самый большой фанатик, то есть старинный почитатель одних призрачных правил без чувства души (так ли я понимаю слово фанатик?). А это все ручается, что мы с ним скоро будем ладить хорошо. Дай-то бог!»

Трудно сказать, что понял Василий Петрович Кольцов в доказательствах и рассказах сына, к тому же прибегавшего к специфическим терминам, которыми пользовались в конце 30-х годов молодые московские гегельянцы и о значении которых сами-то не всегда могли договориться: так, Белинский вынужден подробно объяснять Бакунину, что же он вкладывает в понятие «призрачный». Но, во всяком случае, вряд ли Кольцов-сын стал бы что-то «рассказывать философски» «невежественному животному в человеческом облике». Отец поэта, по воспоминаниям многих, являл тип великорусского купца средней руки, правда, с такими отличительными особенностями, как большой, даже выдающийся ум, перешедший и к сыну, самолюбие, доходящее до фанатизма, склонность к «фантазиям», проявившуюся в ведении дел, — Василия Петровича здесь часто, как говорится, заносило. Что касается того, что отцовская любовь подстегивалась удачным ведением дел, — сын и тогда трезво это понимал и видел. Как и то, что отец его действительно «старинный почитатель одних призрачных правил без чувства души». Позднее сын переведет это на язык более внятный: «Он человек простой, купец, спекулятор, вышел из ничего, век рожь молотил на обухе, — так его грудь так черства, что его на все достанет, для своей пользы и для дел своей торговли. Купец настоящий устраивает одни свои дела, а есть ли польза из них для других, — ему и дела нет, и он, что только с рук сойдет, все делать во всякую пору готов. А мой отец, к несчастью, один из этих людей: мне от него и так достается довольно. Чуть мало-мальски что не так, — так ворчит и сердится». Тем не менее сын не случайно рассчитывал, что будет ладить с отцом, и такой лад существовал.

Позднее, когда Белинский удивится тому, что все оказалось в руках отца, Кольцов, даже сетуя на свою непредусмотрительность, все же удивляется такому удив-

лению, и в голосе его вдруг вроде неожиданно пробивается интонация «нормального», «порядочного» сына, отпрыска патриархальной купеческой семьи: «Вы говорите в письме, что я слепо отдался людям мерзким обмануть себя. Так, это правда. Но, Виссарион Григорьевич, эти люди не хороши, но ведь они — отец, сестры. Как же мне было остерегаться отца, где я жил, от него начал действовать и вместе с ним? У кого же должно было быть тогда все в руках: у сына ль, молодого человека, или у старика-отца? Да, дела наши так были темны, что я целый год топ в них по самые уши и еще не дома, всегда на стороне: дома был гостем и был всегда отец ко мне хорош. Я думал, что он меня любит как порядочного сына, который старается дать ему и семейству лучшее значение, усилить отношение людей с хорошей стороны, увеличить честь в обществе. Ай, нет: он ласкал меня, оказалось, не ради этого, а ради того, что я у него хорошая рабочая лошадь, которая хорошо и ловко делает дела, очищает его от судебных дел. Пришло почти это все к концу, он и показал, за что он меня любил; начни я делать по-прежнему, он опять меня полюбит».

Отец хотел только, чтобы все шло по-прежнему, видимо, и в литературе тоже. Но сын не хотел по-прежнему, потому что уже сам не был прежним — и в литературе тоже. Отец терял опору, лишался, так сказать, наследника и продолжателя. Теперь ему становилось ясно: с сыном происходило что-то странное и необычное: «Он на меня смотрит как на человека подозрительного и мешающего ему действовать по произволу».

Де Пуле, опять, по сути, выражая общеворонежское понимание дела и общественное к нему отношение, писал: «Человеку с образованием и положением Кольцова было нелегко жить в необразованной семье: но подобное положение не имеет в себе ничего трагического: всегда, и прежде и после Кольцова, жили и живут вполне образованные и не с низкими стремлениями люди в таких же семьях, даже при худших условиях, например, в семьях вполне невежественных или страшно бедных: наконец, из подобного положения как чисто внешнего, всегда возможен выход. По нашему мнению, для Кольцова как для поэта-песенника трудно было бы и придумать более лучшее положение: человек вполне обеспеченный, почти богатый, единственный сын у престарелого отца, — чего же хотеть больше! Но Кольцова не понял Белинский и — сбил его с толку! Светлые черты его характера надобно

искать там, где он был самим собою — только прасолом-песенником без всяких претензий на литераторство и направление».

Действительно, положение Кольцова в качестве поэта-песенника было во многих отношениях преимущественным и, конечно, внешне и внутренне, в сравнение не шло с положением поэтов, так называемых самоучек, его предшественников (Алипанов, Суханов) или тех, кто шел за ним (даже Никитин, не говоря уже о Сурикове, Дрожжине и т. п.).

Кольцов действительно был самим собою, когда был прасолом-песенником. Но, оставаясь самим собою, он мог и должен был все больше претендовать и претендовал на «литературство» и «направление», неся в себе такие могучие задатки такого творчества, которые, только начиная пробиваться, уже означали очень многое для целой русской литературы и ощущение которых родило в нем глубокий внутренний кризис, по сути, благодатный, но оттого ничуть не менее драматический перелом.

Да, Белинский «сбил его с толку», то есть могучим образом способствовал тому, чтобы поэт покинул свою старую и, казалось бы, такую бесспорную позицию прасола-песенника и ушел вперед и выше. Гений Кольцова шел тем единственным путем, каким идет гений: познание всего, желание объять все, пусть и необъятное. А. М. Юдин вспоминает: «Для занятий своих он имел особый, небольшой флигель (это еще до переезда семьи во вновь отстроенный дом. — *Н. С.*), в котором часто запирался по целым неделям. Одна комната была его кабинетом и спальней. Здесь лежали на столах груды книг в величайшем беспорядке... Кольцов жаждал познаний, он хотел все объять. Я удивился, увидев человеческий череп, лежавший у него в углу на столе».

«Если череп, — прокомментировал когда-то это сообщение де Пуле, — не странно было бы видеть в кабинете таких литераторов, как князь Одоевский, барон Дельвиг и Жуковский, то нельзя не спросить, зачем понадобилось такое украшение скромной каморке прасола». Опять-таки то, что позволено Юпитеру (а также князю, барону)... Облик Кольцова — Фауста кажется недопустимым и непозволительным.

Летом 1842 года из Киева приехал в Воронеж В. И. Аскоченский, когда-то в семинаристской молодости знакомец Кольцова и Серебрянского. Кольцов уже был болен. «В августе 1842 года, — вспоминал позднее Аскочен-

ский, — мне привелось по делам службы быть в Воронеже. Улучив свободный час, я отправился к Кольцову, жившему тогда в доме своего отца на Дворянской улице.

— Здесь ли живет А. В. Кольцов? — спрашиваю дворника.

— Здесь.

— А где мне его найти?

— Пожалуйста сюда, они в мезонине.

Иду. Длинная, крутая, винтообразная лестница привела меня, наконец, к уютному жилью поэта. С каким-то тихим замиранием сердца брался я за ручку двери и входил в комнату, где было так много передумано и перечувствовано, где так сильно и звучно билось сердце общечеловеческой любовью.

— Здравствуйте, Алексей Васильевич.

— Здравствуйте, — сказал он удушливым сиповатым голосом. Кольцов был тогда уже в последней стадии чахотки.

— Вы меня не узнаете?

— Нет, — отвечал он.

Я сказал свою фамилию. Кольцов засуетился, усаживая меня близ столика. Он заговорил быстро, припоминая старину и особенно друга своего Серебрянского. Заметив, что это стоит ему большого труда, я просил его успокоиться и, желая отвлечь от раздражающих воспоминаний, спросил, ну что, как ваше здоровье?

— Слава богу, — отвечал он, опускаясь в изнеможении на кровать: — Теперь мне лучше, а прошлый год приходилось плохо.

— Живите, Алексей Васильевич, для нашей родной литературы. Мы и так уже несчастны, лишившись великого представителя нашей...

— Перестаньте, — перебил он, — и так уже избаловали меня эти неумеренные похвалы наших журналистов, избавьте хоть вы меня от них!

Самое незначительное противоречие могло бы привести Кольцова в болезненное раздражение, а потому я поспешил переменить речь.

— Как же вам живется?

— Хорошо, — сказал он. — Так хорошо... — прибавил Кольцов с грустной усмешкой. — Да, да, да... во мне хотят видеть мещанина, а я прошу всех, чтобы на меня смотрели как на человека... Я им даю факт... Что им за надобность — с неба ли я беру мое вдохновение или от земли.

Удушливый кашель прервал его речь. Я просил его успокоиться.

— Почетное ваше титло, — сказал я, — по которому вас знает Русь, — поэт: всего прочего она знать не хочет: и прасолу Кольцову так же радуются, как и рыбаку Ломоносову.

— Благодарю вас, — сказал он, крепко пожимая мне руку, — мне тут тяжело. Нет человека, который бы подарил меня хоть... одной свежей мыслью... Здесь пустыня... И баран — прекрасное творение божие... он дает волну (шерсть. — *Н. С.*), мясо... он полезен... но людям унижаться до барана... быть только материально полезными это... это как-то неловко. Они смотрят на меня как на потерянного человека... оттого, что я не приношу им волны и сала... бог с ними! Бог с ними.

Заметив, что и этот предмет раздражает Кольцова, я начал говорить о Киеве. С величайшим вниманием он слушал мои рассказы и несколько раз повторял: как хорошо!... как хорошо!.. Как только выздоровею, тотчас в Киев, в Киев!.. Мне стыдно... мне грех... я ни разу не поклонился его святыне... скажите, какие там учебные заведения?

Я сказал.

— Боже мой! Как вы счастливы!.. Вы учились (Аскоченский окончил после Воронежской семинарии Киевскую духовную академию. — *Н. С.*), а мне... бог не судил этого... Я так и умру... неучем...

— Зачем умирать, — сказал я с принужденной веселостью, — выздоравливайте, Алексей Васильевич, да в Киев к нам.

— Да, в Киев, в Киев! — повторил он с каким-то особенным одушевлением, — до Киева ведь ближе, чем до Петербурга?

Комната, в которой принимал меня наш покойный поэт, была очень бедна: стол, кровать, два или три стула и больше ничего. На столе лежала Библия, один том сочинений Жуковского и только в углу на стене висело небольшое распятие из слоновой кости, по сторонам я заметил миниатюрный портрет Полежаева и Пушкина в гробу».

Характерно, что даже у Аскоченского срывается с языка сравнение: Кольцов — Ломоносов. Еще в августе 1840 года Кольцов писал Белинскому: «...Прежде я таки — грешный человек! — думал о себе то и то, а теперь

кровь как угомонилась, так и осталося одно желание в душе: учиться...»

Надо сказать, что явление Кольцова и как личности, и как типа творчества явно сыграло громадную роль в понимании Белинским народности искусства и в утверждении им принципа народности. Кольцов был как бы залогом и наглядной демонстрацией живых сил народа. В то же время Белинский, видимо, склонен был только к такой народности явление Кольцова сводить, ею ограничивать. Может быть, потому, что письма Кольцова к нему были личным обращением, Белинскому трудно было взглянуть на них отвлеченным глазом и увидеть в них прозу как таковую. Критик тоже считал, что проза поэту не далась. Потому же, наверное, Белинскому трудно было рассмотреть в этих письмах задатки драматического таланта. Критик полагал лишь, что страстное желание написать либретто для оперы — «дело, к которому он едва ли был способен. Другое дело — к готовому, но голому драматическому очерку написать арии, разумеется, вроде его русских песен». Опять-таки и здесь речь идет о Кольцове только как о прасоле-песеннике. Близкий Кольцовым И. Г. Мелентьев рассказывал, что, когда Кольцов зашел к ним по последнем возвращении из Москвы, его вид, одеянье, особенно потертый картуз и шуба, изумили молодых людей.

— Алексей Васильевич! — приветливо воскликнули они. — Ну можно ли литератору ходить в таком наряде!

Какой я литератор! Я прасол, песенник», — был скромный ответ.

Вряд ли Кольцову было нечего надеть на себя. Это было какое-то посыпание соли на раны. Скорбь художника, возвращающегося в сферу, из которой он вышел, и горечь человека, загоняемого в положение, из которого он хотел выйти. «Не имея ясного понятия о науках, — писал Белинский, — он хотел учиться всему — и тому, чему бы мог и должен был учиться, и тому, чему не мог и не должен был». За этой фразой критика больше педагогического педантизма, чем ощущения эстетической пушкинской универсальности поэта и его гоголевской страстной исповедальности и готовности к иному и новому пути: потому-то у Кольцова и осталась неудовлетворенность от ответа, полученного на письмо, с которым он обратился к Боткину и Белинскому.

А ведь Кольцов пишет как раз тогда, когда, по его словам, у него произошла «перемена во всем», ему «сде-

лалось нужно броситься в другую сферу». И уже во всех письмах своих и чувствах он уходил от жизни, в которой жил. И от родных своих он, по сути, ушел раньше даже, чем они ушли от него: «Вот пришло время, и дом и родные невзлюбились, наконец» — ведь это еще написано до возвращения в Воронеж.

Тем более что отец и впрямь оказался «старинным почитателем одних призрачных правил», как писал о нем раньше и довольно благодушно сын. Теперь эти «призрачные» правила вступили в силу. Кстати, Василий Петрович не был каким-то жестоким исключением. В конце концов, он действительно был необразованным, «темным» купцом. Но ведь и «образованный» книгопродавец Кашкин, «воронежский Кулибин» и просветитель, когда придет время, тоже не отпустит учиться своего сына, которому, кстати сказать, семья обязана была всем: когда отец заболел и временно потерял зрение, на сына, почти мальчика, взвалились все заботы и обеспечение семьи. Но в столицы будущий консерваторский профессор Н. Кашкин отправится чуть ли не пешком, не получив от отца на жизнь и на учебу ни копейки.

Кольцов-сын, не получая от отца ни копейки, останется в Воронеже. Сразу же после возвращения произошло объяснение; сын совсем не собирался мириться со своим положением и уж тем более не молчал: «Дома отец принял меня холодно: после, дня через два, затеялся у нас с ним разговор, в котором я как сын и человек, высказал ему все. Но это все мне нисколько не помогло, а только усилило мою к нему ненависть; он так был в эту пору гадок, низок и пошл, что гаже его не можете представить человека... Я потерял к нему с тех пор всякое уважение».

«Отец Кольцов, — рассказывает один из близких к дому Кольцовых воронежцев, — был человек строгий и весь дом держал в строгости, но никаких бесчинств в доме у него не было. Никому в семье (то есть матери и сестрам) и на мысль не приходило, чтобы можно было перечить отцу, но Алексей Васильевич говорил ему прямо и никогда не уступал.

Всякий из них знал, что ему не сломить другого. Но об этом в семье никто не знал; не такие они были, чтобы жаловаться, не из разговорчивых... Такая же была и Анисья: все знали, что она несчастна в замужестве, а жалоб от нее никто не слыхал».

Сор не только не выносился из избы, но и в самой-то избе прятался.

«Может быть, — расскажет потом о своем брате сестра, — был у него в душе ад, да нельзя было этого знать. Станет он разговаривать с нами, жаловаться — не в его это было характере. Он, может, и открывал это только своим задушевным друзьям, которые могли понимать его и были из другого круга».

Кольцов действительно никому не жаловался, и письма Белинскому стали, по сути, единственной отдушиной.

Сын, как и отец, был человеком характера крутого и по возвращении многого добился: главное, уплаты долгов по вексельным обязательствам, которые его юридически могли сковать, и прекращения торговли скотом: «...с отцом моим я пока кончил вот так: жить в Воронеже все лето (письмо пишется в конце марта. — *Н. С.*), заниматься делом, начать новую стройку в доме, привести дом в такое положение, чтобы он платил доходу до семи тысяч рублей, из них он согласен давать мне в год тысячу рублей и меня отпускает на все на четыре; иначе с ним делать нечего. Деньги вексельные согласился заплатить; они меня мучили более всего. Торговать скотом не хочет — это хорошо. Других условий сделать я с ним не мог, да и нельзя: все у него в руках, а у меня по справке оказался — шиш, хорошо бы, если б сдержал хоть это слово; он такой человек, что ему переменить его ничего не значит. Горе, если он меня снова подсечет. Хотел с ним ссориться больше, но, ей-богу, как-то я для подобных ссор не способен, самому перед собой как-то неловко и не хочется во мнении людей себя уронить, хоть оно ничего почти не значит, а все дурно: уж что принято, заведено — то надобно поддерживать. Лучше, чем свою же постройку самому же и ломать. Да и что я с ним сделать мог лучшего? Дом записан за матерью, а кроме него, у нас почти ничего нет».

Правда, в другом письме этого же времени к Белинскому же Кольцов сообщает, что есть около двадцати тысяч, кроме дома.

А дом этот выделялся в Воронеже и останавливал внимание даже и через десятки лет. «Фамилия Кольцовых, — сообщалось в статье 1861 года, напечатанной, правда, уже в 80-е годы в «Воронежском юбилейном сборнике» в память трехсотлетия города Воронежа, — считалась богатой купеческой фамилией, в настоящее время дом Кольцовых, находящийся на главной улице го-

рода, Дворянской, и принадлежащий сестре покойного поэта г-же Андроновой, принадлежит к числу лучших зданий Воронежа, не бедного хорошей каменной постройкой».

Богатый и многолюдный Воронеж действительно был не беден такой постройкой и в свое время поражал воображение многих. В июле 1833 года Никанор Белинский пишет брату в Москву: «Воронеж довольно большой и красиво выстроенный город, весь мощеный. Московская улица очень долга, красива, чиста и широка. Когда мы проезжали через оную, то удивлены были огромными казенными и частными каменными строениями, а особливо замечателен из оных дом семинарии, который вдвое больше пензенской».

Дом Кольцовых был очень большим, доходным домом, в котором ко времени возвращения поэта первый этаж арендовали магазины, а половину второго этажа — женский пансион гимназического учителя немца Фламма; в десяти комнатах другой половины размещалась семья хозяев дома Кольцовых, третьим этажом был мезонин, выстроенный по вкусу поэта. Сам Кольцов и поселился в нем. «Живу теперь, однако, — сообщает он Белинскому, — очень порядочно, занимаю в третьем этаже на мезонине четыре комнаты: две маленькие, небольшую прихожую, приемную, другую гостиную и четвертую кабинет: комнаты без мебели, но свежие и чистые. Получил позволенье нанять мальчика, — и будь денег малую толику, то жить можно по-христиански. Один, свободен, никем не связан, делами торговли занимаюсь мало; много время свободного, хоть его и трачу черт знает как глупо и праздно: но этому я сам виноват, а не кто другой. Что делать? <...> Почему-то жаль, что уходит время, и рад, что ничего не делаю».

Внутреннее кризисное состояние распутья на рубеже десятилетий рождало ощущение горечи, неприкаянности и бесперспективности: «Я, кажется, собой одно выполню во всей точности: ворону... И, ей-богу, я ужасно похож на нее, остается лишь сказать: она к павам не попала, а от ворон отстала...»

Воронеж заставлял жить по-старому, а по-старому жить было уже Кольцову нельзя — ни внешне, ни внутренне, ни социально, ни творчески, ни в Воронеже, ни в Петербурге. Вот почему на замечания Белинского, сколь много дали Кольцову занятия литературой и куда эти занятия отворили ему двери, Кольцов отвечал слова-

ми, полными достоинства и проникнутыми сознанием трагизма: «У меня на поверке, на расчете строгом с самим собой выходит все иначе. Если литература дала мне что-нибудь, то именно вот что: я видел Пушкина, жил долго с Серебрянским, видел Станкевича, много захватил добра от вас и полюбил вас... и много, очень много: не то теперь, что был, не тем буду, чем бы должен быть. Смотрю кое на что иначе, чем другие, понимаю вещи, как понимают их не все. Между своими братьями я чучело, но чучело другого рода: смешон, но только между ними. Конечно, это богатство — великое богатство. Я все это знаю. Но, Виссарион Григорьевич, я человек, а у человека желаньям нет конца, они вечно неисполнимы... кому люди помогли вполовину, тот уже по закону необходимости ждет больше, и его жажду напитать ничем нельзя».

«Закон необходимости», «вполовину» напитавший и все же оставивший голодным, работал в Кольцове.

В житейских же делах кольцовской семьи, в отношениях поэта с отцом, в денежных счетах кое-что объясняет одна история. История на первый взгляд тоже вроде бы житейская. Если бы речь шла не о поэте. Такого состояния не испытывалось много лет. Почти с того самого времени, когда батенька отправил на Дон Дуняшу. Старая и, казалось, забытая история всплыла снова, обострила новое столкновение с отцом, да разве только с отцом — с целым миром отношений, которые отец представительствовал. И тогда была мучительная болезнь, горячка, чуть не закончившаяся смертью. И тогда душевные терзания обернулись тяжким физическим недугом: «Помню, была у меня подобная болезнь во время оно, назад тому десять лет, когда я в первый раз полюбил и бешено и безумно, и кончил историю плохо для нее и в тысячу раз хуже для себя».

Это многое объясняет в последнем увлечении Кольцова. Когда-то история с женщиной определила потрясение и тяжкий кризис, из которого Кольцов выходил поэтом, теперь история с женщиной выводила из кризиса или, точнее, ослабила течение этого кризиса. «Может быть, я бы еще и теперь был в том же состоянии, но нечаянно мне помогла из него выйти одна женщина; об ней я к вам уж писал; я думаю, это письмо уже получили. Я ей много обязан, она встретилась со мной именно в ту пору, когда была она всего нужней».

Когда-то Пушкин, создавая знаменитое свое стихотво-

рение «Я помню чудное мгновенье», определил подобное состояние в развитии духа. Увы, это произведение часто лишь проецируют на отношения поэта с Анной Петровной Керн и даже к ним сводят. А ведь дополнительно прославленное знаменитым романсом и в нашем сознании невольно к романсу сведенное, оно совсем не стихи «по поводу», не посвященный красивой соседке мадригал. В стихах Пушкина есть обращение к бесконечности, «К ***», образ, родившийся в круге ассоциаций, навеянных Рафаэлевой Мадонной, никогда Пушкиным не виденной, но угаданной. Недаром Белинский, передавая свое впечатление от Сикстинской мадонны, писал: «Я невольно вспомнил Пушкина; то же благородство, та же грация выражения, при той же верности и строгости очертаний. Недаром Пушкин так любил Рафаэля: он родня ему по натуре».

В письмах Пушкина, да и в шутливых альбомных стихах запечатлен облик реальной Анны Петровны Керн, какой она явилась поэту.

В стихах Пушкина «К***» создан образ ее, родственный Сикстинской мадонне.

Однако и в стихотворении образ *ее* важен не только сам по себе, но еще больше как момент в развитии *его* духа.

Душе настало пробужденье,
И вот опять явилась ты.

Подлинно «явилась», говоря кольцовскими словами, в ту пору, когда была она «всего нужней».

Нечто подобное в смысле действия общего закона происходит с поэтом Кольцовым. Только происходит все в момент не взлета, а кризиса. Но тоже связано с внутренним развитием духовной жизни. И, наконец, в творчестве Кольцова — в его письмах — тоже возникает как бы раздвоенный женский образ: один высокий, литературный, поэтический, даже, пожалуй, песенный, и другой — гораздо более земной и реальный.

«...В Москве (не в Воронеже. — *Н. С.*) я жил последнее время дурно, грустно, гадко; какая-то дрянь убивала мою душу. Ну а в Воронеже? Это другое дело, о Воронеже после... Этот бездушный городишко прислужился мне вдруг чертовски, и он теперь имеет уж для меня другое значение...

В Воронеже у меня была одна знакомая женщина, знакомая давно; и я ее любил, но молча, но так, как

любим мы душою милые создания. Ухаживал за нею года два «безмолвно, безнадежно». Я ей из Москвы и из Питера писал много писем: в ответ ни полстроки. Приезжаю домой, являюсь к ней — и словом: «мы с ней сошлись».

Женщина эта — Варвара Григорьевна, урожденная Огаркова, в замужестве Лебедева, младшая сестра той самой Елизаветы Григорьевны Огарковой, которой когда-то, почти полтора десятка лет назад, молодой Кольцов посвящал свои первые стихи.

Овдовев, Варвара Григорьевна вела жизнь вольную, сходясь с разными состоятельными людьми, обеспечивавшими ее существование. Кольцов в том новом кризисном состоянии внутренних и внешних разрывов с настоящим, отпадения от прошлого неясности и неопределенности будущего, то есть своеобразной свободы, как никогда, наверное, был готов к подобной встрече и к тому, чтобы отдаться страсти полностью, до конца, ни о чем не думая и ни на кого не оглядываясь. «Натура Кольцова, — писал Белинский, — была не только сильна, но и нежна; он не вдруг привязывался к людям, сходился с ними недоверчиво, сближался медленно, но когда уж отдавался им, то отдавался весь». Может быть, именно потому, что и Варварой Лебедевой Кольцов сумел не просто увлечься, но сумел и ее хотя бы просто увлечь («и что больше — она меня немножко любит»): ведь «содержания» ее он обеспечивать не мог.

«Всю мою жизнь я не жил такою жизнью: ни дня, ни минуты: а если и жил, то когда-то давно, в огне первой юности, и то, может быть, жил тогда так, потому что сама кровь была кипятком. Теперь и эта полуостывшая холодная кровь закипела бывшим огнем, но пламенней, но этот огонь продолжительней. Этому наслаждению конца нет; я весь утонул в блаженстве до самозабвения, до исступления. Она в одну минуту сделала из меня другого человека, и я уже не на шутку боюсь за себя. Теперь буду писать вам чаще, — сообщает он Белинскому, — есть о чем писать. Порадуйтесь моей радости: на томительном полдне моей жизни засветила, наконец, звезда блаженства. О другом я писать теперь ничего не могу».

В письме Белинскому Кольцов нарисовал свою героиню: «Надо вам знать сначала, что это за женщина: чудо! С меня ростом, брюнетка, стройна до невероятности, хороша чертовски, умна, образована порядочно, много читала, думала, страдала, кипела в страстях. Голубые боль-

шие глаза, черные брови, тело — мрамор, темно-русые волосы, коса — шелк, дивная коса, ножки лучшей нет в Воронеже».

Все это не столько конкретный портрет реального человека (хотя Варвара, как и ее старшая сестра Елизавета, действительно была замечательно красива), сколько идеальный образ, обобщенный тип женской красоты, место которому скорее не в письме, а в песне или в романсе: «черные брови», «тело — мрамор», «коса — шелк», «кипела в страстях». Белинский в позднейшей своей статье подхватил именно эту характеристику: «На беду эта женщина была совершенно по нем — красавица, умна, образованна, и ее организация вполне соответствовала его кипучей огненной натуре».

Вряд ли эта женщина была совершенно «по нем», по Кольцову, и сам поэт внесет такие коррективы, которые гораздо точнее определят отношения и еще раз подтвердят его проницательность и то, что дело-то все в нем, в его состоянии, в его развитии, а она лишь явилась «в нужный момент»: «Кажется, я от этой женщины скоро не откажусь: сам я этого ни за что на свете не сделаю, — скорей готов погибнуть, чем оставить ее, — разве она развяжет этот узел. Не знаю, сумею ли я *отвечать долго;* ее фантазия слишком капризна и прихотлива: каждый день ей нужна пища — увлекай ее фантазию: она ребенок, не увлекай — прощай. Ей нужна вседневная пища, она вся живет в идеальном мире. Вещественность для нее вещь ничтожная; она на вещи смотрит сквозь призму своих фантазий; куда желания влекут, туда она и следует: к погибели ль — ничего. Но у ней в натуре не лежит глубокое чувство: она все понимает, но понимает одну цветистую внешность».

«Но будь, что будет, — писал поэт, — по крайней мере, я ей обязан в настоящую пору весьма многим; она возродила меня снова к жизни, и я теперь начал жить лучше». Но слишком многое свалилось сразу: «...нужно же сойтиться всему в одно время: подлость отца, моя ошибка, погибший десятилетний труд, безденежье — и в них крайняя необходимость — и я упал. Дух изменил, натура распалась, обессилела, в ней давно, может быть, и приготовлялось это распадение, и оно еще бы скрывалось до времени и, открывшись, разом положило б меня наповал, да и то чуть не положило. Но ее посторонний толчок обнаружил и пробудил до времени».

По возвращении в Воронеж, болезнь, может быть, до

поры до времени скрытая, начала проявляться явственно. В письмах Кольцов пишет о разнообразных и сейчас, наверное, даже медику мало говорящих, во всяком случае, странно выглядящих симптомах (вроде «желудочного кашля» и т. д.). Итоговое посмертное заключение — чахотка. Но недугов свалилось много и сразу, действительно, как часто говорит Кольцов, случилось «распадение во всем организме».

Отношения с Лебедевой дополнительно осложняли отношения в собственной семье, прежде всего с отцом: «...Конечно, об этом дошли слухи и до отца. Подобное мое поведение ему не понравилось. Я всегда в глазах его и целого города слыл святошей, и вдруг он увидал во мне человека распутного».

Прежде всего отец попытался «остепенить» сына, то есть женить и тем надежно привязать к Воронежу и к делу. Такие попытки делались раньше. Была предпринята и очередная. Неудавшаяся. Кажется, объединенными усилиями и родителей присмотренной Василием Петровичем невесты, и самого сына, что поселило в отце дополнительное раздражение. Отношения же с Лебедевой, видимо, давали и новый повод держать сына в жесткой финансовой узде. Весной Лебедева уехала из Воронежа: «Ужасно горько было мне провожать ее: она поехала к помещику в компаньонки, а все из того, что у меня денег нет ни гроша; будь в год пятьсот рублей — и она б жила в Воронеже, сколько мне было б угодно. Она права, что уехала: чем же ей было жить? Не воздухом же питаться. Здесь я вполне почувствовал свое нищенство».

Конечно, отец был настороженн, так как вряд ли бы дело с Лебедевой и содержание ее ограничилось годовыми пятьюстами рублями. Кольцов был человек, который мог идти в увлечении своем до предела и за пределы. Белинский, хорошо его знавший, а главное, хорошо ощущавший его характер, видимо, пытался выступить с чем-то вроде урезонивания, причем сам оговорил этот совсем уж для него вроде необычный тон. «Вы говорите, — отвечает Кольцов, — что вы пишете ко мне слишком резонабельно, думаете, как чиновник восьмого класса, философствуете пошло. Вы говорите, — успокаивает Кольцов, — не резонабельно, солидно, серьезно, и я с вами во всем совершенно согласен...» Но из этого логического согласия, здравого смысла, резоны которого Кольцов вполне понимает, еще ничего не следует: «Будь у меня деньги, конечно, с этой женщиной наделал бы я пустяков и

прожился бы весь. И это должно бы быть непременно и было бы».

Между тем со здоровьем становилось все хуже. «За шесть месяцев чуть ли не три раза, — сообщает Кольцов, — был на грани смерти». И может быть, только искусство врача удержало на этой грани. «Мой лекарь», «умный мой лекарь», постоянно пишет Кольцов, «...он такой человек, что ему не верить нельзя».

С лекарем Кольцову повезло. Иван Андреевич Малышев был врачом, известным не только по Воронежу. Природа дала ему редкий талант врачевания, а жизнь сложила незаурядный человеческий характер. Ибо ученику духовного училища, чтобы стать врачом, нужно было биться и выбиваться.

А рязанским дьячком — его отцом — руководили и высокие идейные мотивы, ибо «человеку из духовного звания не подобает резать мертвых». Сын ушел пешком без отцовской копейки в поддержку, стал казеннокоштным студентом Медицинской академии, служил после ее окончания на флоте, был уездным лекарем в разных городах Тверской и Воронежской губерний, а с 1831 года поселился в Воронеже. Лечиться к нему приезжали и из других губерний. Особенно успешно Малышев лечил, как говорили раньше, «каменную» и катаракту.

«Я, — писал сам Малышев, — прочитал в одном медицинском журнале, что в Америке знаменитый профессор Дудлей, производивший операции каменной болезни при Университетской богатой научной обстановке, из 153 им произведенных операций... потерял только четырех больных». Малышев при 128 таких операций потерял пять человек... «Занимаясь не в клинике, как профессор, а как провинциальный русский врач, я делал операции в хижинах, без средств не только к лечению, но и к содержанию, я приготовлял моих бедных больных к операции голодом». «Дешевым способом», — добавляет не без горького юмора Малышев. Вообще ему, видимо, всегда служили юмор, ирония — не цинические, но резкие, так сказать, базаровские, идущие от трезвого взгляда на дело у медика.

В октябре 1841 года Кольцов пишет Малышеву записку. Очевидно, одну из многих, по которой видна степень доверительности, которую питали друг к другу врач и пациент, и то, каков был врач Малышев для Воронежа, и еще одно обстоятельство: о нем чуть позднее. Речь идет о родственнике Кольцова, купце Полосине: «Добрый и

любезный Иван Андреевич! Я услышал, что у вас был батенька и П-н, старик, сегодня по утру гости не в пору и едва ли по нутру. Не подумайте ж, ради бога, что я их к вам снарядил. Правда, месяц назад я говорил Полосиным обратиться к вам в ту пору, они заняться этим почитали ненужным, лечили больного сами и немец и залечили до того, что он теперь так плох, что, кажется, и сверхъестественная помочь уже не в помочь. Вчера была у них моя мать по долгу родства: больной спросил, что я, каков? Мать сказала: здоровеет, поправляется слава богу! Он так взбесился, что начал кричать, метаться, бить в грудь, просить жену, отца — достать денег. К Малышеву, скорее за Малышевым! Давайте денег! Просить хватился, голубчик, да поздно! Прежде бы не жалеть денег!»

Родственники купца недаром вопили: «Достать денег! Скорее за Малышевым! Давайте денег». Малышев был не только выдающимся врачом, но и человеком необычным. Особенно на провинциальном воронежском фоне: очень честным, очень прямым и очень резким. Необычен он был и в своей врачебной практике, в ее житейской стороне. Малышев безвозмездно лечил разный неимущий люд, но уж с богатых драл действительно беспощадные гонорары. Наверное, многим из воронежцев он должен был казаться чем-то вроде благородного разбойника, защитника бедняков и грабителя богачей. Во всяком случае, легенды ходили и о том и о другом. Как легендарную личность провожать Малышева в могилу в 1851 году выйдет весь Воронеж.

Менее известна была Воронежу литературно-научная, медицинская работа Малышева, автора серьезных публикаций в специальных журналах. И уж тем более его собственно литературные пристрастия. Литературные советы Малышева стоили иной раз его медицинских рекомендаций. «Стыдно, — пишет врачу Малышеву поэт Кольцов, — а надобно сознаться, что в том четверостишии, которое у вас, — и вы заметили, — стих-то в самом деле неверен: в четверостишии — ошибка! Хороши же мы! Теперь вот как:

И сожаленьем и слезой,
Прощаясь, прах его почтили».

По совету Малышева в мае 1841 года после резкого ухудшения здоровья Кольцов уехал из Воронежа: «Лекарь мой увидел, что худо, послал меня на реку Дон купаться.

Я тотчас отправился за двенадцать верст от города к родственнику на дачу и купался два месяца с половиной; купаться еще не кончил, но уж вода шибко холодна. Поправлюсь? Выздоровею ли? — бог знает».

Эти два с половиной месяца Кольцов жил у «родственника», свояка, мужа покойной сестры Марии Башкирцева на его громадной даче. «Я только теперь и хлопочу об одной жизни. Придумываю, что бы к обеду вместе сделать по вкусу, пройду в кухню, так ли делают; пью траву, купаюсь, ем, сплю, хожу, лежу, ни о чем не думая, кроме пищи и жизни. Вот так прошло у меня лето».

Возможно, благотворно подействовали отдых, покой, строгий режим: «Я оставил дела торговли, все занятия, оставил чтение, принудил себя ни о чем не мыслить, сказал: писем мне не отдавать, и даже перестал грезить о Петербурге». «Из человека я сделался идиот», — прокомментировал Кольцов такой строгий режим. Тем не менее здоровье начало понемногу поправляться, и домой к осени он вернулся, чувствуя себя значительно лучше. Об этом он писал Белинскому: «...в самом деле я стал чувствовать, что мне лучше: и силы снова стали показываться в теле, и состояние моего духа начало приходить в прежнее положение. Что-то дальше, а то уж я октябрьто стал кое-что почитывать: что было вчерне написано весной, поправил, кое-что поправил из старых пьесок, с пяток написал вновь. Это меня обрадовало чертовски». И в октябре же в письме Малышеву: «Мое здоровье поправляется, видимо, лучшеет, несмотря на дурное время. Это меня радует: пью, ем, сплю хорошо, порою бываю дома очень весел».

Впрочем, весело было не слишком долго. Уже в декабре Кольцов снова пишет о домашних «неприятностях» и «досадах». А связаны они оказались с человеком, долгое время бывшим для Кольцова одним из самых дорогих, с сестрой Анисьей.

По общим свидетельствам Анисья в семье Кольцовых выделялась многими качествами, и, может быть, прежде всего артистизмом. Потому-то она всегда, а особенно с возрастом, была близка брату. К тому же Анисья оказалась очень музыкальна и, видимо, чутко ощущала музыкальную стихию в его песнях. Воронежский учитель и пианист С. Н. Нагаев рассказывал: «По просьбе Анисьи Васильевны я написал музыку для «Хуторка», когда эта песня только что была сочинена и ходила еще в рукописях между любителями стихов. Эта песенка имела гро-

мадный успех: ее пела в первый раз с аккомпанементом сама Анисья Васильевна на вечере у Башкирцевых. На вечере этом присутствовал и поэт, и ему громко аплодировали, как автору романсов». Была Анисья Кольцова чтицей и особенно любила и хорошо, говорят, читала стихи Пушкина. Чтения эти обычно совершались в семье другой сестры — Анны, в замужестве Золотаревой. Золотаревы жили отдельно от Кольцовых, но и как бы при них, в доме на кольцовском лесном дворе. Со слов многих де Пуле свидетельствовал: «Общая молва, необыкновенно благосклонная к Анисье, приписывает ей даже некоторую поэтическую производительность, способность импровизировать стихи. Несомненно одно, что Анисья принимала живое участие в литературных работах брата, вела с ним по поводу их горячие споры и нередко имела решительное влияние на их окончательную отделку. «Как, Анисочка, по-твоему?» — «А вот так-то, Алешенька», — или — «Это словечко у тебя не так, Алешенька, не хорошо» — вот слова, которые приходилось родным беспрестанно слышать в беседе брата и сестры». А сестра Александра даже утверждала, что поэт вообще не писывал ни единого слова без младшей сестры: «Бывало, прочтет, а она скажет: «Вот это хорошо, а это все тяжело, не годится». И начнут спорить. Спорят долго, долго — да горячо так, и Алеша сделает по ее». В общем, по словам мужа уже другой сестры, Анны, В. И. Золотарева: «Она всегда ему делала экзамены насчет стихов».

Единственное сохранившееся из многих написанных письмо Кольцова к Анисье ясно свидетельствует о том, как сходились брат с сестрой на литературной почве, о чем они могли спорить, в чем соглашаться. Очевидно, в какую-то пору поэт и творчески не был в семье так уж одинок и даже по отъезде сохранял «творческие» контакты с Анисьей. «В письме ты, наконец, мне уж много слишком льстишь, насказавши так много похвал, а не написала, поняли ли думу «Лес». Прочти в 11 нумере «Отечественных записок», в отделении наук, статью о четырех драмах Шекспира — там увидишь в ней, что значит нравственный долг человека».

Из письма видно, что Кольцов делится с сестрой и интимными чувствами, продолжая разговор о какой-то им обоим известной истории с Варварой Лебедевой. Наконец, поэт даже позволяет себе с сестрой немного, так сказать, семейно «посплетничать»: «Фамусов выдает свою Софью Павловну за «Пряника» — час добрый, пора костям на

место. Славная парочка: гора со спичкой, бочка с иголкой, масло с водой... А как ни смешно, но мне все-таки Тимофеева жаль: он добрый человек, как бы она его не завербовала. Но судьба решила — с богом; они обои не малолетки и вещи уже понимают хорошо». Речь идет о Башкирцеве, выдавшем свою дочь, а значит, племянницу Кольцова, Веру Ивановну, за чиновника Тимофеева, человека довольно образованного (он окончил Харьковский университет), но небогатого. Вероятно, брак по каким-то причинам выглядел неравным.

Вера Ивановна всегда была близка Кольцовым, прежде всего Анисье, к тому же «племянница» была старше своей «тетки» и уже поэтому оказывалась для нее скорее сестрой. Были и общие музицирования, и занятия французским. Вообще Кольцов много хлопотал и о том и о другом, нанимая учителей, приобретая ноты и книги, стремясь образовать сестру духовно, делясь и здесь сокровенным и вызывая отклик. Все это подтверждается со слов поэта и в статье Белинского: «Кольцов видел в сестре много хорошего, уважал ее вкус и часто советовался с нею насчет его стихотворений, словом, делился с нею своею внутренней жизнью».

То, что поэт делился с младшей сестрой своей «внутренней жизнью», вполне подтверждается и упомянутым письмом-ответом поэта к ней, написанным в январе 1841 года, как раз перед последним его возвращением в Воронеж: «Милая сестра моя, Анисья Васильевна! Благодарю тебя душевно за письмо, оно так полно души и чувства, любви и искренности, что я прочел его несколько раз. Такие письма не всегда у нас выходят из души. Это была у тебя прекрасная минута, в которую жила жизнь чудесная — непостижимая тайна души человеческой. В ней в одной сколько жизни, сколько сторон различных, сколько углов и тайников добрых и злых. Порою именно святая благодать неба осеняет ее и веет упоительно на все такою магическою силою, и в ту пору, к чему она прикасается, все освещает своим божественным светом, самую ледяную душу согревает теплотою своего чувства, и все помыслы исчезают, как дым от лица огня. Но бывает другая пора, пора тяжелая, полная грязных мыслей и грустных дум и замирающей тоски; и весь свет нам кажется печален и мрачен, и злой дух невидимо преследует нас и шепчет нам какие-то страшные речи, и силою тянет нас на грех, на зло, на муку и на гибель. И если в чьей груди не лежит нравственного сознания о самом себе —

беда. Он в одну минуту погубит нас навсегда, и уж никогда из-под его влияния не освободится человек; каждую минуту он из одной крайности начнет иттить в другую, пока бездна погибели не поглотит его доброго имени и его существования».

Под пером Кольцова вроде бы чисто бытовое письмо вырастает в речь, поднимающуюся до высокой патетики, и в то же время по-народному оригинальную: чего стоят эти «святая благодать неба», «исчезают, как дым от лица огня», «...пока бездна погибели не поглотит» и т. д. Письмо это — и психологический этюд, и философское эссе, и стихотворение в прозе.

Оказалось оно и горьким предчувствием, и мрачным пророчеством.

Стремительно приближалась «пора тяжелая, полная грязных мыслей, грустных дум и замирающей тоски». Охлаждение отношений с сестрой произошло уже вскоре после возвращения Кольцова в Воронеж. Ведь, с одной стороны, изменился он, с другой — менялась она. «Сестра, — пишет Кольцов Белинскому уже в марте 1841 года, — я любил ее прежде, но она как-то переменилась, и я понимаю ее положение: она купается в родном болоте и должна в нем утонуть; и все, что я пробудил в ней, по необходимости должно снова засохнуть. Женщины — цветочки; поливай их роса и дождь — они цветут, а грей одно солнце — засохнут».

Как же переменилась сестра? История обычная, хотя и драматическая. В июле того же сорок первого года Кольцов так писал об этой перемене: «Сестра девушка была очень порядочная, и много в ней было прекрасного, грациозного, святого: она кое-как почти выучилась по-французски, играть на фортепьянах, порядочно пела, жила со мною братски. Приезжаю, — она уже не та милая девушка, что была, а девушка мещанка стала. Фортепьяны брошены, французский язык забыт, пение затихло. Вместо этого она начала плесть кружева, вышивать шерстью: и она ужасно не рада моему приезду: думала, решительно я остаюсь в Питере; тогда бы она одна осталась — и дом был бы за ней — подлость, которую я не ожидал. Это все вместе меня бесило, мучило. В эту пору встречается эта женщина, о которой я вам писал» (то есть Варвара Лебедева. — *Н. С.*)...

Взаимное ожесточение в отношениях с сестрой нарастало и, видимо, было во многом взаимно несправедливым. Предшествовавшие откровенные разговоры уже способ-

ствовали не пониманию, а отчуждению. Сама большая степень бывшей близости определила силу отталкивания. Самый дорогой человек именно поэтому становился самым ненавистным. Брат подозревал сестру в том, что она хочет его «сплавить» и остаться хозяйкой всего. Сестра боялась, что брат рассчитывает обобрать семью (отношения с Лебедевой, конечно же, подогревали эти опасения) и уехать: ведь он ее одну посвящал в планы возможного отъезда в Петербург навсегда. Отношения с сестрой, бывшие с момента возвращения Кольцова домой в 1841 году прохладными, к осени взорвались.

К несчастью, Анисья влюбилась и собиралась выйти замуж. Проницательность Кольцова и здесь его не подвела. Вот как увековечен в письме Кольцова Белинскому воронежский мещанин Василий Григорьевич Семенов: «Ее будущий муж — малый молодой, красивый и статный довольно собой мужчина, мещанин, без всякого образования, без всяких благородных качеств и, кажется, с алтынной и скверной душой. По крайней мере в минуту радости у него хриповатым густым басом разрывается голос, не похожий на человеческий, а в обыкновенном разговоре голос порядочный. И что-то, всматриваясь в лицо его глубже, видишь под красивой личинкой молодости какую-то невообразимо гадкую образину. Я замечал в людях очень часто, как лет в двадцать личико оживлено жизнью довольно приятно, а в тридцать из этого личика выходит сущий урод. Как бы хорошо лицо ни было, но если натура у человека не хороша от природы, то, всматриваясь хорошенько, где-нибудь, но уж непременно отыщешь часто едва заметную черту гадости, и эта гадость со временем обхватит всего человека, без его ведома, как его натуральная идея, и он стоит уже век на этом пьедестале».

Спрашивается, много ли нужно менять в таком письме для того, чтобы образ, в нем созданный, и авторский комментарий к нему могли занять место в «Мертвых душах», тогда еще не опубликованных?

«Если я ошибаюсь, — заключает Кольцов, — дай бог». Нет, он не ошибся. Анисья окажется несчастна в замужестве и умрет в чахотке, на пять лет пережив брата и будучи моложе его на девять.

Насколько дружно все говорят об Анисье как о замечательной девушке, настолько же дружно все хают Семенова. Краткая резюмирующая характеристика в устах его свояка Золотарева — «мерзавец».

Позднее Семенов пустит на оберточную бумагу часть архива поэта, навсегда погребя многие и «образы» и комментарии — и Белинского, и Одоевского, и самого Кольцова.

...Тяжело встречал поэт новый, 1842 год, совсем не так, как 1841-й. 1 января в полночь писались стихи:

Прожитый год, тебя я встретил шумно.
В кругу знакомых и друзей;
Широко, вольно и безумно,
При звуках бешеных речей.

Это — о встрече 1841 года у Боткина:

Тогда, забывшись на мгновенье,
Вперед всяк дерзостно глядел,
Своих страстей невольное стремленье
Истолковать пророчески хотел.

А вот о той же новогодней встрече письмо: не только гоголевское бытописание, но, пожалуй, уже и чеховская миниатюра. «Накануне нового года Василий Петрович придумал дать вечер — встретить Новый год и день его ангела. Людей собралось к нему довольно. Вот вам полный реестр: Грановский, Крылов, Крюков, Кетчер, Красов, Клюшников, Щепкин, Боткин, Сатин, Клыков, Лангер, Иван Иванович, Иван Петрович и я грешный. И как ударило двенадцать часов, так за стол — и пошло писать: начали есть, пить и кое-кто перепились мертвецки. Ужин был богатым, вина чудесные: рейнвейн, портвейн, шампанское лилось рекою, и старая мадера Красова сбила с ног... Пировали до шести часов утра, а кой-кто начали пение и ударились в пляс, и, знаете, эдак некрасиво, но весьма усердно».

Одно в своих стихах поэт истолковал пророчески, глядя во «тьму» нового года:

Что в ней таится для меня?
Ужели новые страданья?
Ужель безвременно из мира выйду я,
Не совершив и задушевного желанья?

В 1842 году его действительно ждали «новые страданья», и «задушевных желаний» он не совершит.

В начале года жизнь Кольцова тяжело обложил быт. Осенью и зимой 1841/42 года в доме готовились к свадьбе. Все это время было порой тяжких семейных столкновений и объяснений. Опять-таки вмешались

и деньги. Кольцова, всегда бывшего в доме наряду с отцом хозяином, уязвляло, конечно, и то, что он был от дел отстранен. Но он и сам стал от них отстраняться: «Сестру отец помолвил: на святках сговор, а там и свадьба; только наверное не знаю, когда, еще не решено: после ль Нового года или на красную горку. Здесь отец, а паче сестра сделали со мной удивительную подлость. Отец не пригласил меня и на совет (чему я был очень рад): кроме того, дает за ней деньгами три тысячи рублей. Я ему стал говорить, что обошлось бы без этого, а давать деньги — их у нас нет — долгов много, а платить нечем. Он мне на это: «Я выдаю дочь последнюю и дам за ней последнее, что есть. А нечем будет долгов платить, продам дом. Я стар, мне жить немного, а об тебе я и не думаю — ты голова у меня. После этой свадьбы женись сам, корми меня, мать: а не женишься — прогоню со двора». Взорвало меня страшно. Особенно теперь моя натура еще сильно расстроена; чуть что, я не выдерживаю, взбешусь, как черт, в минуту».

Сестра, конечно, была раздражена тем, что брат пытался отказать в деньгах. И может быть еще больше тем, что он отказался помогать в делах. Впрочем, он и сам об этом иногда почти жалеет: «Теперь я живу спокойно, свадьбой не занимаюсь... Мать очень уважаю, с отцом веду себя прилично и хладнокровно: с замужними сестрами схожусь редко, как чужой; с последнею (то есть с Анисьей. — *Н. С.*) ничего не говорю, кроме вещей необходимых — ничем ей не мешаю. С женихом и прочими по силе вежлив, выдерживаю тон, будто у нас между собой ничего нет. И эдак идет уж с месяц.

Дело свадьбы — как теперь зависит от одного старика, а он стар и в этих делах большой невежда, — поэтому идет дурно: и в ней заметно началось страдание, и мне ее стало очень жаль. Уж я начинаю бранить себя, что я принял их подлости горячо, жалею, что и не вмешался в это дело сначала и не помогаю ей в самую трудную ее пору жизни».

Через некоторое время и у него настала особенно «трудная пора жизни». Осложнилась болезнь. Пало это осложнение на самый пик в подготовке и проведении свадьбы. А такая подготовка занимала не дни и даже не недели. Хорошо знавший нравы и установления провинциальной среды современник писал: «Надобно знать обычаи прежнего времени при подобных обстоятельствах вообще, а особенно в богатых мещанских семьях, чтобы

иметь представление о том, что происходило в доме Кольцовых. Еще до свадьбы приготовление приданого, продолжавшееся долгое время, ежедневно привлекало в дом толпы гостей, — именно девиц и женщин; затем девичник, свадьба и «игры». Последние два акта не один дом Кольцова перевертывали, как говорится, вверх дном. Дом чистился, холился, готовился к праздничному торжеству; наступал праздник, собирались гости и поднимался шум и гам, начинались танцы, пляски, пели песни, пили и поили вином всех и каждого. Поили чуть не насильно, «за здоровье молодых».

Для больного Кольцова все это было мучительно. «Завязалась свадьба, все начало ходить, бегать через мою комнату (то есть мимо комнаты, в которую переехал Кольцов из мезонина. — *Н. С.*), полы моют то и дело, а сырость для меня убийственна. Трубки благовония курят каждый день». Внимания ему уделялось мало, не говоря уже о прислуге, даже людьми, в основном о нем заботившимися, а именно матерью и старой преданной няней Верой Мироновной («не надышалась на него», — скажет сестра). Так что такие заботы, вплоть до присылки лекарств, супа и т. п., иной раз брал на себя Иван Андреевич Малышев. («Лекарь мой, несмотря на то, что я ему мало очень платил, приезжал три раза в день».) Особенно тяжело было, когда во время девичника Кольцов простудился. «Делали без всякого стыда все мне назло — до того, что однажды, когда меня жар убийственно томил, они в другой комнате положили девушку, накрыли ее простыней и начали отпевать покойника. Это, по их, называлась шутка!!!» Так Кольцов сообщает Белинскому. В другом письме, Боткину, об этом же времени он пишет: «Я начал злиться и даже, стыдно сказать, сплетничать».

Дело в том, что все совершавшееся в доме, то есть раздоры, по купеческо-мещанскому обычаю было шито-крыто. И Кольцов своим вызовом — «сплетней» решился на вещь необычную, на разглашение, на что-то вроде публичного скандала («Эта сплетня открыла много их дурных сторон перед лицом других людей»).

Видимо, эта, так сказать, апелляция к общественному мнению перепугала всех родных, и во избежание новых скандалов со свадьбой поторопились; «...к счастью, сплетня моя так на них подействовала, что они сами начали спешить кончить свадьбу, и вот десять дней, как их обвенчали».

С окончанием свадьбы семейные страсти постепенно и

почти окончательно улеглись. Самому поэту, видимо, стало тошно от погружения в мир дрязг и раздоров. Все это совершалось в болезненном состоянии, когда даже любая мелочь вызывает раздражение. «Сделался, — пишет Кольцов о себе, — глуп, гадок, зол... Я за себя теперь не ручаюсь, может, мое болезненное состояние меня и перестроило иначе». Утихли и постоянные до этого столкновения с отцом. Последней была стычка за комнату: куда переехать, где лучше жить, — все там вырастало до размеров баталий, взаимных упрямств, капризов. Да, тяжело было Кольцову в семье, нелегко было и семье с ним. Но ведь, с одной стороны, были здоровые люди, с другой — больной и, как выяснилось к осени, умирающий человек.

«...Я живу теперь, — пишет Кольцов через несколько дней после свадьбы, — тихо, спокойно, дышу свободно, а отдыхаю сколько угодно, ем хорошо, обед готовят хороший, сплю довольно и это меня так успокоило, что здоровье мое стало лучше. Я бросил все сплетни и даже нарочно ездил к моей доброй сестре и к двум другим. Помирился, просил их, чтоб и они меня не беспокоили и не сердили. Бог с ними... Итак, теперь, милый мой Виссарион Григорьевич, я живу, слава богу, хорошо пока».

Но ранней весной началось обострение болезни, с тяжелым кризисом, миновавшим только к маю. Болезнь убивала сама по себе. Но болезнь и оставляла в Воронеже, отсекала последние надежды на переезд в Петербург, то есть постоянно угнетала духовно. «Извините меня, — обращается он к Белинскому, — что я не пишу вам ничего о литературе, которую и больной люблю душою. Но писать о ней ничего не могу. Нет памяти, нет мыслей. Я пока сделался чисто животное существо и, видите ль, пишу вам о всяких мелочах; в другую пору о них бы, может быть, постыдился намекнуть». Очевидно, имеются в виду рассказы о житейских стычках, о переездах из комнаты в комнату и т. п., которыми он делится с друзьями. «Что, если и выздоровею, таким останусь? Тогда простите, Василий Петрович, Виссарион Григорьевич, Москва, Петербург! Нет, дай господи, умереть, а не дожить до этого паразитического состояния. Или жить для жизни или марш на покой».

Снова и снова возникает мотив: в Петербург, в Петербург. «Ваш зов в Питер, — пишет он Белинскому и Боткину, — совершенно воскрешает мою душу, но никак не справлюсь еще с телом: оно изменяет». Ведь еще осенью 1841 года Кольцов писал Белинскому: «Уж меня, нако-

нец, сказать прямо, не старик связал, а болезнь». Судя по письмам, Кольцов мог на отца очень и очень нажать. В одном письме: «Иногда дело дойдет, что надо будет погорячиться, а всякое раздражение для меня слишком опасно». В другом письме: «Иногда надобно рассердиться, поговорить с ним круто, а мне это до смерти вредно».

Изнывающее тело держало и рвущийся из Воронежа дух. Белинский и Боткин звали в Петербург — насовсем, в крайнем случае, на дачу — на лето. «Переселиться в Питер — последнее средство; что будет, то будет — другого выхода нет. За приглашение жить с вами на даче, за вопрос: есть ли у меня на проезд деньги — за это все так я вам благодарен, что не умею вам и высказать. Ваше письмо благодатью повеяло на меня, в нем столько участия, внимания, теплоты, души, искренности; читая его, так и рвешься к вам душою, милые мои, да крыльев нет... Я сказал, что у меня, чтобы жить, выход один — в Питер; я это сам сознаю душою; но пока я болен, пока не вылечусь, пока силы и тело не окрепнут, пока я не буду годен снести длинный путь — до тех пор я из Воронежа ни ногою».

В этом майском письме 1842 года Белинскому и Боткину мы в последний раз слышим голос самого Кольцова. Белинский, написав в своей статье о том, что последнее письмо к нему Кольцова относится к февралю, видимо, забыл про него. Затем он замолкает и даже не отвечает на письма. В сущности же, он попрощался с ними еще раньше: «Ну, теперь, милые мои, пришло время сказать: «прощайте», надолго ли, не знаю, но как-то это слово горько отозвалось в моей душе, но еще «прощайте», и в третий раз «прощайте».

Почему последние месяцы перед смертью Кольцов ничего никому не пишет, даже Белинскому? Хотя летом 1842 года он болел уж совсем тяжко, но вставал, гулял, даже ездил за город («Вчера проехал за город, за десять верст, сбирал с час траву» — это в мае). Уже на основе личных воспоминаний де Пуле писал: «Оканчивая в то время свой гимназический курс, мы не раз встречали по весне и вплоть до июля Алексея Васильевича, бледного и понурого, медленно прогуливающимся по Дворянской улице и по другим воронежским гульбищам. С ним не раз встречался в эту пору в саду Дворянского собрания, тогда открытом для публики, один из гимназических педагогов и любезнейший из людей учитель математики Степан Яковлевич Долинский... и они гуляли вдвоем в те-

нистых аллеях Дворянского сада, иногда больше часу». Опираясь на позднее переданное сообщение самого Долинского, биограф свидетельствовал: «Беседа их, конечно, не имела литературного характера, так как Долинский, отличный математик, не был литератором, подобным Дацкову, но это обстоятельство не помешало собеседнику Кольцова заметить в поэте резкую перемену против прежнего — раздражительность и мрачный взгляд на вещи».

Да, умирал поэт одиноко и мужественно. В таком деле, как смерть, не обманешь и не притворишься. Смерть была последним испытанием на мощь характера и на силу духа. И Кольцов обнаруживал и то и другое. В факте пресечения переписки даже с Белинским это проявилось явственно. Уже и некоторые прежние свои письма Белинскому, скажем, одно из самых горьких — последнее письмо из Москвы, Кольцов считал проявлением слабости: «И вот в этом-то гадком, болезненном состоянии я писал к вам из Москвы письмо, о котором весьма теперь жалею: это сделал я нехорошо. Гадкую пору жизни всегда надо убивать в себе самом, не передавая ее другим, особенно тем людям, которых любишь. В Москве удержался; Василию Петровичу однажды намекнул слегка — и только. Ну, уж черт знает как хотелось сказать кому-нибудь о себе хоть слово — и сказал его вам и дурно сделал — вас оно потревожило; вы человек такой, который или ото всей души презираете, или всей душой принимаете радость и горе. Впредь буду умней...»

Письма Белинскому и Боткину — единственные жалобы Кольцова. С весны 1842 года он стал «умней», он уже не жалуется никому и «гадкую пору жизни» убивает в себе самом. Катков не ошибся, говоря о Кольцове — «это был точно кремень». Недаром Белинский писал в статье о Кольцове: «Нельзя не дивиться силе духа этого человека. Правда, он надеялся выздороветь, и не хотелось ему умирать; но возможность смерти он видел ясно и смотрел на нее прямо, не мигая глазами».

К осени 1842 года поэт слег окончательно. Де Пуле сообщает: «...Родные, сестры и зятья ежедневно посещали умирающего. Каждый день бывала и Анисья и заходила в комнату брата, но появление ее было ему, видимо, неприятно. Часто случалось, что, услышав ее голос в девичьей (куда выходила единственная дверь его комнаты), он махал рукой, давая разуметь, чтобы ее не пускали и чтобы она проходила мимо, к матери. Мать и няня Мироновна, попеременно, не отходили от умирающего. Ужасная

болезнь иссушила страдальца: от прежнего Кольцова остались одни живые мощи. Незадолго до смерти, показывая своим сестрам иссохшую руку и указывая на ладонь, он сказал: «Посмотрите, мяса-то только и осталось, что здесь, а то одни кости», при этих словах крупные слезы скатились по его щекам».

О самой смерти сообщено со слов сестры Александры Васильевны Андроновой, которая раньше других приехала в тот день навестить умиравшего брата: «Он полулежал на постели и пил в это время чай из большой чашки, подаренной ему князем Одоевским, которой он очень дорожил; няня поила его из своих рук, потому что его руки страшно тряслись. «Послушай, няня, — сказал Алексей Васильевич, — какая ты странная! Опять налила чай в эту чашку! Она велика мне, а главное — я слаб и могу разбить ее, выронить. Перелей в стакан». Чай был перелит. В это время сестра вышла из комнаты умирающего. Через несколько мгновений из этой комнаты раздался крик няни, на который поспешили мать и сестра страдальца; они нашли его уже бездыханным. Кольцов умер моментально, держа обеими руками руку няни, ставившей стакан с чаем на столик, который стоял тут же у изголовья».

Со смертью сына Василий Петрович чуть ли не испытал облегчение. Во всяком случае, если верить купцу И. Г. Мелентьеву, на следующий день к нему в лавку в Темном ряду Василий Петрович явился выбирать парчу, кисею и бахрому и оживленно рассказывал, как вчера вечером весело провел время в трактире по случаю удачной сделки.

— А кому это ты парчу покупаешь?

— Сыну... Алексею: вчерась помер...

Что касается самих похорон, то, как рассказывала сестра, когда из ворот двухэтажного каменного дома на Большой Дворянской медленно выходила погребальная процессия, за гробом шли только родственники покойного, несколько знакомых купцов и мещан, да два или три учителя местной гимназии и несколько гимназистов и семинаристов. Правда, погода была осенняя, ненастная, но при всем том похороны вышли более чем скромные.

В ноябре 1842 года в одной из метрических книг Воронежа появилась запись: «Октября 24-го умер, ноября 1-го погребен на кладбище Всех Святых воронежский мещанин Алексей Васильев Кольцов, 33 лет, от чахотки».

Чья эта могила
Тиха, одинока?
И крест тростниковый,
И насыпь свежа,
И чистое поле
Кругом без дорог?
Чья жизнь отжилася?
Чей кончился путь?

«Отжилася жизнь», кончился путь воронежского мещанина Алексея Васильева Кольцова, великого русского поэта. А могила была и тиха и одинока: новое Митрофаньевское кладбище, где похоронили Кольцова, оставалось тогда еще довольно пустынным и мало навещаемым. «Воронеж, — говорит сестра, — по крайней мере на двадцать лет забыл о поэте». Первым вспомнил — отец. «Он начал навещать его одинокую могилу. Он стал часто ходить на кладбище, подолгу сидел или стоял в глубоком раздумье у могилы сына — и нередко горько плакал». Отец же поставил и первый памятник поэту. Надпись для чугунного этого памятника он составил сам: «Просвещеной безнаук Природою награжден Монаршою Милатию...» Над надписью потом газетные и журнальные очеркисты и рецензенты много смеялись и резвились.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. В. КОЛЬЦОВА

1809, 8 октября. Рождение А. В. Кольцова в Воронеже.

1818. Занятия с семинаристом и поступление в Воронежское уездное училище.

1820. Уход из училища и участие в торговых делах отца.

1825. Первое стихотворение («Три видения») и знакомство с книгопродавцем Д. А. Кашкиным.

1826. Первое дошедшее до нас стихотворение («Песнь утру»).

1827. Любовь к горничной Дуняше.

1828. Насильственное удаление Дуняши из дома отцом Кольцова.

1829. Знакомство с А. П. Серебрянским. Участие в литературном кружке семинаристов. Знакомство с В. И. Сухачевым и А. Д. Вельяминовым.

1830. Первое появление стихотворений Кольцова («Не мне внимать», «Приди ко мне», «Мщение») в печати: «Листки из записной книжки Сухачева» (М., 1830).

1831. Приезд Кольцова в Москву. Знакомство с Белинским. Стихотворения: «Вздох на могиле Веневитинова», «К N» (под названием «Послание к А-вой»), «Мой друг, мой ангел милый» в газете «Листок». Стихотворение «Кольцо» в «Литературной газете» с кратким письмом Станкевича в редакцию.

1835. Выход первого сборника стихотворений.

1836. Январь. Кольцов в Москве. Сближение с Белинским. Знакомство со многими московскими литераторами. *Январь — начало апреля.* Петербург. Знакомство через Краевского с Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Одоевским и др. *Апрель.* Москва. Сближение с В. П. Боткиным. Сотрудничество в «Телескопе», «Библиотеке для чтения», «Современнике».

1837. Воронеж. Собирание Кольцовым народных песен и пословиц.

1840. Сентябрь. Кольцов уезжает из Воронежа в Москву и Петербург.

1841. 1 февраля. Возвращение Кольцова в Воронеж.

1842. 24 октября. В возрасте 33 лет в Воронеже умер А. В. Кольцов.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Основные издания сочинений А. В. Кольцова

Стихотворения Алексея Кольцова. М., 1835.

Стихотворения Кольцова, с портретом автора, его факсимиле и статьею о его жизни и сочинениях, писанною В. Белинским. Спб., 1846.

Полное собрание сочинений А. В. Кольцова, изд. 3-е. Пб., 1911.

Кольцов А. В. Полное собрание стихотворений. Л., 1958.

Кольцов А. В. Сочинения, тт. 1, 2. М., 1958.

Кольцов А. В. Сочинения. М., 1966.

Литература об А. В. Кольцове

Белинский В. Г. Стихотворения Кольцова. — Полн. собр. соч., т. 1. М., 1953.

Белинский В. Г. О жизни и сочинениях Кольцова. — Полн. собр. соч., т. 9. М., 1955.

Майков В. Стихотворения Кольцова. — В кн.: Майков В. Критические опыты. Пб., 1889.

Чернышевский Н. Г. Стихотворения Кольцова. — Полн. собр. соч., т. 3. М., 1947.

Салтыков-Щедрин М. Е. Стихотворения Кольцова. — Собр. соч., т. 5. М., 1966.

Добролюбов Н. А. В. Кольцов. — Собр. соч., т. 2. М.—Л., 1962.

Успенский Г. И. Поэзия земледельческого труда. — Собр. соч., т. 5. М., 1956.

Де Пуле М. Ф. А. В. Кольцов в его житейских и литературных делах и в семейной обстановке. Пб., 1878.

Сталинский Е. Кольцов и Серебрянский. Воронеж, 1868.

Бунаков Н. Ф. Алексей Васильевич Кольцов как человек и как поэт. Воронеж (б. д.).

Ярмерштедт В. Миросозерцание кружка Станкевича и поэзия Кольцова. Из истории литературно-философского движения в России. — Вопросы философии и психологии, 1893, № 5.

Некрасов А. И. Кольцов и народная лирика (опыт параллельного анализа). — Известия Отделения русского языка и словесности. 1911, т. XVI, книга 2.

Тонков В. А. Кольцов и фольклор. Воронеж, 1940.

Тонков В. А. Кольцов. Жизнь и творчество. Воронеж, 1958.

Современники о Кольцове. Воронеж, 1959.

Слово о Кольцове. Русские советские писатели об А. В. Кольцове. Воронеж, 1969.

В книге использованы материалы, хранящиеся в рукописном отделе и в литературном музее ИРЛИ (Пушкинский дом) АН СССР. Сотрудникам этих учреждений автор признателен за содействие в работе.

СОДЕРЖАНИЕ

Скатов Н. Н.

С42 Кольцов. — М.: Мол. гвардия, 1983. — 287 с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. Вып. 17(642)).

В пер.: 1 р. 40 к. 150 000 экз.

Проникновенный русский лирик Алексей Кольцов прожил короткую, но полную красоты и драматизма жизнь. На страницах книги предстанут образы известнейших современников поэта, которые по достоинству оценили явление самобытной кольцовской лирики.

С $\frac{4702010200-308}{078(02)-83}$ 195—83

ББК 84Р1
Р1

ИБ № 3559

Николай Николаевич Скатов

КОЛЬЦОВ

Редактор **Ю. Лощиц**
Серийная обложка **Ю. Арндта**
Художественный редактор **А. Степанова**
Технические редакторы **Т. Кулагина, Г. Прохорова**
Корректоры **Н. Самойлова, А. Долидзе**

Сдано в набор 22.07.83. Подписано в печать 28.11.83. А05339. Формат 84Х108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 15,12 + 1,78 вкл. Учетно-изд. л. 17,3. Тираж 150 000 экз. (1-й завод 75 000 экз.). Цена 1 р. 40 к. Заказ 1180.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

1 р. 40 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ